

А. И. Лаврентьев

«ЧЕРНЫЙ ЮМОР»

И

АМЕРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР

УДК 821.111 “18”

ББК 83.3 (Сae)

Л 13

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой издательского дела и книговедения Удмуртского государственного университета А. В. Ерохин,

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Немецкий и французский языки» Ижевского государственного технического университета А. С. Недобух.

Лаврентьев А. И.

Л 13 «Черный юмор» и американский характер: учеб. пособие по спецкурсу / УдГУ. Ижевск, 2009. 290 с.

В учебном пособии на примере произведений американской литературы XVIII, XIX, XX столетий прослеживается преломление в юмористических текстах системы традиционных американских ценностей.

Пособие адресовано студентам старших курсов языковых специальностей в рамках изучения практического курса английского языка, культуры речевого общения в качестве текстов по домашнему чтению, а также курсов по выбору, связанных с изучением литературы и культуры США. Вопросы и задания к текстам оригиналов разработаны кандидатом филологических наук, доцентом кафедры перевода и стилистики английского языка Удмуртского государственного университета О. Н. Голубковой.

УДК 821.111 “18”

ББК 83.3 (Сae)

© А. И. Лаврентьев, 2009

© ГОУВПО «Удмуртский государственный университет», 2009

Введение

Национальный характер – одно из наиболее ощутимых и в то же время трудно определимых явлений в мировой культуре. По замечанию современного российского исследователя данной проблемы «характер проявляется скрыто и незаметно: в отношении к окружающему миру, манере поведения, способам общения, в склонностях и пристрастиях, образе жизни, традициях и привычках»¹. Существует довольно ограниченный круг видов деятельности, в которых бы он обнаруживал себя в максимально беспримесной и незамутненной форме. Одним из них, несомненно, можно назвать чувство юмора и комическое творчество. Как утверждают лингвокультурологи, юмористические тексты как на этапе их создания, так и в ходе их функционирования в языковой среде в гораздо большей степени, в сравнении с другими категориями текстов, оказываются связанными с реалиями порождающей их культуры. «Вербальный юмор всегда ориентирован на аксиологическую парадигму, составляющую ядро национальной культуры»².

Данное представление оказывается тем более справедливым, когда речь идет об американском национальном характере. Историк американского юмора Д. Бир, анализируя процесс появления фольклорного персонажа Дяди Сэма, указывает: «Данный пример принятия в качестве священного национального символа фигуры клоуна служит красноречивым комментарием не только к нашему пониманию юмора и комических жанров, но и к проблеме поиска самоидентичности, который в Америке всегда основывался на комизме»³. В 1840-е годы среди литературных критиков разгорелись жаркие «комические дебаты». Предметом спора в них стала судьба юмора в Америке: в самых влиятельных литературных журналах велись дискуссии по поводу перспектив его развития. Один из самых активных участников этой полемики Э. Дайкинк придавал огромное значение комическим формам устного и литературного творчества, объясняя это тем, что «юмор – это процесс самопознания, высвечивающий черты нашего национального характера. В нем заложено то, что еще только предстоит исследовать, чтобы прославить национальный характер»⁴. Марк Твен называл юмористический рассказ исключительной прерогативой американской культуры: «Юмористический рассказ – это жанр американский, так же как комический рассказ – английский, а анекдот – французский. <...> Искусство юмористического рассказа родилось в Америке, здесь оно и осталось»⁵. Данный факт признавался и за пределами США. В 1838 году в Лондоне вышел обзор юмористических книг, изданных в Америке, и, основываясь именно на этом материале, рецензент пришел к выводу, что Соединенные Штаты начинают создавать самобытную литературу⁶. В XX веке уже с иной временной дистанции и

исторической перспективы выдающийся американский критик и историк литературы У. Блэр отмечал значительность того вклада, который внес юмор в развитие американской словесности и появление полноценной художественной литературы⁷. А один из фундаментальных трудов, посвященных американскому юмору, был озаглавлен: «Американский юмор: исследование национального характера»⁸.

Цель данного пособия – на примере ряда произведений американской литературы XVIII, XIX, XX столетий познакомить студентов с преломлением в юмористических текстах системы традиционных американских ценностей. Данный материал призван продемонстрировать, что американская культура, которая на протяжении длительного времени развивалась в крайне суровых условиях, постоянно ставивших человека на грань жизни и смерти, выработала специфическую форму кровожадного «черного юмора», который, однако, был не столько выражением агрессии, сколько психологической реакцией и эмоционально-эстетическим способом противодействия атмосфере жестокости и насилия. Представленные тексты убедительно докажут безосновательность модного в современной России мнения о примитивности американской культуры вообще и американского юмора в частности.

Данная цель определила структуру пособия: в первой части дается описание истории возникновения и содержания термина «черный юмор»; в качестве иллюстрации используются рассказы американского писателя-сатирика Амброза Бирса. Вторая часть построена по хронологическому и проблемному принципу – в качестве материала отобраны наиболее показательные произведения, содержание которых связано либо с острыми социально-политическими кризисами в истории США, либо с ценностными ориентирами американской культуры.

Все англоязычные тексты сопровождаются вопросами и заданиями для самостоятельной работы студентов старших курсов языковых специальностей в рамках изучения практического курса английского языка, культуры речевого общения в качестве текстов по домашнему чтению, а также курсов по выбору, связанных с изучением литературы и культуры США.

Каждый урок включает в себя несколько разделов и типов заданий. Во-первых, это ответы на вопросы, которые позволяют активизировать и контролировать степень понимания студентами фактического уровня информации: общее понимание структуры художественного пространства произведения, его основных сюжетных линий и системы образов.

Вторым этапом является более глубокое проникновение в смысл микроситуаций произведения, экстрагирование значимых смыслов из цитат изучаемого текста. Здесь предполагается, что студенты сначала характеризуют ситуацию, которая описывается с помощью приведенной цитаты, и тем самым дают свое

понимание ее контекстуального значения, а затем пересказывают цитату своими словами, что является важным умением, так как именно перекодирование высказывания является проявлением понимания текста.

В третьей группе заданий предлагается выполнить аналитические действия по интерпретации отдельных аспектов художественной тематики и проблематики изучаемого художественного произведения. Это этап концептуального и лингвостилистического анализа текста.

Четвертая группа заданий содержит упражнения на сопоставление текста-оригинала и текста-перевода с целью оценить адекватность перевода как в общем плане, так и в смысле адекватности передачи в переводе отдельных лингвостилистических трудностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Павловская А. В. Особенности национального характера... М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. С. 5.

² Кулинич М. Семантика, структура и прагматика англоязычного юмора: дис. ... д-ра культурол. наук. М., 2000. С. 13.

³ Bier J. The Rise and Fall of American Humor. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1968. P. 33.

⁴ Цит. по: Bryant J. Melville and repose: the rhetoric of humor in the American Renaissance. N. Y.: Oxford university press, 1993. P. 54.

⁵ Твен М. Собрание сочинений: в 12 т. М.: ГИХЛ, 1961. Т. 11. С. 7-8.

⁶ См.: Yankeeana: Slick, Crockett, Downing, etc. // The London and Westminster review. 1838. Vol. 32, № 1, December. P. 136-145.

⁷ См.: Blair W. The popularity of nineteenth-century American humorists // Essays on American humor: Blair through the ages. Madison: The University of Wisconsin, 1993. P. 25-39.

⁸ Rourke C. American humor: a study of national character. Tallahassee: Florida State University Press, 1931.

Часть I

«ЧЕРНЫЙ ЮМОР»: ИСТОРИКО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Определение понятия «черный юмор»

С конца 1950-х до конца 1970-х гг. в литературе США появляется ряд произведений, которые критика относит к «черному юмору». Они явились одновременно выражением, откликом, реакцией и противодействием тем культурно-историческим обстоятельствам, в которых оказались в этот период профессиональные писатели США. Это время чаще всего определяется как эпоха глубокого духовного кризиса, начавшегося в Соединенных Штатах Америки спустя десять лет после Второй мировой войны. Идеино-художественный опыт, представленный в произведениях писателей «черного юмора», оказался одним из возможных видов стратегии литературного творчества как адекватного способа интерпретации окружающей действительности и позиционирования автора по отношению к своей эпохе.

В последние два десятилетия прошедшего века именно этот опыт и его художественный дискурс в жанре романа оказались в центре внимания не только читателей, критиков и литературоведов, но и представителей различных социальных и гуманитарных наук, общественных, религиозных и политических деятелей. «Черный юмор» превратился из частного литературно-поэтического эксперимента в явление общекультурного порядка и вышел за пределы опыта американских писателей к общемировому процессу художественного развития.

Понятие «черный юмор» включает в себя определенный набор идейно-тематических и риторико-поэтических конструкций, способов их трактовки и отношения к ним автора и читателя. Как показала практика, использование подобного интегрирующего термина, объединяющего семантические, стилистические и прагматические характеристики текста художественного произведения, вполне правомерно, по крайней мере, в применении к конкретной культурно-исторической ситуации, сложившейся в США в 1950-1970-х годах. Среди всего многообразия характеристик этого понятия в американской критике за термином «черный юмор» закрепилось значение набора определенных мировоззренческих установок, среди которых наиболее существенным является соединение идеи абсурдности мироустройства с убеждением в возможности активного

творческого к ней отношения. Основной проблемой для писателей «черного юмора» становится возможность литературно-художественного творчества в абсурдном мире.

История возникновения термина «черный юмор»

Словосочетание «черный юмор» появилось во Франции в 30-е годы XX века как термин, имеющий глубокое философское и литературно-теоретическое содержание, занимая место в одном ряду со «смертью бога», «переоценкой ценностей», «отчуждением», «закатом Европы» и т. д. В это время в нескольких работах и публичных выступлениях основоположника французского сюрреализма Андре Бретона была осмыслена и теоретически оформлена концепция юмора¹. Причем юмору в ней отводилась роль одного из основных инструментов в особом виде взаимодействия, а точнее, борьбы сознания художника с объективной реальностью путем ее деобъективации или, что то же самое, максимальной степени субъективизации. Бретон повторял утверждение Гегеля о ниспровергающем характере субъективного юмора: «Сам художник проникает в предмет, который жаждет отобразить. <...> Тем самым уничтожаются независимый характер объективного содержания и сплоченное единство формы, протекающее из самой вещи, а изображение сводится к игре фантазии, произвольно сочетающей предметы, искажая и извращая связи между ними, к бесплодному буйству духа...»².

Мировоззренческие установки сюрреалистов и специфика культурно-исторической ситуации в Европе накануне Второй мировой войны определили круг задач, решение которых возлагалось на «черный юмор»: «Черный юмор должен был... отвечать тем жестоким нападкам, которым подвергалась свобода человека»³. В «Открытых границах сюрреализма» определяется его основная функция: «Юмор, являющий собой парадоксальное торжество принципа удовольствия над обстоятельствами реальности в момент, когда они, казалось бы, с наибольшей силой ополчаются против человека, естественным образом призван выполнять защитную функцию в наше изобилующее самыми разнообразными угрозами время»⁴; юмор – «это защита от объективной реальности внешнего мира и извращение его репрезентации»⁵.

Таким образом, юмор, с точки зрения сюрреалистов, это один из самых эффективных способов преодоления и отрицания ограничений, существующих в объективной реальности: «И у Гегеля, и у Бретона юмор направлен на объект — но, разумеется, единственно в отображении реальности, которую он подрывает»⁶. Так как самым главным и самым объективным ограничением в жизни

человека является знание о ее конечности, то главной темой юмора, опровергающего реальность, становится смерть. «Приводя встреченный им [Бретоном] у Фрейда рассказ о приговоренном, которого ведут на казнь в понедельник, а тот восклицает: «Ничего себе неделька начинается!», он обнажает механизм, в котором с помощью проникнутых юмором слов человеческий дух пытается противостоят самой смерти»⁷. Именно этим объясняется использование эпитета «черный», то есть это юмор, связанный с мрачными аспектами человеческого существования, но в то же время лишенный трагизма и уныния, напротив, обозначающий внутреннюю решимость сознания отстоять свою свободу в борьбе с ними. «В конечном счете, для Бретона черный цвет был вовсе не олицетворением трагического, а скорее символом неистового торжества: черный — цвет знамени Анархии»⁸.

В США выражение «черный юмор» приобретает популярность после выхода в свет антологии, составленной американским писателем и литературным критиком Брюсом Фридманом, в которую вошли произведения Пинчона, Хеллера, Донливи, Набокова, Симмонса, Речи, Олби, Барта, Сазерна, Парди, Никербокера и Селина⁹. Ее название – *Black Humor* – было дословным переводом на английский язык понятия, введенного в мировой литературный и культурный обиход французскими сюрреалистами. Основным недостатком этой антологии вполне справедливо считается отсутствие четких критериев, на основе которых писатели были объединены в один сборник. Ни один из данных авторов, за исключением редактора, который включил в эту антологию собственное произведение, никогда не называл себя «черным юмористом», они никогда не образовывали единого литературного направления, многие из них работали не только в разных литературных жанрах, но и тяготели к разным качественным уровням литературного творчества.

Следует, однако, учитывать, что Брюс Фридман не был специалистом в области истории мировой литературы и ориентировался, прежде всего, на современного американского читателя, отбирая те или иные произведения, он исходил именно из специфики читательского, а не профессионального литературоведческого восприятия.

В конце 60-х и в течение 70-х годов прошлого века в американской критике понятие «черный юмор» получает теоретическое обоснование. Попытка охарактеризовать этот феномен как целостную мировоззренческую структуру была предпринята в антологии «Мир черного юмора» (*The World of Black Humor*, 1967)¹⁰, составленной Дугласом Дэвисом. Работа состоит из четырех частей: в первой представлены произведения предшественников американского «черного юмора», таких как Франц Кафка, Натанаэл Уэст и Владимир Набоков; во вторую и третью части вошли тексты современных авторов – Джона Хоукса, Уи-

льяма Гэддиса, Джеймса Донливи, Терри Сазерна, Джозефа Хеллера, Питера де Вриеса, Брюса Фридмана, Эллиота Бейкера, Уоррена Миллера, Томаса Пинчона, Уолкера Перси, Чарльза Райта, Джеймса Парди, Уильяма Берроуза и Джона Барта. В четвертую часть включены критические работы, представляющие различные точки зрения на «черный юмор». По мнению автора этой антологии, «черный юмор» является американизированным вариантом литературы абсурда, которая, в свою очередь, являлась одним из существенных элементов в интеллектуальной традиции всей западной культуры, восходящей к таким авторам, как Аристофан, Свифт, Эразм Роттердамский. По мнению Д. Дэвиса, «черный юмор» как тип мировоззрения получает распространение в послевоенной Америке в силу его адекватности культурно-исторической обстановке.

Первая монография, посвященная «черному юмору» (Макс Шульц, «Литература черного юмора шестидесятых годов»)¹¹, в которой дается именно *определение*, то есть установление четких пределов применимости этого термина, вышла в 1973 г. Подзаголовок данной работы: «Плюралистическое определение человека и его мира». Материалом для исследования на этот раз послужили произведения американских писателей 60-х годов (Джон Барт, Курт Воннегут, Томас Бергер, Томас Пинчон, Роберт Кувер, Брюс Фридман, Чарльз Райт) и рассказы Х.Л. Борхеса, которые как раз в это время получают известность в Америке. Считая «черный юмор» одним из видов литературы, содержанием которой является абсурд, Шульц указывает на его существенные отличия: он не героизирует человеческую индивидуальность, как это делал экзистенциализм и, в отличие от других видов литературы абсурда, лишен чувства отчаяния и бессилия. Автор совершенно верно определил основную особенность американского «черного юмора» 60-х годов – его прагматическую направленность. Главный вопрос экзистенциалистов «Что делать человеку с собственной жизнью в мире абсурда?» у американских писателей принял форму «Каким образом ее можно (или нужно) прожить?». Идеино-эстетическими основаниями метода «черного юмора» Шульц считает плюрализм, конформизм и расшатанную систему ценностей.

После закрепления за словосочетанием «черный юмор» статуса историко-литературного феномена ему уделяется особое внимание в работах, посвященных изучению американской литературы. Условно их можно разделить на две группы: исследования, в которых рассматривается «черный юмор» в рамках категории комического как одного из видов юмористической литературы; исследования индивидуального творчества писателей, которые относятся к группе «черных юмористов».

В историко-литературных исследованиях понятие «черный юмор» начинает фигурировать с конца 60-х годов. В работе Д. Бира он определяется как

крайняя форма проявления специфически американского понимания юмора, главной чертой которого является антитетичность¹². В книге Бира «черный юмор» полностью отождествляется с так называемым болезненным юмором, или юмором контркультуры.

В сборнике статей об истории юмора в литературе США отдельный раздел посвящен «черному юмору»¹³. В нем дан исторический очерк появления данного понятия в Соединенных Штатах. По мнению автора, оно было заимствовано из практики французского сюрреализма. Американский вариант «черного юмора» трактуется как спасительная терапия в условиях постоянной угрозы атомной войны и повышенной бюрократизации общественных отношений. Расцвет этого вида литературы приходится на 1955 - 1965 годы, после чего, с точки зрения критика, наступает его деградация.

В конце 70-х годов в исследованиях комической литературы в США более четко определяются черты, отличающие «черный юмор» от близких ему явлений. В предисловии к сборнику статей о современной юмористической литературе редактор указывает, что «черным юмористам» свойственна склонность к утверждению своего воображения как абсолютной ценности. По его мнению, для того чтобы противопоставить и отдалить себя от реального мира, «черные юмористы» сознательно преувеличивают его безумие и абсурдность и перестают быть смешными¹⁴. Несколько иной аспект данной проблемы затрагивается в историческом очерке американского юмора У. Блэра и Х. Хилла¹⁵. Характеризуя феномен «черного юмора», они считают главным свойством, отделяющим его от юмора поп-культуры, с одной стороны, и от юмора андеграунда, с другой, является стремление к универсальности, то есть попытка создания самодостаточной системы этико-эстетических ценностей.

Общепринято считать «черный юмор» в американской культуре XX века одной из форм реакции американской литературы на специфику культурно-исторической ситуации, сложившейся в США после Второй мировой войны. При этом подчеркивается как связь с национальной традицией, так и злободневная социальная направленность произведений «черного юмора».

Брюс Фридман называет «черный юмор» единственным типом повествования, который адекватен существующей реальности¹⁶. Составитель антологии «Мир черного юмора» также считает данное явление одним из проявлений культурных тенденций в послевоенной Америке¹⁷. Реймонд Олдерман в книге, посвященной литературе 60-х годов, называет «черный юмор» в ряду других средств, с помощью которых писатели отражают социально-психологическую атмосферу, существовавшую в США в этот период¹⁸. Авторы «Колумбийской истории американского романа» и «Колумбийской литературной истории Соединенных Штатов» также склонны связывать творчество этих писателей с со-

циально-политическими проблемами¹⁹. Произведения «черных юмористов» считаются одним из результатов культурного кризиса, в котором находилась Америка после 1945 года, кризиса, вызванного ее несоответствием новому международному статусу. Утрата доверия к официальным властям после череды политических скандалов привела к дискредитации всех официальных текстов и, в конечном итоге, всех видов реальности, полностью деформировала взаимоотношения между автором и текстом, с одной стороны, и текстом и читателем – с другой.

Наиболее глубокий анализ «черного юмора» как культурно-исторического явления представлен в работе Моррис Дикстайн «Ворота Эдема: американская культура шестидесятых»²⁰. В главе, посвященной «черному юмору», автор проводит границу между «черным юмором» как словесной практикой в рамках традиционных форм литературы и, по определению Дикстайн, «структурированным черным юмором», который выражает особый тип мировоззрения, раздвигающий установленные границы и формирующий новое чувство новой реальности. К данной разновидности «черного юмора» относятся Джозеф Хеллер, Курт Воннегут, Джон Барт и Томас Пинчон. Такое разграничение выглядит совершенно справедливо, ибо художественная значимость литературного произведения не может быть сведена и не является автоматическим следствием применения, пусть даже в самой изощренной форме, набора средств выражений, лишенных соответствующего мировоззренческого содержания. По этому же признаку «черный юмор» отделяется от экспериментальной литературы конца 60-начала 70-х годов, которая явилась вырождением данного течения, так как лишилась его положительных конструктивных качеств.

Рассмотрение произведений «черных юмористов» в широком литературном контексте обычно принимало форму объединения нескольких авторов в рамках одного исследования, с последующим изолированным рассмотрением творчества каждого из них. Мысль об отсутствии связей между реальностью и художественным произведением на примере «черного юмора» получила несколько иное выражение в работах Роберта Шоулза²¹. Он назвал данных авторов «фабуляторами» – словом, заимствованным из сборника басен, переведенных с латыни на английский язык и изданного в 1484 году Кэкстоном. Шоулз отождествил «черных юмористов» с сочинителями историй, в которых главная цель – получать наслаждение от сочетаний слов, выстраивания повествовательных структур, развития тех или иных идей независимо от их конкретного эмоционального содержания. Это наслаждение от игры словами выражается в юморе. Несмотря на экстравагантность данной концепции, она, хотя и в преувеличенной степени, формулирует основное качество романов «черного юмора» – их самодостаточный характер.

Та же мысль повторяется в исследовании американской литературы 1950-1970-х годов Тони Таннера «Город из слов»²². Как считает автор, повествовательные конструкции для американских писателей – это форма реализации своей личной свободы, а «черный юмор» – один радикальных ее видов.

Для обозначения произведений «черных юмористов» наиболее часто используемым стало слово «абсурд». Так, свою книгу о творчестве Дж. Хеллера, К. Воннегута, Т. Пинчона и Дж. Барта Ч. Харрис назвал «Современные американские авторы романов абсурда»²³. Р. Хаук в книге «Бодрый нигилизм» (название заимствовано из романа Джона Барта «Конец пути») считает «черный юмор» качеством, которое было присуще американской культуре со времен ее формирования и которое сохранялось на всех этапах ее исторического развития. «Черный юмор» 60-х годов XX века, по его мнению, есть специфически американская реакция на общий кризис западной культуры, своеобразное проявление особенностей национального характера²⁴. Та же самая мысль получает свое развитие в книге Р. Хипкисса «Американский абсурд: Пинчон, Воннегут и Барт»²⁵. Все три критика сходятся во мнении, что отличительной чертой американских писателей, несмотря на влияние европейской литературы, является приверженность к традиционному американскому индивидуализму, следствием чего становится творческое отношение к абсурдному миру.

Рассматривая романы «Торговец дурманом» и «Радуга земного притяжения» с точки зрения репрезентации в них исторического материала, польский исследователь З. Мазур говорит о том, что их авторы «с помощью технической изощренности и виртуозной игры слов скрывают свое желание поделиться собственным знанием о прошлом, выразить идеи об исторических событиях и дать собственную интерпретацию, которая не вписывается в рамки официальной историографии»²⁶. Наиболее аргументированную точку зрения на вопрос соотношения традиции и новаторства высказывает Р. Уоллес. Он утверждает, что романы «черного юмора» представляют собой синтез деструктивного и конструктивного начал, причем носителем последнего является комическая форма этих произведений, которая «по определению утверждает некие нормы и ценности просто потому, что она комическая»²⁷.

Таким образом, американские критики, рассматривая произведения «черных юмористов» в широком литературном контексте, очерчивают круг проблем, возникающих при изучении данного феномена. Во-первых, его отличительной чертой является творческое отношение к миру. Во-вторых, деструктивное начало, обозначаемое словами «абсурд» и «нигилизм», обязательно сочетается в нем с конструктивностью, с набором неких положительных ценностей. В-третьих, вопрос о соотношении конструктивности и деструктивности оказывается связанным с комическим началом.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Сюрреалистическая трактовка юмора была изложена в статьях Бретона в 1935 г. («Сюрреалистическое положение объекта»), 1936 г. («Открытые границы сюрреализма»), 1938 г. («Краткий словарь сюрреализма», совместно с Элюаром), 1940 г. («Антология черного юмора»). Метафора «черный» для его характеристики впервые была использована Бретоном в докладе 9 октября 1937 г. в Театре комедии на Елисейских Полях.

²Цит. по: Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. М.: НЛЮ, 2002. С. 160, 161.

³ Там же. С. 163.

⁴ Там же. С. 159.

⁵ Там же. С. 162.

⁶ Там же. С. 161.

⁷ Там же. С. 162.

⁸ Там же. С. 163.

⁹ Black Humor. N. Y.: Bantam Book, 1965.

¹⁰ The World of Black Humor. N. Y.: E. P. Dutton & Co., 1967.

¹¹ Schulz M. F. Black Humor Fiction of Sixties: A Pluralistic Definition of Man and His World. Athens, OH: Ohio U P, 1973.

¹² Bier J. The Rise and Fall of American Humor. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1968. P. 3.

¹³ Weber B. The mode of “black humor” // The Comic Imagination in American Literature. New Brunswick, N. J.: Rutgers Univ. Press, 1973. P. 361-371.

¹⁴ Cohen S. The variety of humors // Comic Relief: Humor in Contemporary American Literature. Urbana: Univ. of Illinois Press, 1979. P. 4, 5.

¹⁵ Blair W., Hill H. America’s Humor From poor Richard to Doonesbury. N. Y.: Oxford University Press, 1978.

¹⁶ Black Humor. P. VII-XI.

¹⁷ The World of Black Humor. P. 13-27.

¹⁸ Olderman R. Beyond the Waste Land: a Study of the American Novel in the Nineteen-Sixties. New Haven; L.: Yale University Press, 1976.

¹⁹ См.: The Columbia History of the American Novel. N. Y.; Oxford: Columbia University Press, 1991. P. 516-520, 697-749; Columbia Literary History of the United States. N. Y.: Columbia University Press, 1988. P. 1023-1031, 1142-1153.

²⁰ Dickstein M. Gates of Eden: American Culture in the Sixties. N. Y., 1977.

²¹ Scholes R. The Fabulators. N. Y.: Oxford Univ. Press, 1967; Scholes R. Fabulation and Metafiction. N. Y.: University of Illinois Press, 1979.

²² Tanner T. City of Words: American Fiction 1950-1970. L.: Harper & Row, 1971.

²³ Harris C. Contemporary American Novelists of the Absurd. New Haven: College & University Press. 1971.

²⁴ Hauck R. A Cheerful Nihilism: Confidence and “the Absurd” in American Humorous Fiction. Bloomington, Ind.; L., 1971. P. 3-14.

²⁵ Hipkiss R. The American absurd: Pynchon, Vonnegut, and Barth. Port Washington (N. Y.): Assoc. fac. press, 1984.

²⁶ Mazur Z. The representation of history in post-war American fiction (1945-1980). Krakow: Universitas, 2001. P. 28.

²⁷ Wallace R. The last laugh: form and affirmation in the contemporary American comic novel. Columbia: University of Missouri press, 1979. P. 22.

Семантическая структура «черного юмора»

С середины XX века словосочетанием «черный юмор» стали обозначать какой-либо вид юмористической литературы со специфической тематикой. Именно это значение зафиксировано в современных словарях английского языка¹. Однако критики, изучающие творчество писателей, которых принято называть «черными юмористами», считают это определение поверхностным. По их мнению, речь может идти об особом мироощущении или, как минимум, о конструктивном принципе словесного творчества. По словам одного из исследователей «черного юмора» сюрреалистов, это понятие превратилось в «баудлеризированное искажение термина поп-культурой, которая стремится натурализовать его, чтобы превратить в предмет общественного или коммерческого потребления»². Отсюда стремление избежать использования этого слишком расплывчатого термина, заменить его на более строгий. В применении к произведениям американских «черных юмористов» был создан следующий синонимический ряд, призванный разрешить создавшийся терминологический кризис: «искусство абсурда», «абсурдистская литература», «веселый (бодрый) нигилизм», «сатирическое сказительство», «комическо-апокалиптическая проза», «метапроза», «современный комический роман». На сегодняшний день можно констатировать, что ни один из предложенных терминов не отвечает поставленной задаче. «Черный юмор» благодаря своей экспрессивности продолжает оставаться наиболее распространенной характеристикой произведений целого ряда американских авторов, созданных в период 1950 - 1970-х годов.

Применение термина «черный юмор» представляется вполне допустимым, однако его, с одной стороны, нельзя сводить лишь к тематическому своеобразию; с другой стороны, нецелесообразным является и предельное расширение семантики этого выражения, при котором оно якобы приобретает мировоззренческий статус. Скорее «черный юмор» необходимо рассматривать как один из конструктивных принципов литературного творчества, который в различных формах был реализован в произведениях тех или иных авторов.

В одном из исторических исследований американского юмора авторы называют наиболее существенным свойством «черного юмора» его «стремление к универсальности»³. В самом деле, во внутренней семантической структуре этого феномена можно выделить три составляющие.

Во-первых, ведущей чертой «черного юмора» можно считать нигилизм. Его отличает стремление к разрушению устоявшихся систем ценностей.

Во-вторых, как известно, любой вид словесного юмора всегда связан с определенной системой ценностей: «Вербальный юмор всегда ориентирован на

аксиологическую парадигму, составляющую ядро национальной культуры»⁴. В случае с «черным юмором» аксиологическая парадигма подвергается инверсии – процесс деконструкции системы ценностей, принятых в данном обществе, неизбежно сопровождается изменением этической маркированности слов, обозначающих эти ценности. То, что оценивалось как безусловно положительное, получает отрицательную трактовку, и наоборот.

Третьим необходимым компонентом «черного юмора» как творческого принципа является стремление создать собственную контрсистему ценностей.

Необходимо обратить особое внимание именно на последний элемент в структуре «черного юмора». Как правило, при рассмотрении данного явления его сводят лишь к первым двум слагаемым – нигилизму и изменению маркированности. В действительности структура «черного юмора» представляет собой сбалансированное сочетание деструктивного и конструктивного начал. Ведь даже книга, благодаря которой появилось современное понятие «черный юмор», называлась «Антология *черного юмора*». Хотя ее автор отвергал любые формы рационального мышления, тем не менее, он счел необходимым рассмотреть этот феномен как некую диахронную систему, встроенную в традицию мировой литературы. Та же самая склонность к «антологизации» была свойственна и другим исследователям американского «черного юмора».

Благодаря восстановлению системности «черный юмор» может служить не только средством придания целостности фрагментированному состоянию культуры, но и адекватным способом отношения к явлениям антикультуры со стороны человека, наделенного чувством прекрасного, наиболее безопасной формой их включения в художественную ткань произведения без риска ее разрушения. Именно в отношении к культуре заключается ключевое различие между литераторами, использующими «черный юмор» лишь как систему приемов повествования, оставаясь при этом, или пытаясь остаться, в рамках художественной литературы и представителями контркультуры, или андеграунда, и сюрреалистами, чей юмор тоже зачастую обозначается как «черный».

Основной чертой юмора контркультуры, который получил широкое распространение в США в 1950-1960-х годах, является комическая трактовка маргинальных явлений культуры: «Отвергая цензуру маккартизма и поверхностную порядочность, которую она навязывала, лени брюсы и морты салы с ликованием произносили вслух ранее неприемлемое, затрагивали темы, о которых раньше было принято молчать – употребление наркотиков, сексуальные извращения, предрассудки и немотивированное насилие среди уважаемых членов общества»⁵. Очевидно, что данный вид юмора не вполне правомерно считать «черным», так как он, в силу своей одноуровневой структуры, действительно становится плоским. Он лишен внутренней противоречивости, момента рез-

кого перехода, пересечения границы, отделяющей высокое от низкого. Деиерархизированный юмор контркультуры, не обладающий эстетизмом подлинного «черного юмора», правильнее было бы назвать (если продолжить ряд эпитетов) «грязным» или «пошлым», тем самым лишив его аристократичного черного цвета⁶.

Что касается сюрреалистов, то, по мнению историков литературы, высшим устремлением сюрреализма был «*абсолютный синтез субъективного и объективного, внешней реальности и внутреннего Я художника*»⁷. Поэтому своей главной целью сюрреалисты считали не уничтожение реальности, а ее радикальное преобразование: «Романтическое абсолютное отстранение от реальности сюрреалистам чуждо... Поэтому там, где романтики нацело отвергают феноменальный мир, сюрреалисты предпринимают попытку разложить закостеневшую в рационалистических рамках реальность и, подчинив ее своему методу, изменить, перекроить. Они вменяют миру характеристики повседневного чуда и объективного случая, разъедающей интонацией черного юмора стремясь его преобразить, сделать его для себя «обитаемым»⁸.

Сюрреалисты, отвергая скучную, серую и ограниченную реальность, в то же время вступают с ней в конфликт. Обостренные отношения с действительностью служат основой повышенного эмоционального напряжения, доходящего до эпатажа, формой выражения которого становился «черный» юмор. Отношение к выработанной предшественниками традиции определяется отношением писателей к системе общественных ценностей. Исследователь сюрреализма, сравнивая «черный юмор» и романтическую иронию, указывает на их протестный по своему духу характер. «Оба движения отличает предельно полемическое отношение к традиции: и к традиции как таковой, и к наличному репертуару господствующих литературных и художественных критериев, рамок творчества (или даже их прямому сочетанию); таким образом, ирония романтиков и юмор сюрреалистов оказываются генетически антитрадиционными. От протеста подчиняться положенным предыдущими поколениями требованиям... сюрреалистический юмор и романтическая ирония выступают против традиции»⁹. Для сюрреалистов отказ от традиции – необходимое условие творчества, поэтому для них, как и для модернизма в целом, характерен интерес к примитивным, с их точки зрения, формам искусства. Для писателей второй половины XX века как раз культурная и, в частности, литературная традиция была основным условием писательской деятельности, той сферой, в которой происходила реализация их творческого потенциала. В случаях же обращения к явлениям культуры, находящимся за пределами западной цивилизации, они трактуются не как образцы примитивизма, а в первую очередь как нечто иное, отличающееся от

общепринятого, они не столько противопоставляются, сколько служат дополнением к западной культуре.

Отношение к культурной традиции в свою очередь определяет и отношение к литературе как виду искусства. Сюрреалисты изначально позиционировали себя вне каких-либо категорий, вне каких-либо выработанных западной цивилизацией понятий, тем более таких, как «литература» или «искусство»: «Черный юмор со всей определенностью представляется и членами группы Бретона, и последующими интерпретаторами и историками движения как принципиально экстралитературная и экстраэстетическая категория»¹⁰. Логика писателей второй половины XX века прямо противоположна – наиболее существенным качеством своих произведений они считали эстетическое наслаждение, испытываемое при его восприятии, все остальное считается второстепенным. Для успешного решения этой задачи в условиях второй половины двадцатого столетия в наибольшей степени подходят комические и трагикомические повествовательные средства, которые способны средствами художественного дискурса восстановить непосредственную эмоционально-эстетическую связь между индивидом и культурой.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Флеонова О. Лингвостилистические и семиотические особенности американской литературы черного юмора: дис. ... канд. филол. наук. М., 2003.

² Erickson J. Surrealist black humor as oppositional discourse // Symposium: a quarterly journal in modern foreign literatures. Syracuse, 1988. Vol. 42, №3. P. 198.

³ Blair W., Hill H. America's Humor From poor Richard to Doonesbury. N. Y.: Oxford University Press, 1978. P. 502.

⁴ Кулинич М. Семантика, структура и прагматика англоязычного юмора: дис. ... д-ра культурол. наук. М., 2000. С. 13.

⁵ Cohen S. The variety of humors // Comic relief: humor in contemporary American literature. Urbana: Univ. of Illinois Press, 1979. P. 3.

⁶ В англоязычной культуре принято делать существенное различие между, с одной стороны, «black humor» или «black comedy» и синонимическим рядом: «off-color humor», «blue humor», «sick humor», «dirty jokes» с другой.

⁷ Дубин С. Сюрреалистический черный юмор и его романтические истоки: дис. ... канд. филол. наук. М., 1998. С. 247.

⁸ Там же. С. 251.

⁹ Там же. С. 239, 240.

¹⁰ Там же. С. 225.

«Черный юмор»² как художественный метод

На позднем этапе своего творчества Эдмунд Уилсон был, пожалуй, одним из самых влиятельных англоязычных литературных критиков. Несмотря на то что юмор и, вообще, все, что каким-либо образом выходило за рамки общепринятых в сфере искусства норм, как правило, воспринималось им достаточно благосклонно, в 1954 году он заявил, что юмористические произведения мало кому известного американского писателя XIX века – это смертельный яд. Причиной столь неожиданно резкой оценки стала публикация сборника рассказов о Сате Лавингуде Джорджа Вашингтона Харриса, я был его редактором. Рецензия Уилсона в журнале «Нью-Йоркер» ни в коей мере не оспаривала художественной ценности произведений Харриса. Тем не менее, в ней звучал упрек в использовании якобы «грубого и жесткого юмора». Не употребляя выражения «черный юмор», Уилсон заклеил Харриса как одного из первых в истории нашей страны представителей этой разновидности юмористической литературы.

К 1964 году, за десять лет, прошедших после отповеди Уилсона, трагикомическая традиция Джорджа Вашингтона Харриса пополнилась целой серией романов, причем появление каждого из них становилось серьезным событием в литературной жизни прошедшего десятилетия. «Лолита» Владимира Набокова, «Признания» Уильяма Гэддиса, «Безумный в Берлине» Томаса Бергера, «Малкольм» Джеймса Парди, «Нагой завтрак» Уильяма Берроуза, «Рыжий» Джеймса Патрика Донливи и «Магический Христиан» Терри Сазерна вышли еще в конце 1950-х годов. По этой, ставшей проторенной, дороге мрачного комизма потянулась вереница еще более масштабных опусов «черного юмора»: «Поправка 22» Джозефа Хеллера, «Над гнездом кукушки» Кена Кизи, «V.» Томаса Пинчона, «Кинозритель» Уолкера Перси, «Торговец дурманом» Джона Барта, «Ветка липы» Джона Хоукса и «Стерн» Брюса Дджея Фридмана. У американской публики начала 1960-х годов все они вызвали одновременно смертельный ужас и неопикуемый восторг. Некоторые представители когорты «черных юмористов» сейчас по праву считаются выдающимися писателями современной Америки, вполне достойными встать в один ряд с такими именитыми предшественниками, как Шервуд Андерсон, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер и Френсис Скотт Фицджеральд.

Нападки Эдмунда Уилсона на «черный юмор» отражают наиболее распространённое к нему отношение. «Черный юмор» вызывает раздражение, потому что он не всегда и не обязательно создает хорошее настроение, забавляет,

развлекает или вызывает смех. Более того, «черный юмор» не выказывает должного почтения к системе ценностей, образу мыслей, чувств и поведения, которые являются залогом стабильности, жизнеспособности и процветания англо-американской культуры, обеспечивая нерушимое равновесие между общественным и индивидуальным. Безо всякого стеснения и сожаления «черный юмор» ломает все духовные запреты и табу. Он находит смешным то, что считается слишком серьезным, чтобы попадать в сферу действия столь легкомысленного чувства, как чувство юмора: например, предметом для шуток становятся смерть человека, разложение социальных институтов, болезни души и тела, физическое и нравственное уродство, страдания, боль, лишения и страх. Любому человеку, в сознании которого в той или иной степени укоренена доминирующая в англо-американской культуре еще с XVIII столетия традиция, согласно которой юмору присущи добродушие, поверхностность и мягкость, могут показаться недопустимым извращением полная непредсказуемость, вывернутость наизнанку, а зачастую и откровенная жестокость и садизм «черного юмора».

Как показывает изучение происхождения и развития «черного юмора» в американской литературе, в особенности в период после первой мировой войны, ни общая тональность и мировоззренческая позиция, ни отдельные составные элементы этого феномена не были открытием современности. Разумеется, «черный юмор» никогда прежде не занимал ведущих позиций в литературном процессе, чаще всего находился на положении аутсайдера, но среди его приверженцев, писателей, сдабривавших свою прозу приемами мрачного комизма, можно обнаружить очень известных авторов. Однако прежде чем приступить к более подробному исследованию этого вопроса, необходимо разобраться в путанице, возникающей в связи с многозначностью выражения «черный юмор», который, с одной стороны, является феноменом художественной литературы, а с другой – приобретает конкретное социо-культурное значение.

Социальные и политические изменения в американском обществе конца 1960-х годов создали дополнительные трудности в использовании данного термина, сделав его более двусмысленным. Не всегда представляется возможным точно определить, о чем именно идет речь. Но эта проблема появилась сравнительно недавно. В американской, впрочем как и во многих других культурах, белый цвет традиционно был признаком святости, невинности, чистоты и добра. Соответственно черный цвет, будучи противопоставленным белому, оказывается связанным с прямо противоположным рядом ассоциаций: черное – это нечто дьявольское, неизвестное, иррациональное, бесчеловечное, развращенное и обязательно плохое. Нельзя не согласиться с тем фактом, что категория «черного юмора» вошла в литературно-теоретический арсенал и была принята на вооружение литературоведами и критиками в целях обозначения, а чаще всего уничи-

жения, тех произведений, которые по своим формальным характеристикам вполне соответствовали традиционному представлению о юморе, но в то же время были абсолютно чужды и даже агрессивно враждебны ему по духу. Если быть до конца объективными, то следует признать, что все расистские коннотации, содержащиеся в использовании черного цвета для обозначения чего-то неприятного или неполноценного в речевой практике, могут быть приписаны и традиционному термину «черный юмор».

Конечно же, можно без труда подобрать очень убедительные аргументы в пользу отказа от этого литературного термина. И некоторые американцы, из числа тех, кого еще недавно называли «неграми», уже работают в этом направлении. Их возросшая этническая гордость и поиск идентичности привели их к мысли о перетаскивании позитивных ассоциаций, связанных с белым цветом, в менее светлую часть цветового диапазона. В связи с форсированными социально-политическими процессами «черный юмор» в глазах многих людей может трансформироваться в одно из этнических обозначений наряду с такими лингвистическими новациями, как «Черная сила» (Black power), «Черные исследования» (Black studies), «Черная политика» (Black politics) и «Черное это прекрасно» (Black is beautiful).

Тенденцию превращения нейтрального внерасового литературного феномена, в создании которого, кстати, принимали участие американцы весьма разнообразного этнического и расового происхождения, в обозначение явлений, связанных с конкретной этнической группой, можно продемонстрировать на следующем примере. В 1960-е годы вышли два сборника произведений, которые считаются хрестоматийными примерами «черного юмора» в традиционном понимании этого слова: «Черный юмор» в 1965-м и «Мир черного юмора» в 1967-м под редакцией Брюса Джея Фридмана и Дугласа М. Дэвиса соответственно. Среди авторов этих сборников только двое были неграми или афроамериканцами. Другой случай: антология, озаглавленная «Черный юмор», опубликованная в 1972 году, составлена исключительно из произведений чернокожих писателей. Этот сборник, за небольшим исключением, не содержит примеров «черного юмора» в том его понимании, из которого исходили редакторы Фридман и Дэвис десять лет назад.

Этноцентричные перспективы словосочетания «черный юмор» в социальном и политическом планах представляются очень неопределенными. Вполне возможно, что в определенных кругах оно уже активно используется для достижения каких-то узко практических целей и именно поэтому вскоре будет отброшено и забыто, как это уже часто происходило с другими политическими лозунгами. В мире литературы это выражение не исчезнет никогда, у нас есть все основания надеяться на это. Правда, языковое чутье многих писателей может

привести их к мысли о прямой взаимосвязи между политическим содержанием этого высказывания и той эмоциональной и этической оценкой, которую несет в себе традиционное понимание «черного юмора», что, в свою очередь, может заставить их воздержаться от использования его приемов. Но в то же время обязательно найдутся писатели, которые останутся приверженцами «черного юмора». Так, например, Филип Рот, в начале своей литературной деятельности придерживавшийся традиции школы психологического анализа и эстетического формализма Генри Джеймса, в последних своих романах («Случай портного» – 1969 год и «Наша банда» – 1972 год) стал последовательным «черным юмористом». Что же касается признанных мастеров, таких как Уолкер Перси, Томас Бергер, Джон Барт, Курт Воннегут и Уильям Берроуз, то они, по всей видимости, просто не могут писать иначе. В любом случае ответственная критика наряду со скрупулезной оценкой произведения того или иного писателя должна принимать во внимание и те импульсы, которые побуждают его к творческой деятельности. Именно по этой причине, а также потому, что с выражением «черный юмор» связан большой, как по объему, так и по значимости, пласт американской (и не только американской) культуры, представляется целесообразным ныне и впредь использовать термин «черный юмор» во всей полноте его содержания.

Кроме того, так как «черный юмор» впервые появился за пределами США, он отражает мировоззренческую позицию и обозначает систему средств выражения, которые распространены не только в американской культуре, поэтому он находится вне юрисдикции Соединенных Штатов, не может считаться их собственностью, и, следовательно, они не имеют законных прав для пересмотра его содержания. «Черный юмор» – это заимствование из Франции, из страны, которая, несмотря на свое колониальное прошлое, уже долгое время живет в атмосфере дружественных, лишенных каких-либо проявлений расизма, отношений с людьми африканского происхождения. Она настолько дружелюбна, что даже такие ранимые и полные разочарования во всем чернокожие американцы, как Ричард Райт и Джеймс Болдуин, чувствовали себя там вполне сносно. «L'humour noir», в английском переводе превратившийся в «black humor», был основополагающим элементом доктрины французского сюрреализма практически с момента его возникновения в 1920-е годы. Сюрреалисты считали, что «черный юмор» преодолевает любые преграды, в том числе, расовые и национальные различия. Когда в 1940 году Андре Бретон составлял свою «Антологию черного юмора», он включил в нее в качестве образцов не только французов – маркиза де Сада, графа де Лотреамона, Артюра Рембо, Альфреда Жарри и Жака Ваше, но и таких типичных, как ему казалось, представителей английского «черного юмора», как Джонатан Свифт, Томас де Квинси и Льюис Кэрролл.

Разнородность группы писателей, которых Андре Бретон причислил к «черным юмористам», со всей определенностью указывает на необычайное разнообразие форм и содержания произведений «черного юмора». Де Сад, перевозивший сексуальную и психологическую жестокость... Рембо, метавшийся в поисках избавления от терзающих его душу оков логики и правил грамматики... Лотреамон, упивавшийся кошмарами... Жарри, который, не выходя из запоя, строчил скатологические сочинения и едкие пародии, в которых высмеивалась культура среднего класса... Свифт, без всякого стеснения открыто выражавший свое презрение к подавляющему большинству представителей человеческого рода... Кэрролл, сплетавший замысловатые узоры из фантазий и бессмыслицы... Дадаист Ваше, утверждавший, что чувство юмора – это чувство «театральной и безрадостной бесполезности всего в этом мире», и он убедительно доказал справедливость данного утверждения, совершив «черноюмористический» акт самоубийства, сопровождавшийся убийством его друга. В качестве объединяющего, общего для всех авторов, включенных в список, признака Бретон обозначил наличие «черного юмора» – понятия, которое было углубленным и расширенным истолкованием концепций юмора в философии Гегеля и психоаналитической теории Фрейда.

Юмор в доктрине сюрреализма служил средством выражения неприятия общественных устоев и консервативной культуры, обеспечивающей их неизменность, и был одной из форм индивидуалистического бунта против социокультурных запретов, что, в сущности, и является отличительной чертой «черного юмора». Он считал, что юмор – это один из способов защиты внутреннего «я» от давления со стороны внешних – физических, физиологических, социальных – условий человеческого существования. Юмор дает возможность выхода за пределы обыденной реальности, находясь в которой, человек оказывается под гнетом логики, разума и субъективных эмоций, он расчищает путь для достижения единства с объективным метафизическим абсолютом. Юмор отменяет детерминизм материального мира и диктат культурно детерминированной личности, в результате чего часть психики человека, которая скрывалась в глубине и мраке бессознательного, может выразить свои метафизические устремления и тайные знания в форме безудержных фантазий, снов и бреда. Так появляется «черный юмор».

Непристойный смех «черного юмориста», продолжает далее Бретон, приобретает особое звучание и находит наибольший отклик у публики в периоды наивысшего напряжения, вызванного разного рода кризисами, такими как война или деморализация Европы в 1920-е годы. Но подспудно, пусть и в минимально выраженной степени, он всегда существовал в сознании немногочисленной группы людей, чуткий слух которых улавливал зловещий скрежет обломков рас-

кальвающегося на части мира. Из-за этого, едва различимого и оглушающего звука, они были подвержены многочисленным страхам, пребывая в сомнении относительно реальности существования окружающей действительности и подлинности происходящих в ней событий. Таким образом, мрак «черного юмора» есть следствие отказа от морали и прочих норм человеческого поведения и мышления, лежащих в основе мнимой упорядоченности повседневной жизни, следствие вызывающей справедливое негодование готовности дразнить и высмеивать смерть, ужасы жизни, насилие и несправедливость. «Черный юмор» жестоко расправляется с дешевой сентиментальностью, соединяя эмоциональную невозмутимость с пристрастием к неожиданным и шокирующим эффектам.

Хотя, скорее всего, большинство современных американских «черных юмористов» даже не подозревают о существовании теоретической системы Андре Бретона, и вряд ли ее можно перенести на американскую почву в неизменном виде, тем не менее, она способна прояснить творческие мотивы, мировоззренческие установки писателей и определить направление развития «черного юмора» в 1960-е годы. Бретон жил в Нью-Йорке с 1941 по 1946 годы, спасаясь от Второй мировой войны и фашизма. Однако вызывает сомнение, что его личное присутствие каким-то образом способствовало большему пониманию и распространению «черного юмора» в Соединенных Штатах. Ведь сюрреализм и дадаизм, в рамках которых он появился, достиг Америки задолго до приезда Бретона. Например, сюрреалистический журнал «Вью» был основан в 1940 году, в этом же году несколько сотен страниц в очередном выпуске ежегодника «Нью Дирекшнз» были посвящены публикации произведений европейских сюрреалистов, переведенных на английский язык. Но гораздо раньше, еще в 1913 году, Франсис Пикабия и Марсель Дюша познакомили нью-йоркских художников-авангардистов с нигилистическими основами того, что позднее приобретет известность под названием «дадаизм». Впоследствии многие молодые американские писатели получили возможность непосредственного знакомства с дадаизмом и сюрреализмом во время своего пребывания в 1920-е годы в европейских странах – во Франции, Германии и Швейцарии. Те, кто не пересекал Атлантический океан, читал дадаистов и сюрреалистов в небольших журналах, таких как «Литл Ревью», «Брум» и «Транзишн», некоторые из них были основаны американцами и издавались в Европе.

Из всех американских писателей-авангардистов, подвергшихся обработке дадаистско-сюрреалистическим препаратом в 1920-е годы, только один – Натанал Уэст – справился с задачей по созданию полномасштабного произведения «черного юмора». Его первый, необычайно хорошо написанный роман «Видения Балсо Снелла» вышел в 1931 году ограниченным тиражом. Несмотря на

стилистические достоинства и блистательную интеллектуальность он оставался не замеченным вплоть до 1950-х годов. В Соединенных Штатах в свободную продажу поступило только 300 экземпляров, но мне еще в середине сороковых удалось купить один из них в книжном магазине Мосса и Камина, издателей произведений Уэста: непроданные экземпляры роскошно изданного романа пылились в безвестности, занимая целую полку. Ни Великая депрессия, ни вторая мировая война не смогли встряхнуть американцев настолько, чтобы они оказались готовы воспринимать сардонически-скатологические стрелы насмешек Уэста в адрес основополагающих элементов американской (да и, пожалуй, всей западной) цивилизации. Его антигерой Бальсо Снелл отправляется в фантастическое путешествие по насыщенным миазмами внутренностям троянского коня. В течение повествования ставятся под сомнение и выворачиваются наизнанку не только традиции и сложившиеся системы ценностей, но и ниспровергающий их интеллектуальный и художественный авангард. Из гремучей смеси сатиры, хладнокровной бесстрастности, словесной эквилибристики, гротескных характеров, невероятных ситуаций, парадоксальных на грани безумия образов и искрометного остроумия в «Видениях Бальсо Снелла» получилась сардонически мрачная комедия, в этом же духе Уэстом были написаны еще три восхитительных романа – «Подруга скорбящих», «Целый миллион» и, последний, работу над которым он успел завершить накануне своей безвременной кончины в 1941 году, «День саранчи».

Для Уэста принадлежность к клану «черных юмористов» была предметом гордости, это становится очевидным из текста рекламного объявления издателей «Бальсо Снелла», в котором в форме повествования от третьего лица дана характеристика этого романа, объявление было опубликовано анонимно, его автором был сам Уэст. «Английский юмор всегда упивался своим добродушием и отменным вкусом, – сообщало это объявление. – Этот факт может создать трудности в сопоставлении Н. У. Уэста с другими писателями-юмористами, так как содержание данного произведения неопровержимо свидетельствует, что оно вышло из-под пера порочного, подлого, уродливого, крайне неприличного и ненормального субъекта». Признавая сходство «Бальсо Снелла» со сказками Льюиса Кэрролла о фантастических приключениях Алисы, Уэст особо подчеркивал свою близость к французским «черным юмористам»: «В использовании расчлененных с чудовищной жестокостью, удивительно дегуманизированных, умышленно криминализированных имбецильных образов он [Уэст] подражает Гийому Аполлинеру, Жарри, Рибмон-Дессеню, Раймону Русселю и некоторым другим сюрреалистам».

Как и большинство американских писателей из литературного авангарда 1920 - 1930-х годов в поисках новых интеллектуальных и художественных сти-

мулов для творчества Натанаэл Уэст предпочитал обращаться к европейскому опыту, пренебрегая своими американскими предшественниками. Правда, находились американцы, поступавшие иначе. Уильям Карлос Уильямс выражал свое восхищение пессимистической пред-шпенглеровской поэзией Эдгара Алана По. Харт Крейн живо воспринял психофизические тайны, открытые Германом Мелвиллом. Но они составляли крайне немногочисленную часть ничтожного меньшинства. Большинство молодых писателей были убеждены, что литературная традиция, сформировавшаяся в Америке, – это царство поверхностных и пустых авторов, его постное и безвкусное содержание полностью исключает какие бы то ни было творческие поиски и эксперименты.

Символом заостренного состояния американского искусства стала фигура литературного критика и романиста Уильяма Дина Хоуэллса, который, начав свою карьеру в незапамятные 1860-е годы, в 1920-е все еще был жив. К этому времени уже были прочно забыты его блестящие статьи в защиту реализма, его хвалебные отзывы, сопровождавшие публикацию в Соединенных Штатах шедевров русской, итальянской, французской литературы. Вместо этого авангардисты с горечью констатировали тот факт, что его влияние и громкое имя стали поворотным пунктом в развитии американской словесности. Его знаменитые слова о том, что американским писателям следует изображать в своих произведениях исключительно светлый, парадный, «улыбающийся» фасад жизни в Америке, тщательно ретушируя боль и страдания, скрывающиеся в ее мрачных закоулках, в конечном итоге завели литературу США в творческий тупик.

Впрочем, склонность Хоуэллса к веселым комедиям, призванным смягчать трагизм реальности, является всего лишь одним из проявлений основополагающей черты американского характера – оптимизма. Именно он направлял и поддерживал не одно поколение американцев на протяжении всей истории этой страны, начиная со времен первых поселенцев – английских пуритан и других беженцев, спасавшихся на территории нового континента от жестокой европейской реальности. Однако чересчур радужные надежды на скорое построение духовного и материального рая на вновь обретенной земле чаще всего не оправдывались. Вот с этого и начиналась история Америки. Возвышенные устремления гибли под ударами не поддающихся контролю обстоятельств, мечту убивают факты. Пуританскому сознанию вскоре пришлось учиться совмещать несовместимое. Поэтому в нем уживались истовая набожность и мрачные предчувствия. В 1676 году пуританский поэт-сатирик Бенджамин Томпсон сетовал (в то время такие сетования уже успели стать общим местом) на моральный и общественный упадок культуры, история развития которой едва насчитывала пятьдесят лет. Объектами его сатиры были и церковь, и правительство, и люди, кото-

рые перестали соблюдать те нормы и правила, которые существовали в столь недавнем и столь прекрасном прошлом, когда жизнь была свободной и счастливой. Не менее показательным было и высмеивание Томпсоном бостонских женщин и гарвардских академиков, в котором веселье соединилось со стихами и сценами, выражающими беспросветную и мрачную безнадежность. Таким образом, задолго до начала XX столетия в Америке уже существовал жесткий вид юмора, который совсем не был похож на тот мягкий его вариант, о котором говорилось в статьях Хоуэллса.

В этом отношении пуританская культура заслуживает особого внимания, так как среди современных «черных юмористов» чрезвычайно распространено мнение, что пуританизм стремился к полному изгнанию с территории Северной Америки любви, жизни и смеха. На самом деле, было бы справедливым говорить о том, что пуритане делали все возможное, чтобы привести в соответствие с жесткими рамками реальности те ограничения, которые изначально присущи условиям человеческого существования. Более того, они, можно сказать, холили и лелеяли такое человеческое качество, как чувство юмора, ценя его способность раскрепощать и подбадривать в различных ситуациях их повседневной жизни, которая была не менее суровой и безжалостной, чем война или смерть. Например, преподобный Ричард Бернанд в 1626 году заявлял, что «существуют, насколько я могу судить, такие улыбки и жизнерадостный смех, которые могут мирно соседствовать и самой серьезной рассудительностью, и с лучшими формами благочестия». В 1707 году преподобный Бенджамин Колман написал три проповеди, посвященные оправданию смеха, в них отразилось его страстное стремление доказать, что в глазах природы, Бога и христианской религии юмор прекрасен и жизненно необходим.

«Веселый смех, – писал он, – это своего рода освобождение или отдохновение для утомленного ума или тела... Он предназначен природой, чтобы ободрять и восстанавливать наши силы, потраченные в трудах и тяготах нашей жизни... Ни в коем случае им [пуританам] нельзя отождествлять все религиозное со *скучным и тяжеловесным, печальным и безутешным, угрюмым и мрачным*. Религия не только *разрешает*, но и *предписывает* соединять рассудительность с весельем».

Свое доминирующее положение в американской культуре пуританизм утратил еще до окончания XVIII века. Далекое не все в его наследии можно считать приемлемым. Но он представил нам прекрасный пример для подражания, составив смесь из мрачного жизненного опыта, жестокого разочарования в идеалах, которая была щедро приправлена юмором. Впрочем, такого рода практика не всегда становилась предметом подражания в последующие эпохи. На самом деле, в Соединенных Штатах, как и во всех других странах, «черный юмор» –

по крайней мере, так обстояло дело до 1960-х годов – был едва слышным бормотанием, которое лишь в исключительных случаях становилось громким и отчетливым. Но эти исключительные случаи впечатляют своим качеством исполнения, тщательное изучение истории американской литературы в течение последних тридцати или около того лет все чаще убеждает нас в этом.

Обилие исторических свидетельств длительного присутствия «черного юмора» можно получить в антологии американского юмора, которую я редактировал в 1962 году, она была первой работой в своем роде, так как ставила своей целью создать целостное представление об американской юмористической литературе, начиная с XVII века и заканчивая 1950-ми годами. Для эффективного отбора наиболее существенного материала были выделены два направления в редакционной работе, при этом мы стремились сохранять максимально объективную позицию в процессе чтения и перечитывания прозы, поэзии, документальных жанров, избегая преждевременного деления литературы на юмористическую и неюмористическую. В результате выяснилось, что, во-первых, творческие замыслы и способы их реализации у многих серьезных постпуританских авторов отмечены самым мрачным трагикомизмом. Во-вторых, мнение о том, что юмор имеет дело всего лишь с несущественными мелочами и может быть лишь формой легкомысленного развлечения, опровергает множество примеров из текстов произведений самых выдающихся американских писателей.

Вот несколько показательных примеров, подтверждающих правильность данных утверждений: мрачная глава из романа Натаниеля Готорна «Дом о семи фронтонах», в которой жестоко высмеиваются труп судьи Пинчена и ставшие бессмысленными перед лицом смерти его тщеславные замыслы и алчное стремление к материальным ценностям; хладнокровный письменный отчет об узаконенном убийстве на операционном столе молодого матроса, совершенном обезличенным бюрокра­тизмом судового хирурга в одной из сатирических глав романа Германа Мелвилла «Белый бушлат»; веселье, внушающее ужас, рассказа Амброза Бирса «Собачий жир», в котором адепт идеи свободного предпринимательства спокойно повествует о коммерческом предприятии своих родителей по производству жира для медицинских препаратов: сначала оно, исходя из технологических требований, потребляло собак, потом людей, детей и взрослых и, в конце концов, пустило в производство и собственных владельцев. Краткий перечень образцов «черного юмора» может быть дополнен фрагментами произведений Бенджамина Франклина, Вашингтона Ирвинга, Эдгара Алана По, Марка Твена, Стивена Крейна, Эдит Уортон, Шервуда Андерсона, Роберта Фроста, Френсиса Скотта Фицджеральда, Уильяма Фолкнера и Эрнеста Хемингуэя. И это имена лишь самых известных предшественников Натанаэля Уэста, которые систематически использовали в своем творчестве приемы «черного юмора».

Свою известность «черный юмор» приобрел достаточно внезапно в десятилетний период между 1955 и 1965 годами, так словно он появился в американской литературе из ниоткуда. Но его приверженцы не только ухитрились превратить свою безвестность в дополнительные предпочтения, но зачастую – например, в романах Томаса Пинчона «V.» и Джона Барта «Торговец дурманом» – и вовсе отказывались от самого понятия о какой-либо существенной связи между историей и современностью. «Черный юмор» оказался необычайно близким по духу тому периоду в развитии культуры, который можно отнести к типу «здесь и сейчас». В своих лучших проявлениях «черный юмор» помогал читателю справиться с постоянно присутствующим чувством угрозы ядерной войны, с массивной бюрократизацией социальных институтов и межличностных отношений, с чувством беспомощности, охватывающем человека в условиях подавляющего господства материальных объектов безраздельной власти неведомых и невидимых сил, с разрушающей психику скоростью непрерывных изменений, происходящих вокруг, с ужасом и смертью на фронтах горячих и холодных войн, которые как клещи впились в тело человеческого существования, превратившись в его неотъемлемую часть. Спасительная процедура смехотерапии была особенно благотворной.

Однако, несмотря на первоначальные ошеломляющие успехи, за очень короткий срок «черный юмор» значительно сдал свои позиции и в отношении качества, и в отношении престижа. Лишь немногим писателям – среди наиболее значимых фигур можно назвать Уолкера Перси и Томаса Бергера – удалось избежать этой участи. Некоторые – Уильям Гэддис, Джозеф Хеллер, Терри Сазерн – уже несколько лет не публикуют ничего нового, возможно, они вообще сошли с литературной стези. Последние произведения Брюса Джея Фридмана, Д. П. Донливи и Уильяма Берроуза по большей части оказались переписыванием созданного ранее, причем переписыванием, лишенным подлинного творческого вдохновения и потому откровенно скучным. По иронии судьбы стремительный взлет Курта Воннегута от юношеской научной фантастики завершился возвращением к избитой сентиментальности и морально-интеллектуальной банальности подростковой контркультуры в «Бойне №5». Свежесть и новизна мрачного смеха институционализировалась в тотально-механицистическое отрицание не только всего обыденного и пошлого, но и вкуче с ним важнейших сторон опыта человеческого существования. Культурную усталость сменила нигилистическая опустошенность, в которой потеряло смысл даже создание произведений «черного юмора», поэтому позднее творчество Джона Барта посвящено излишне многословному доказательству тезиса о бессмысленности любых слов и предпочтительности молчания. Венчает всю эту картину последняя деталь – злове-

шая тень самоубийцы Ленни Брюса, комика из ночного клуба, витающая над тлеющими развалинами «черного юмора».

К счастью, вопреки собственным апокалипсическим настроениям и постоянной готовности с легкостью уничтожить весь мир не все «черные юмористы» подверглись процессу саморазрушения. Романы Томаса Бергера «Жизненно важные части» и Уолкера Перси «Любовь в руинах», вышедшие в свет в 1970 и 1971 годах соответственно, стали достойным продолжением великой традиции «черного юмора», восходящей к творчеству Готорна, Мелвилла, Фолкнера. И Бергеру, и Перси удалось выбраться из интеллектуальной и нравственной трясины, которая поглотила не одного из числа их менее удачливых собратьев. Усложненность их мышления, которая оказывается созвучной разрушительным силам хаоса и кошмара, в то же время позволила им провести плодотворные поиски положительной альтернативы, которая вполне может стать отправной точкой восстановительных процессов. Бергер и Перси устояли перед искушением, с которым сталкиваются все «черные юмористы»: изображая хаос и пародируя распад связей между явлениями, прослеживающийся в реальности, они, незаметно для самих себя, скатываются к дезорганизованности, бесструктурности и бессвязности в собственных текстах. Еще более приятно отметить, что произведения Томаса Бергера и Уолкера Перси заражены весельем и вызывают смех, как и традиционные образцы «черного юмора». Творчество этих писателей может служить гарантией того, что «черный юмор» никогда не исчезнет из американской литературы.

Перевод А. Лаврентьева

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Бром Вебер – современный исследователь американского юмора в США. Перевод выполнен по изданию: Weber B. The mode of “black humor” // The Comic Imagination in American Literature. New Brunswick, N. J.: Rutgers Univ. Press, 1973. P. 361- 371.

² В данном случае термин «черный юмор» не несет в себе расового содержания.

Вопросы и задания

1. Перечислите эмоционально-эстетический ряд ассоциаций, связанных с понятием «черный юмор».
2. Какую функцию выполняет термин «черный юмор» в литературной критике?
3. Какова история возникновения выражения «черный юмор»?

4. Какие элементы философской системы Гегеля и психоаналитической теории Фрейда легли в основу сюрреалистической концепции «черного юмора»?
5. Какие функции призван выполнять «черный юмор» с точки зрения сюрреализма?
6. В какие культурно-исторические периоды «черный юмор» получает наибольшее распространение?
7. В чем заключается историческая связь между американским пуританизмом и «черным юмором»?
8. Какие социально-психологические проблемы послужили материалом для произведений «черного юмора», появившихся в середине XX века?
9. В чем автор статьи видит причины упадка американского «черного юмора»?
10. Какие свойства произведений Томаса Бергера и Уолкера Перси внушают автору статьи надежду на дальнейшее развитие «черного юмора» в литературе США?

Несостоявшаяся кремация

Ранним июньским утром 1872 года я убил своего отца – поступок, который в то время произвел на меня глубокое впечатление. Это произошло до моей женитьбы, когда я жил с родителями в штате Висконсин. Мы с отцом сидели в библиотеке нашего дома, деля награбленное нами за эту ночь. Добыча состояла главным образом из предметов домашнего обихода, и разделить ее поровну было делом нелегким. Все шло хорошо, пока мы делили скатерти, полотенца и тому подобное, серебро тоже было поделено почти поровну, однако вы и сами понимаете, что при попытке разделить один музыкальный ящик на два без остатка могут встретиться затруднения. Именно этот музыкальный ящик навлек несчастье и позор на нашу семью. Если бы мы его не взяли, мой бедный отец и до сих пор был бы жив.

Это было необыкновенно изящное произведение искусства, инкрустированное драгоценным деревом и покрытое тонкой резьбой. Ящик не только играл множество самых разнообразных мелодий, но и свистел перепелкой, лаял, кукарекал каждое утро на рассвете, безразлично, заводили его или нет, и сквернословил на чем свет стоит. Это последнее качество пленило моего отца и заставило его совершить единственный бесчестный поступок в жизни, хотя возможно, что он совершил бы и другие, останься он в живых: отец попытался утаить от меня этот ящик и заверял честью, что не брал его, мне же было как нельзя лучше известно, что он и самый грабеж задумал главным образом ради этого ящика.

Музыкальный ящик был спрятан у отца под плащом: мы переоделись в плащи, желая остаться неузнанными. Он торжественно поклялся мне, что не брал ящика. Я же знал, что ящик у него, знал и то, что отцу было, по-видимому, неизвестно, именно: что ящик на рассвете кукарекает и изобличит старика, если я смогу продлить раздел добычи до того времени.

Случилось так, как я хотел: когда свет газа в библиотеке начал бледнеть и очертания окон смутно проступили сквозь шторы, из-под плаща старого джентльмена раздалось протяжное кукареку, а за ним – несколько тактов арии из Тангейзера, и все это завершилось громким щелканьем. Между нами на столе лежал маленький топорик, которым мы пользовались, чтобы проникнуть в тот злополучный дом; я схватил этот топорик. Старик, видя, что запереться дольше бесполезно, вынул ящик из-под плаща и поставил его на стол.

– Я сделал это только ради спасения ящика, но если ты хочешь, руби его пополам, – сказал он.

Он страстно любил музыку и сам играл на концертино с большим чувством и экспрессией. Я сказал:

– Не стану оспаривать чистоты ваших побуждений – было бы самонадеянно с моей стороны судить своего отца. Однако дело прежде всего, и вот этим то-

пориком я намерен расторгнуть наше товарищество, если на будущее время вы не согласитесь, выходя на работу, надевать на шею колокольчик.

– Нет, – ответил он после некоторого раздумья, – нет, этого я не могу сделать, это значило бы сознаться в нечестности. Люди скажут, что ты мне не доверяешь.

Я не мог не восхититься такой твердостью духа и щепетильностью. В ту минуту я гордился им и готов был простить его ошибку, но один взгляд на драгоценный ящик вернул мне решимость, и я, как уже рассказывал, помог почтенному старцу покинуть эту юдоль слез. Сделав это, я ощутил некоторое беспокойство. Не только потому, что он был мой отец, виновник моего существования, но и потому, что труп должны были неминуемо обнаружить. Теперь совсем уже рассвело, и моя мать могла в любую минуту войти в библиотеку. При таких обстоятельствах я счел нужным спровадить и ее туда же, что и сделал. После этого я расплатился со слугами и отпустил их.

В тот же день я пошел к начальнику полиции, рассказал ему о том, что сделал, и попросил у него совета. Мне было бы чрезвычайно прискорбно, если бы поступок мой получил огласку. Мое поведение все единодушно осудят, газеты воспользуются этим против меня, если я выставлю свою кандидатуру на какой-нибудь пост.

Начальник понял всю основательность этих соображений; он и сам был довольно опытный убийца. Посоветовавшись с председателем Коллегии Лжесвидетелей, он сказал мне, что всего лучше спрятать оба трупа в книжный шкаф, застраховать дом на самую большую сумму и поджечь его. Так я и поступил.

В библиотеке стоял книжный шкаф, купленный отцом у одного полоумного изобретателя, и пока еще пустой. По форме и размерам он походил на старинный гардероб, какие бывают в спальнях, где нет стальных шкафов, и распахивался сверху донизу, как дамский пенюар. Дверцы были стеклянные. Я только что обмыл моих покойных родителей, и теперь они достаточно закоченели, чтобы стоять не сгибаясь, поэтому я поставил их в шкаф, из которого предварительно вынул полки. Я запер шкаф и занавесил стеклянные дверцы. Инспектор страховой конторы раз десять прошел мимо шкафа, ничего не подозревая.

В тот же вечер, получив страховой полис, я поджег дом и лесом отправился в город за две мили отсюда, где меня и нашли в то время, когда тревога была в полном разгаре. С воплями ужаса, выражая опасения за судьбу своих родителей, я присоединился к бегущей толпе и попал на пожарище через два часа после того, как поджег дом.

Когда я прибежал на место, весь город был уже там. Дом сгорел дотла, но посреди ровного слоя тлеющего пепла целый и невредимый красовался книжный шкаф! Занавески сгорели, обнаружив стеклянные дверцы, и зловещий багровый свет озарял внутренность шкафа. В нем «точно как живой» стоял мой незабвенный отец, а рядом с ним – подруга его радостей и печалей. Ни одного волоска у них не опалило огнем, и одежда их была не тронута. На голове и шее виднелись раны, которые я был принужден нанести им, чтобы достигнуть своей

цели. Толпа смолкла, словно увидев чудо: благоговение и страх сковали языки. Я сам был очень взволнован.

Года через три после этого, когда описанные выше события почти изгладилась из моей памяти, я поехал в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сбыте фальшивых облигаций Соединенных Штатов. Однажды, заглянув случайно в мебельную лавку, я увидел точную копию того книжного шкафа.

– Я купил его почти даром у образумившегося изобретателя, – объяснил торговец. – Он сказал, что этот шкаф – несгораемый, потому что поры в дереве заполнены квасцами под гидравлическим давлением, а стекло сделано из асбеста. Не думаю, впрочем, чтобы он действительно был несгораемый, – вы можете его приобрести за ту же цену, что и обыкновенный книжный шкаф.

– Нет, – сказал я, – если вы не даете гарантии, что шкаф несгораемый, я его не куплю, – и, простившись с торговцем, я вышел из лавки.

Я не взял бы его и даром: он вызывал во мне чрезвычайно неприятные воспоминания.

Перевод Н. Дарузес

Публикуется по изданию: Бирс А. Рассказы. М.: ГИХЛ, 1938.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Амброз Бирс (Ambrose Bierce, 1842-1914?) – американский писатель-сатирик, журналист, автор юмористических и «страшных» рассказов, продолжавших традицию Э. По. За язвительное перо получил прозвище Bitter Bierce. В своих новеллах, в том числе юмористических, он исследовал темные стороны человеческой природы, в большинстве из них присутствуют темы смерти и абсурдности человеческого существования. Сочетание мрачного пессимизма с едкой иронией и сарказмом сделали Бирса одной из самых значительных фигур в американском «черном юморе». Его влияние на собственное творчество признавали Э. Хемингуэй и Х. Л. Борхес. Данные рассказы («Несостоявшаяся кремация» и «Город почивших») относятся к циклу «Клуб родителейубийц», 1872.

Вопросы и задания

1. Воспроизведите события, о которых рассказывается или упоминается в тексте рассказа, в хронологическом порядке.
2. Охарактеризуйте социальное положение рассказчика и его семьи.
3. Какие стилистические средства использует автор рассказа для создания юмористического эффекта?
4. Какую роль в повествовании играют предметы, связанные с наукой и искусством?
5. Какие социальные институты фигурируют в тексте рассказа? Какие функции они выполняют?

Город Почивших

Я родился от честных, а потому бедных родителей и до двадцати трех лет не имел ни малейшего понятия о том, сколько счастливых возможностей таится для человека в деньгах его ближнего. Но когда я достиг этого возраста, провидение явило мне сон и раскрыло предо мною всю бессмысленность честного труда.

– Взгляни на скудость и убожество своего жребия и внимай урокам природы, – сказал привидевшийся мне святой отшельник. – По утрам ты встаешь со своей соломенной подстилки и идешь на поля, чтобы вновь предаться ежедневным трудам. По пути головки цветов дружески кивают тебе. Жаворонок приветствует тебя звонкой песней. Утреннее солнце согревает тебя нежаркими лучами, и ты вдыхаешь струящийся от росистых трав прохладный воздух, столь благодатный для легких. Кажется, будто вся природа радостно встречает тебя, как верная служанка своего доброго хозяина. Нежнейшие ее звучания находят в тебе отклик, и в душе твоей все поет. Ты берешься за плуг в надежде, что чудесное утро предвещает еще более чудесный день, когда в полном блеске предстанет пред тобою красота природы и вызванное ею отрадное чувство упрочится в твоём сердце. Ты идешь за плугом, пока усталость не заставит тебя сделать передышку, а затем садишься в конце борозды, предполагая всецело насладиться блаженством, которое тебе лишь едва-едва удалось вкусить поутру.

Но, увы! Солнце стоит высоко в раскаленном небе, посылая на землю целые потоки жарких лучей. Цветы сомкнули лепестки, оберегая свой аромат и скрыв от постороннего взора яркость своих красок. От трав уже не струится прохлада; роса исчезла, и пересохшие поля, так же как и небо, пышут свирепым жаром. Птицы больше не приветствуют тебя своими руладами, и лишь сойка на опушке рощи хрипло бранит тебя за что-то. Несчастный! Природа лишила тебя своего нежного и врачующего участия в наказании за твой грех. Ты нарушил первую из ее десяти заповедей: ты трудился!

Пробудившись от этого сна, я собрал свои немногочисленные пожитки, сказал «прости» заблудшим моим родителям и покинул страну, задержавшись лишь ненадолго у могилы своего деда-священника, чтобы принести там торжественную клятву, что отныне ни единого пенни не заработаю честным трудом, и да поможет мне бог!

Не помню, долго ли я странствовал, но в конце концов очутился в большом городе у моря и сделался там врачом. Я теперь уже не помню, как назывался этот город до того, как я туда приехал. Мои успехи и популярность на новом поприще были столь велики, что олдермены, по настоянию сограждан, вынуждены были дать городу новое название, и он стал именоваться «Городом Почивших».

Нет нужды упоминать, что я отнюдь не обладал какими-либо познаниями в медицине. Но с помощью видного специалиста по подделке документов я приобрел диплом, якобы выданный мне Королевским Обществом Знахарей и Шар-

латанов города Идол-сити. Этот диплом в рамке из бессмертника был подвешен на креповой ленточке к плакучей иве, растущей против моей приемной, и привлекал к себе толпы страждущих. Я основал также чрезвычайно крупный похоронный комбинат, тесно связанный с моей врачебной практикой. Как только мне позволили средства, я купил большой участок земли и устроил на нем кладбище, по одну сторону которого находилась моя мастерская мраморных памятников, а по другую – обширное цветоводство. Кокетство, мода и скорбь поставляли покупателей в мой универсальный магазин «Все для скорбящих». Словом, дела мои процветали, и уже через год я смог выписать своих родителей и устроить старого отца на прекрасную должность скупщика краденых вещей. Поступок этот никак нельзя было счесть постыдным актом сыновней признательности, потому что я вытягивал у старика все доходы.

Но, к сожалению, лишь крайняя бедность может гарантировать нас от превратностей судьбы; человек не в состоянии уберечь себя от зависти богов и бесконечных козней фортуны. Богатство, разрастаясь вширь, теряет свою мощь, в то время как антагонистические силы, которых оно оттесняет, накапливают энергию по закону упругости и, в конце концов, наносят сокрушительный ответный удар. Слава о моем врачебном искусстве все росла, и ко мне стали привозить пациентов со всех концов земного шара. Лежачие больные, чье упорное отлынивание от смерти служило постоянным источником огорчения для их друзей; богатые завещатели, чьи наследники жаждали получить свои кровные деньги; нежеланные отпрыски раскаявшихся в своем грехе родителей и родители, находящиеся на иждивении у расчетливых детей; супруги, задумавшие вступить в новый брак и при этом избежать бракоразводного процесса – все эти и многие другие разновидности избыточного населения препровождались в мою клинику в Городе Почивших. Прибывало их бесчисленное множество.

Правительственные чиновники привозили ко мне целые караваны сирот, бедняков, умалишенных – в общем, всех тех, кто стал обузой для общества. Мое искусство в исцелении пауперизма и орфанизма¹ было особо отмечено благодарным парламентом.

Естественно, все это способствовало процветанию моих сограждан, так как, хотя прибывающие в город чужеземцы большую часть денег оставляли мне, все же благодаря им очень оживилась торговля, в которую я и сам вкладывал немалые суммы. Я был крупным предпринимателем, а также покровителем наук и искусств. Город Почивших так быстро разрастался, что через несколько лет мое кладбище, которое и само необыкновенно расширилось, вошло в пределы города. Вот тут-то и таилась моя погибель.

Олдермены объявили мое кладбище общественным злом и постановили отнять его у меня, тела перенести в другое место, а там разбить парк. Конечно, мне должны были возместить стоимость кладбища, и, с легкостью подкупив оценщиков, я смог бы сорвать за него изрядный куш. Но по одной причине, которая станет ясна позднее, решение олдерменов мало меня радовало. Все мои протесты против кощунственного нарушения покоя умерших оказались напрасными. А между тем это был веский аргумент, так как в той стране мертвецы

служат предметом религиозного поклонения. В их честь воздвигаются храмы, и на государственном обеспечении содержится особая категория священнослужителей специально для отправления заупокойных служб, всегда очень трогательных и торжественных. Ежегодно, в течение четырех дней здесь отмечают «Праздник Усопших». Люди, оставив все свои дела, огромной процессией во главе со священниками проходят по кладбищам, украшая могилы и вознося молитвы в храмах. В этой стране существует поверье, что, как бы ни грешил человек при жизни, скончавшись, он обретет вечное и невыразимое блаженство. Всякое сомнение в этом рассматривают как тяжкое преступление и карают смертью. Вырыть погребенное тело или отказаться похоронить умершего считается страшным злодеянием, и для него даже не предусмотрено кары, потому что никто никогда еще не осмеливался его совершить. Согласно закону, эксгумация трупов производится лишь по особому разрешению и сопровождается торжественной церемонией.

Все это как будто говорило в мою пользу, однако жители города и власти были так твердо убеждены в пагубном влиянии моего кладбища на их здоровье, что, в конце концов, его отобрали у меня, предварительно определив стоимость. С трудом подавив тайный ужас получив за кладбище сумму, вдвое превышавшую его истинную цену, я лихорадочно стал сворачивать свои дела.

Неделю спустя наступил день, назначенный для торжественного обряда перенесения трупов. Погода была прекрасная, и все население города и окрестностей собралось, чтобы присутствовать при этой величественной религиозной церемонии. Весь ритуал выполнялся под руководством священнослужителей в погребальном облачении. Состоялось искупительное жертвоприношение в Храмах Усопших, а затем грандиозная процессия двинулась к кладбищу. Возглавлял процессию сам Великий Мэр в парадной мантии и с золотой лопатой в руках. За ним следовал хор из ста одетых в белое мужчин и женщин, которые пели Гимн Почившим. Далее следовало младшее духовенство храмов, городские власти в парадных мундирах, и каждый из них нес живого поросенка – жертву богам Почивших. И лишь последние ряды этой длинной процессии составляло местное население. Горожане шли с непокрытыми головами, посыпая волосы придорожной пылью в знак смирения. В центре некрополя, перед часовней стоял Верховный Прелат в пышном одеянии, а по обе стороны от него выстроились епископы и другие высшие сановники курии. Все они смотрели на приближавшуюся толпу с крайней суровостью. Великий Мэр почтительно остановился перед священнослужителями, а младшее духовенство, гражданские власти и горожане плотным кольцом обступили место действия. Великий Мэр, положив золотую лопату к ногам Высшего Духовного Властителя, молча опустился перед ним на колени.

– Зачем дерзнул ты явиться сюда, о смертный? – громко и торжественно спросил Верховный Прелат. – Уж не возымел ли ты нечестивое намерение при помощи этого орудия обнажить тайну смерти и нарушить покой усопших?

Великий Мэр, не вставая с колен, вытащил из-под мантии грамоту с весьма внушительными печатями.

– Взгляни, о неизреченный, на слугу твоего, посланного народом, чтобы умолять тебя о милости. Позволь нам взять на себя заботу о почивших, дабы они могли покоиться в более подходящей земле, освящением подготовленной к их приему.

С этими словами он вручил Прелату постановление совета олдерменов о перенесении умерших на другое кладбище. Едва коснувшись пергаментного свитка, Верховный Прелат передал его в руки стоящего рядом Главного Хранителя Кладбищ. Воздев руки к небу и несколько смягчив суровое выражение лица, Прелат возгласил:

– Боги согласны! Священнослужители, выстроившиеся по обе стороны от Прелата, повторили его жест, взгляд и слова. Великий Мэр поднялся с колен, хор затянул торжественную песню. В этот момент в ворота кладбища въехала погребальная колесница, запряженная десятью белыми лошадьми с развевающимися черными плюмажами. Сквозь расступившуюся толпу колесница покатила к могиле, выбранной для этого торжественного случая. Здесь был похоронен важный сановник, которого я пользовал от хронической склонности к лежанию. Великий Мэр золотой лопатой коснулся могильного холма, вручил ее Верховному Прелату, а два дюжих могильщика энергично принялись орудовать уже железными лопатами.

Тут мне пришлось срочно покинуть и кладбище и город. Сведениями о дальнейших событиях я обязан моему блаженной памяти отцу. Родитель сообщил мне о них в письме, написанном в тюремной камере ночью, накануне того дня, как он имел непоправимое несчастье угодить в петлю.

Пока могильщики работали, четыре епископа стали по углам могилы и в глубокой тишине, нарушаемой лишь лязгом лопат, принялись повторять заклинания из Ритуала Нарушения Покоя Усопших, умоляя почившего брата простить их. Но почившего брата там не было и в помине. Напрасно вырыв яму глубиной в две сажени, могильщики прекратили работу. Священнослужители пришли в явное замешательство, толпа застыла в ужасе. Могила была пуста. В этом не было никаких сомнений.

После краткого совещания с Верховным Прелатом Великий Мэр приказал рабочим вскрыть другую могилу. На этот раз решено было повременить с ритуалом, пока не обнаружится гроб. Но и здесь не было ни гроба, ни мертвеца.

Смятение и ужас воцарились на кладбище. Люди с воплями метались взад и вперед, стеная и жестикулируя. Все кричали разом, не слушая друг друга. Некоторые помчались за лопатами, мотыгами, кирками. Другие тащили плотничьи стамески и даже зубила из мастерской мраморных памятников и с помощью этих малопригодных орудий принимались раскапывать первые попавшиеся могилы. Иные бросались ничком на могильные холмики и яростно разгребали землю голыми руками, напоминая собак, охотящихся на сурков. Еще до наступления темноты было перерыто почти все кладбище. Каждая могила была исследована до дна, и теперь тысячи людей, преодолевая усталость, ожесточенно рыли землю на тропинках между могилами. Вечером были зажжены факелы, и при их зловещем свете эти жалкие безумцы, подобно бесовскому легиону,

справляющему какой-то нечестивый обряд, продолжали свой бесплодный труд, пока не перерыли все кладбище. Но они не нашли ни одного трупа и даже ни одного гроба.

Объяснялось все это очень просто. Существенную часть моего дохода составляла продажа трупов моим медицинским коллегам. Никогда прежде они так обильно не снабжались материалом для своих ученых исследований, и в благодарность за эти неоценимые заслуги перед наукой, они без числа награждали меня дипломами, учеными степенями и почетными званиями. Но предложение сильно превышало спрос: при самом расточительном потреблении трупов, они не могли использовать и половины той продукции, которую поставляло им мое врачебное искусство. Для утилизации излишков я основал одно из крупнейших, оборудованных по последнему слову техники, мыловаренных предприятий в стране. Прекрасные качества моего туалетного мыла «Гомолин»² были засвидетельствованы аттестатами святейших теологов, и весьма лестно отозвалась о моем мыле также знаменитая Блуделина Спатти – самое чистое сопрано нашего времени.

Перевод Ф. Золотаревской

Публикуется по изданию: Бирс А. Рассказы. М.: ГИХЛ, 1938.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ От английского orphan – сирота.

² Гомолин – от греческого Ното – человек. (Прим. перев.)

Вопросы и задания

1. В чем заключается нигилистический смысл предложения, с которого начинается текст рассказа? Приведите другие примеры нигилизма, встречающиеся в рассказе.
2. Сравните следующие два абзаца из текста рассказа:

По утрам ты встаешь со своей соломенной подстилки и идешь на поля, чтобы вновь предаться ежедневным трудам. По пути головки цветов дружески кивают тебе. Жаворонок приветствует тебя звонкой песней. Утреннее солнце согревает тебя нежаркими лучами, и ты вдыхаешь струящийся от росистых трав прохладный воздух, столь благодатный для легких. Кажется, будто вся природа радостно встречает тебя, как верная служанка своего доброго хозяина. Нежнейшие ее звучания находят в тебе отклик, и в душе твоей все поет. Ты берешься за плуг в надежде, что чудесное утро предвещает еще более чудесный день, когда в полном блеске предстанет пред тобою красота природы и вызванное ею отрадное чувство упрочится в твоём сердце. Ты идешь за плугом, пока усталость не заставит тебя сделать передышку, а затем садишься в конце борозды, предполагая всецело насладиться блаженством, которое тебе лишь едва-едва удалось вкусить поутру.

Но, увы! Солнце стоит высоко в раскаленном небе, посылая на землю целые потоки жарких лучей. Цветы сомкнули лепестки, оберегая свой аромат и скрыв от постороннего взора яркость своих красок. От трав уже не струится прохлада; роса исчезла, и пересохшие поля, так же как и небо, пышут свирепым жаром. Птицы больше не приветствуют тебя своими руладами, и лишь сойка на опушке рощи хрипло бранит тебя за что-то. Несчастный! Природа лишила тебя своего нежного и врачующего участия в наказании за твой грех. Ты нарушил первую из ее десяти заповедей: ты трудился!

Каким образом в них реализуется аксиологическая инверсия?

3. Как проявляется аксиологическая инверсия в профессиональной деятельности рассказчика?

4. Перечислите социальные институты, с которыми оказалась связана деятельность рассказчика? Как изменялось его социальное положение по мере расширения его предприятия?
5. В какой форме в рассказе представлена тема смерти?
6. Каким образом в финале рассказа проявляется понятие системности?

Часть II

«ЧЕРНЫЙ ЮМОР»

И

АМЕРИКАНСКИЕ ЦЕННОСТИ

В течение длительного времени американская культура формировалась в условиях жизненно необходимой потребности в постоянной трансформации и обновлении стереотипов поведения. Наиболее существенным отличием образа жизни в Новом Свете становилось отсутствие многовековых традиций и устойчивой социальной структуры, столь характерной для европейских стран. Это ощущение постоянной изменчивости и незавершенности не могло не затронуть и этико-эстетической сферы жизни американского общества.

Форсированное освоение территории нового континента всегда было сопряжено со столкновением с чем-то новым, доселе неизвестным, требующим нестандартного подхода и подрывающим все привычное и казавшееся незыблемым. Представители американской нации становились носителями культуры, непрерывно пребывающей в ситуации, в которой любое предустановленное представление о мире было вынуждено проходить жесткую проверку. Подобная верификация и привычка корректировать содержание собственного сознания сформировало скептическое отношение к каким бы то ни было устойчивым категориям мышления. Как указывает исследователь американского юмора Д. Бир, наиболее адекватной данному типу мировоззрения эстетической категорией может быть только комическое: «Из всего, что написал Аристотель, нет ничего более разумного и близкого к повседневной жизни, чем его релятивистская философия «золотой середины». Она в наибольшей степени соответствует комическому как образцу для поведения. Обычно античный философ располагал свой умеренный идеал между недостаточным и избыточным выражением какого-либо качества. Именно в такой форме он давал определения. Смелость, например, обозначалась им как нечто среднее между малодушной трусостью и безрассудной храбростью. Но то же самое можно сказать и комическом героизме. С этой точки зрения можно рассмотреть целый ряд человеческих качеств в их соотношении с идеальными крайностями: горькая правда, высказанная в комической форме, это некая промежуточная ступень между идеализацией социальной действительности и яростным ее неприятием; комическое изображение людей такими, какие они есть на самом деле, находится между стремлением к их обожествлению и настойчивым желанием их всех уничтожить; а чувство самоиронии позволяет избежать ханжества и ложной сентиментальности, не впадая в презрительную злобу и непристойную брань»¹.

Специфика культурно-исторических условий определила основную функцию американского юмора. Он моделировал ситуации, которые активизируют и формируют как у автора, так и у слушателя критическое мироотношение, приучают его отличать выдумку от реальности, помогают определить критерии разделения порядка и хаоса. Этим объясняется усложненная эмоциональная и повествовательная структура юмористических произведений американских авторов. Марк Твен в практическом пособии по исполнению юмористического рассказа «Об искусстве рассказа» (How to tell a story, 1895) указывает на главное условие, которое необходимо соблюдать при общении с публикой – не давать им смешное в готовом удобоваримом виде. Наоборот, мастерство рассказчика состоит именно в том, чтобы создать как можно больше преодолимых, но непредсказуемых трудностей на пути понимания подлинного смысла высказываемого: «Эффект, производимый юмористическим рассказом, зависит от того, *как* он рассказывается. <...> Юмористический рассказ – это в полном смысле слова произведение искусства, искусства высокого и тонкого, и только настоящий артист может за него браться. <...> Юмористический рассказ требует полной серьезности; рассказчик старается и вида не подавать, будто у него есть хоть малейшее подозрение, что рассказ смешной... Очень часто, конечно, нестройный и беспорядочный юмористический рассказ тоже кончается «солью», «изюминкой», «гвоздем» или как там угодно вам будет это назвать. И тогда слушатель должен быть начеку, потому что рассказчик здесь всячески старается отвлечь его внимание от этой «соли» и роняет главную фразу так это невзначай, безразлично, делая вид, будто он и не знает, что в ней вся соль»².

Сложность решаемой художественной задачи определяет повествовательную форму создаваемых произведений, Марк Твен перечисляет основные характеристики американского юмористического рассказа: «Нанизывание несуржиц и нелепостей в беспорядке и зачастую без всякого смысла и цели, простодушное неведение того, что это бессмыслица, – на этом, сколько я могу судить, основано американское искусство рассказа. Другая его черта – это то, что рассказчик смазывает концовку, содержащую «соль» рассказа. Третья – то, что он роняет выношенную им остроумную реплику как бы ненароком, не замечая этого, будто думая вслух»³.

Юмор выражает основную черту американской культуры и национального характера: под сомнение ставится мнимое чувство комфорта, благополучия и безопасности, прагматичному переосмыслению подвергается общепринятая система ценностей и разрушаются не выдержавшие проверки в реальных условиях представления об истине, добре и красоте. Отсюда три особенности, которые присущи ему с самого раннего этапа формирования нации – абсурд, жестокость и карикатурный гротеск. Американский юмор изначально был «черным юмо-

ром» – «наша литература всегда обнаруживала склонность к «черному юмору», которая заставляла нас смеяться над тем, что по самой своей сути не может быть веселым, – над гротескным и причиняющим боль»⁴, – это нашло свое проявление в разнообразных формах в различных исторических условиях.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Bier J. The Rise and Fall of American Humor. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1968. P. 475.

² Твен М. Собрание сочинений: в 12 т. М.: ГИХЛ, 1961. Т. 11. С. 7, 8.

³ Там же. С. 10, 11.

⁴ Veron E. Brief history of humor in American literature // Humor in America: An Anthology. N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1976. P. 331.

Глава 1

Американский здравый смысл и «черный юмор» в творчестве Бенджамина Франклина

С самых ранних этапов развития англоязычной словесности на территории североамериканских колоний (когда речь еще не могла идти о полноценной художественной литературе) прослеживается стремление авторов американской литературы обозначить ее отличие от собственно английской литературы. В поисках самобытности ими был создан следующий ряд признаков, свидетельствующих о принципиальной разнице в образе жизни Старого и Нового Света: многовековой истории старой доброй Англии противопоставлялась молодость новой страны, скученности и тесноте перенаселенного бедняками острова – огромные просторы целого континента с неограниченными материальными ресурсами и экзотической природой, а рафинированной, находящейся в плену условностей культуре английских аристократов – демократичная простота нравов и здравый смысл жителей Америки.

Патриотические чувства формируют потребность в создании положительного образа собственной страны, а в период становления культурной самостоятельности особенно болезненно переживаются его отрицательные стороны, тем более, когда они слишком очевидны и неустранимы. В связи с этим особое значение приобретает юмор, выступающий в качестве незаменимого инструмента в работе с описанием жизни в условиях малоцивилизованного общества. В диалоге с каким-либо собеседником можно выделить два способа нейтрализации негативных аспектов того или иного явления. Первый, примитивный и малоэффективный – полностью их игнорировать или отрицать. Второй – более продуктивный, представляющий собой многоступенчатый процесс: сначала выявляется семантическое или культурное поле, в рамках которого те или иные свойства из нейтральных становятся отрицательными; затем это поле разрушается путем его подмены другим семантическим или культурным полем, в котором то же самое свойство приобретает положительную окраску. Например, рождение ребенка вне брака в рамках одной системы координат может считаться тяжким грехом, в рамках другой – увеличение трудоспособного населения и умножение числа подданных короля – подвигом. В одном из произведений начала XVIII века доказывалась преувеличенность страхов перед жесткостью индейцев на следующем примере: когда индеец снимает скальп (к сожалению, невозможно отрицать того факта, что у коренных жителей Америки распространен этот обычай), он сразу же надевает на голову скальпируемого головной убор, чтобы тот не простудился. Убийство, перенесенное в пространство повествования,

превращается в заботу о человеке. Но самым показательным примером виртуозного манипулирования системами ценностей можно считать знаменитый эпизод с забором из романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера», когда наказание после соответствующей интерпретационной обработки превратилось в привилегию и источник дохода. Иными словами, на протяжении всей истории развития американской литературы юмор был литературной формой, воплощающей известный принцип: «если судьба дала тебе лимон, сделай из него лимонад».

Ярким примером неразрывной связи юмора с процессами поиска самоидентичности, становления личности и нации, обретения индивидуальной и общественно-политической независимости может служить жизнь и творчество Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin, 1706-1790). В истории Америки он стал образом, ставшим воплощением основополагающих черт американского национального характера. Мелвилл называл Франклина человеком, олицетворяющим дух и тип своей страны. Английский историк Карлейль отводил ему роль отца всех янки. Лоуренс, английский писатель XX века, считал Франклина первым настоящим американцем, ставшим образцом для всей нации. По свидетельству одного из литературных критиков конца XIX века, Франклин продемонстрировал на своем примере процесс превращения англичанина, родившегося в Америке, в современного янки: «Он был первым и единственным представителем колониальной Америки, который приобрел мировую известность в области словесности, именно с его образом европейцы отождествляли Америку и американизм. Он был воплощением здравого смысла и деятельной добродетели, соединившим широту мышления философа с предприимчивостью бизнесмена»¹.

Содержание и форма литературной деятельности Франклина во многом определялась его мировоззренческими установками: как и большинство его соотечественников, особенно в Новой Англии, он был убежден в изначальной греховности человеческой природы. В одном из своих писем Франклин писал: «Я нахожу людей очень плохо сконструированным родом существ, поскольку их в целом гораздо легче спровоцировать, нежели примирить, они более расположены к тому, чтобы причинять друг другу вред, нежели искупать свою вину, легче поддаются, чем противятся обману и более гордятся и даже получают более удовольствия от того, что убивают друг друга, нежели от того, что порождают; ибо, не краснея, среди бела дня собираются в громадные армии, чтобы уничтожать, а наубивав столько, сколько можно, еще и преувеличивают цифру, дабы приукрасить воображаемую славу; зато, собираясь породить, они забиваются в углы или прикрываются темнотою ночи, словно стыдясь достойного дела. Оно было бы достойным, а убийство их – порочным, если бы этот род был действительно достоин разведения и сохранения, но в этом я начинаю сомневаться»².

Людей без недостатков не существует, об этом Франклин знал по собственному опыту, изложенному в «Автобиографии». В самом известном произведении Франклина «Путь к изобилию» (The way to wealth, 1757) дается анализ препятствий, мешающих обрести материальное благополучие, все они относятся исключительно к внутренним качествам человека: лень, праздность, любовь к развлечениям и неразумные поступки влекут за собой гораздо более высокие издержки, чем любые налоги любого правительства.

В отсутствие внутренних моральных ориентиров нравственность может основываться лишь на внешних критериях, самым действенным из которых становится польза, понимаемая исключительно как приобретение материальных благ. «Его философия была философией выгоды – философией, нацеленной на увеличение власти, улучшение условий жизни, удовлетворение вульгарных человеческих потребностей. Ее суть состоит в том, что нужно быть честным, правдивым, усердным, потому что лень, ложь и подлость, в конечном итоге, никогда не приносят прибыли... В философской системе Франклина, в которой житейская мудрость становится краеугольным камнем, не оставалось места для морали... Но какими бы пошлыми они ни казались, с точки зрения обывателя, высказывания Франклина звучали толково и убедительно»³. Именно его произведения свидетельствуют, что имморализм становится закономерным следствием принципов пользы как высшей нравственности, а здравого смысла как единственного средства определения истинности любой идеи и оценки любого явления.

Те же самые сугубо утилитарные мотивы лежат в основе подхода американского писателя к словесному творчеству. Его цель, с точки зрения Франклина, заключается в ведении успешного диалога с читателем или обеспечении эффективной коммуникации. (Франклин проявил свой незаурядный талант переговорщика в ранге американского посла при дворе короля Людовика XVI во время Войны за независимость, в крайне тяжелой для Америки военно-политической ситуации ему удалось заключить очень выгодный союз с Францией). Особое значение в обеспечении этой эффективности принадлежало юмору. Как писал Карлейль, Франклин «превращает собственное остроумие в оружие, а юмор в подручное средство для достижения успеха»⁴. Его современник Джон Адамс свидетельствовал: «Он с большим мастерством использовал свое остроумие и способность иронизировать для утверждения нравственности и жизненной правды»⁵.

В «Автобиографии» Франклин, описывая собственную карьеру, указывает на основную цель создания литературного произведения: «... Главное... это поучать других..., доставить удовольствие или убедить в чем-либо»⁶. Иными словами, сам творческий процесс и акт самовыражения не представляли для Фран-

клина как писателя самодовлеющей ценности, ему важен был практический результат: «По той же самой причине, по которой он выдвигал свои многочисленные проекты, он брался за перо – ему нужно было кого-то в чем-то убедить»⁷. Поэтому лучшие его произведения отличаются «тщательно рассчитанной риторической структурой», в частности, как указывает американский исследователь, первая часть «Автобиографии» представляет собой «необычайно искусно организованную риторическую конструкцию»⁸.

Методы поиска приемов выстраивания эффективного процесса коммуникации находились в рамках интеллектуальной парадигмы XVIII столетия, которое справедливо считается веком эмпирических знаний и экспериментальной науки. «Когда Франклин обращался к словесному творчеству, он не просто заполнял свой досуг; <...> он овладевал мастерством убеждать людей. Когда ему случалось находить метод, повествовательную технику или прием, которые служили разрушению читательского скепсиса или хитроумным способом заставляли его склоняться к согласию с точкой зрения автора – это средство непременно занимало свое место среди инструментов, постоянно используемых писателем»⁹. Например, в «Автобиографии» представлен эпизод из юности Франклина, описывающий его знакомство с сократическим способом ведения полемики: «А вскоре я достал «Воспоминания о Сократе» Ксенофонта, где приводятся многочисленные примеры использования этого метода. Я был им совершенно очарован и стал применять его; я уже больше не прибегал ни к отрицанию, ни к позитивной аргументации, а усвоил позу смиренного вопрошателя. ... Я нашел этот метод самым безопасным для себя и очень стеснительным для тех, против кого я его применял; поэтому я извлекал из него большое наслаждение, непрерывно в нем практиковался и достиг большого искусства в умении добиваться даже от весьма умных людей таких допущений, последствий которых они предвидеть не могли; при этом они попадали в затруднительное положение, выбраться из которого были не в состоянии; подобным образом мне удалось одерживать такие победы, которых не заслуживал ни я, ни отстаиваемый мной тезис»¹⁰. Последнее замечание свидетельствует о том, что Франклин в своих произведениях не столько выражал собственные мысли, сколько ставил эксперимент над сознанием читателя, его представлениями о мире и о самом себе. Поэтому большая часть произведений Франклина написана от чужого имени – вымышленный посредник позволял ему лучше справляться с основной задачей, которая заключалась не в прямой передаче определенного набора сведений, а в создании необходимых условий (как в лаборатории естествоиспытателя) для неизбежного формирования в сознании читателя определенной точки зрения.

Франклин был убежден в действенности и широкой применимости подобного подхода к различным видам взаимоотношений с людьми. В его проекте учреждения высшего учебного заведения в Филадельфии особо подчеркивалось, что учебный процесс в первую очередь должен быть нацелен на формирование у студентов мотивации к учению: «Это был великий принцип, на котором основывался весь его план; учащиеся нужно учить лишь тому, чему они сами с нетерпением хотят научиться. Не должно быть логики, до тех пор пока они, ведя споры друг с другом, не почувствуют необходимость изучения этой науки. Занятиям по теоретической механике должны предшествовать рассказы о чудесных механизмах, используемых в искусстве, ремеслах и военном деле, которые бы пробудили у учеников желание узнать принципы их работы. А уроки красноречия должны сопровождаться историческими примерами свершения великих деяний благодаря ораторскому искусству выдающихся политиков»¹¹. «Франклин знал и был абсолютно уверен в том, что люди будут гораздо охотнее прислушиваться к здравым рассуждениям, если облечь их в занимательную форму»¹².

Самыми яркими примерами экспериментального юмора Франклина и словесного мастерства, сочетающего занимательность и поучительность, можно считать два рассказа, которые уже при жизни автора принесли ему мировую известность: «Речь Мисс Полли Бейкер» (*The speech of Miss Polly Baker, 1747*) и «Метод усмирения мятежных американских вассалов» (*A method of humbling rebellious American vassals, 1774*).

Рассказ «Речь Мисс Полли Бейкер» – пример грамотного, с точки зрения принципов словесного творчества Франклина, отстаивания более чем спорного тезиса. По его собственному признанию, он был написан исключительно ради развлечения в качестве своего рода упражнения по оттачиванию мастерства ведения полемики. Тем не менее, это произведение стоит у истоков очень важной для Америки традиции нонконформизма, в рассказе представлен сюжет, который впоследствии станет типичным для литературы США: маргинал противостоит социальной системе и представителям истеблишмента, пытающимся навязать ему совершенно чуждые природе и здравому смыслу законы и правила. При этом юмор ни в коей мере не выполняет корректирующей функции – симпатии автора целиком и полностью на стороне своего героя-отщепенца. Современники называли Полли Бейкер женским эквивалентом практичного Франклина, она тоже рассматривала сложные и деликатные вопросы морали исключительно с позиций здравого смысла. В глазах европейцев (а рассказ имел огромный успех, о нем с похвалой отзывались такие интеллектуальные кумиры того времени, как Дидро и Вольтер) героиня американского писателя была достойной подружкой женских персонажей Дефо и Ричардсона, представляя собой

жизнеутверждающее воплощение идей просветительской философии и литературы. В то же время исследователи истории американской литературы справедливо отводят ей место родоначальницы целого ряда образов сильных женщин, которые впоследствии так часто появляются в произведениях американской литературы, например в романах Готорна, Драйзера, Фолкнера¹³. Таким образом, рассказ Франклина можно считать одним из положительных примеров тех процессов, которые происходили на раннем этапе развития самобытной американской культуры – европейский материал переносился на американскую почву, осваивался и превращался в собственно американский, как по своему духу, так и по форме реализации.

Памфлет «Метод усмирения мятежных американских вассалов» был написан за два года до провозглашения независимости, в самый разгар острой политической борьбы между приверженцами власти английского короля и сторонниками создания самостоятельного государства. Образцом для американского автора послужило произведение Свифта, посвященное описанию сходной социально-политической обстановки в Ирландии, «Скромное предложение, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость своим родителям или своей родине, и, напротив, сделать их полезными для общества» (*A modest proposal for preventing the children of poor people from being a burthen to their parents, or the country, and for making them beneficial to the publick, 1729*)¹⁴. Как и любое сложное с технической стороны изделие, рассказ Франклина одновременно выполняет несколько функций. С одной стороны, он высмеивает и разоблачает политику Англии по отношению к населению своих заокеанских колоний. С другой стороны, автор обращается к жителям Америки и призывает их занять активную гражданскую позицию, присоединившись к борьбе за независимость. Однако, будучи практиком, убежденным в порочной природе человека, Франклин понимал, что наиболее действенной всегда бывает отрицательная мотивация – самый эффективный, а значит, и самый лучший с практической точки зрения способ заставить человека думать и действовать определенным образом – представить ему абсолютно неприемлемый, вызывающий активное неприятие вариант развития событий. Чем выше будет градус неприятия, несогласия и отторжения, тем более сильную реакцию он вызовет. Поэтому в легко прочитываемом подтексте рассказа Франклина отчетливо звучит мысль: если американский народ (большая часть которого в то время еще сохраняла свою лояльность власти английского короля) не найдет в себе сил отстоять свою свободу, то ему грозит превращение в покорное послушное стадо, с которым без труда сможет справиться отряд простых мясников и холостильщиков свиней.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Beers H. Brief History of English and American Literature. N. Y.: Eaton & Mains, 1897. P. 358.

² Цит. по: История литературы США. Литература колониального периода и эпохи Войны за независимость. XVII-XVIII вв. М.: Наследие, 1997. Т. 1. С. 344.

³ McMaster J. Benjamin Franklin. N. Y.: Chelsea House, 1980. P. 278.

⁴ Цит. по: Leary L. Benjamin Franklin // The comic imagination in American literature. New Brunswick, N. J.: Rutgers Univ. Press, 1973. P. 34.

⁵ Ibid.

⁶ Франклин В. Избранные произведения. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1956. С. 431.

⁷ Sappenfield J. A sweet instruction: Franklin's journalism as a literary apprenticeship. Carbondale, Ill.: Southern Illinois university press, 1973. P. 16.

⁸ Ibid. P. 182.

⁹ Ibid. P.8.

¹⁰ Франклин В. Избранные произведения. С. 430.

¹¹ McMaster J. Benjamin Franklin. P. 150, 151.

¹² Sappenfield J. A sweet instruction: Franklin's journalism as a literary apprenticeship. P. 172.

¹³ См.: Leary L. Benjamin Franklin. P. 42.

¹⁴ В произведении Свифта предлагалось использовать детей для приготовления мясных деликатесов, оздоровив таким образом нравственный климат и оживив экономику голодающей Ирландии. Именно «Скромное предложение» открывает «Антологию черного юмора», составленную французским сюрреалистом Андре Бретоном в 1936 г.

Речь Мисс Поли Бейкер,

произнесенная на заседании суда, состоявшемся в Коннектикуте в окрестностях города Бостон, Новая Англия, где ей уже в пятый раз предъявлялось обвинение в рождении ребенка вне брака, речь мисс Поли Бейкер, которая склонила суд к отмене наказания и вынесению решения о принудительной женитьбе на ней в течение следующего дня одного из судей.

Возможно досточтимому суду это и не понравится, но я позволю себе сказать несколько слов: я бедная несчастная женщина, у которой нет денег на адвокатов, чтобы они защищали меня в суде, я итак с большим трудом обеспечиваю свое существование. Я не буду докучать почтенным судьям длинными речами, ведь у меня нет никаких оснований ожидать, что вы можете каким бы то ни было образом позволить уговорить себя и в вашем решении хоть на малую толику отклониться от закона в мою пользу. Единственное, на что мне остается смиренно уповать, так это на милосердие многоуважаемого суда, которое сподвигнет его походатайствовать по поводу моего дела перед известным своим великодушным губернатором и испросить у него соизволения отменить этот штраф.

Уже в пятый раз, джентльмены, я предстаю перед вами в суде, и все пять раз по одной и той же причине. По этой причине мне дважды пришлось выплачивать очень обременительные для меня штрафы. Еще два раз меня подвергали публичному наказанию – у меня не оказалось денег для погашения еще двух столь непосильных для меня сумм штрафов, которые мне предписывалось уплатить. Может быть, это происходило в соответствии с законом, этого я не оспариваю. Но так как отдельные законы иногда оказываются неразумными, иначе бы их не отменяли, а другие допускают в отношении подданных жестокость, которая в определенных обстоятельствах становится чрезмерной, то всегда остается возможность ограничить их применение. Я беру на себя смелость утверждать, что тот самый закон, по которому я подвергаюсь наказанию, одновременно является и неразумным, и чрезмерно суровым, если применить его ко мне, женщине, которая за всю свою жизнь никого из окружающих не обидела, и я готова поспорить с любым моим недоброжелателем (если таковые найдутся), который осмелится сказать, что я хоть когда-нибудь причинила вред хотя бы одному мужчине, женщине или ребенку. Если оставить в стороне закон (хотя у уважаемого суда это может вызвать неудовольствие), то я не понимаю, в чем состоит мое преступление. Я с риском для моей жизни произвела на свет пятерых прекрасных детей, я содержала их в относительном достатке исключительно благодаря своему трудолюбию, не обременяя городские власти, и я бы справилась с этим еще лучше, если бы не тяжкие наказания и штрафы, которые мне пришлось выплачивать. Может ли быть преступлением (я имею в виду саму природу совершаемого деяния) увеличение количества подданных короля в новой стране, которая испытывает острую нехватку населения? Честно говоря, я убе-

ждена, что это достойно скорее похвалы, чем наказания. Я не соблазняла женатых мужчин, не совращала юношей, в этом меня никто никогда не обвинял, и ни у кого нет ни малейшего повода упрекнуть меня, за исключением разве что священника или судьи, которых я оставила без платы за регистрацию брака, потому что завела детей, не выходя замуж. Но разве моя в том вина? Я обращаюсь к вам, досточтимым судьям. Вам, конечно, легче предположить, что я просто очень глупая женщина, но я должна быть полной идиоткой, чтобы отказываться от почетного статуса женщины, вступившей в брак, и сознательно предпочесть то положение, в котором я сейчас нахожусь. Я всегда хотела и хочу до сих пор приобрести этот статус, и не сомневайтесь в том, что хорошо справлюсь с этой ролью, ведь я в полной мере обладаю всеми необходимыми качествами хорошей жены: трудолюбием, бережливостью, способностью производить потомство и навыками ведения домашнего хозяйства. Пусть кто-нибудь посмеет сказать, что я когда-нибудь отвергала предложения такого рода. Напротив, я с готовностью приняла одно такое предложение, которое мне было сделано в весьма юном возрасте, но слишком легко доверившись искренности человека, из уст которого прозвучало обещание жениться, я, к несчастью, потеряла свою девичью честь, столь неосмотрительно положившись на честное слово мужчины – после того, как я забеременела, он меня бросил. Вы все его прекрасно знаете, сейчас он стал мировым судьей нашего округа, и у меня была слабая надежда, что сегодня он появится в зале суда, чтобы постараться склонить суд в мою пользу. Тогда бы мне было стыдно даже упоминать об этом, но теперь я должна заявить о вопиющей несправедливости и нечестности – мой изменщик и губитель, первая и главная причина всех моих ошибок и неудач (если их считать таковыми), получает власть и почести из рук тех же самых властей, которые за эти ошибки и неудачи наказывают меня плетью и позором. Мне могут возразить, что, если бы даже мое дело не подпадало ни под один законодательный акт, то все равно, мои проступки являются грубым нарушением религиозных заповедей. Но если это религиозное преступление, то и наказывать за него нужно посредством религии. Вы уже лишили меня блага пребывания в вашей церковной общине. Разве этого недостаточно? Вы считаете, что я оскорбила небеса и обречена вечно гореть в адском пламени: разве этого не будет достаточно? Какая тогда нужда в дополнительных штрафах и порке? Признаюсь, я, в отличие от вас, никогда не считала грехом, то, что вы называете этим словом, иначе я просто была бы не способна сознательно его совершать. Да и как можно поверить в гнев небес при появлении на свет моих детей, ведь к малой толике того, что зависело от меня, бог счел нужным добавить свое божественное умение и восхитительное мастерство в создании их плоти и, в завершение своей работы, одарить их разумными и бессмертными душами. Простите меня, джентльмены, если мои слова звучат немного экстравагантно; я не теолог, но если вы, джентльмены, призваны издавать законы, то не превращайте вашими запретами естественные и полезные поступки в преступления. Лучше обратите ваш мудрый взор на большое и постоянно увеличивающееся число холостяков в нашей стране, многие из которых из-за мелочного страха перед большими расходами на содержание семьи ни-

когда не ухаживали за женщинами с чистыми и благородными намерениями и своим образом жизни оставили нерожденными (что ненамного лучше умышленного убийства) сотни своих потомков (если взглянуть на это с точки зрения тысячелетий). Это едва ли не более тяжкое преступление против общественного блага, чем мое! Тогда издайте закон, заставляющий их либо жениться, либо платить каждый год штраф в размере, в два раза превышающем штраф за прелюбодеяние. Что остается делать бедным молодым женщинам? Обычай запрещает им приставать к мужчинам, поэтому они не могут навязывать себя мужьям, а закон никак не заботится о том, чтобы обеспечить их ими, наоборот, закон жестоко наказывает женщину, если она вздумает без наличия супруга выполнять свой долг – долг самый первый и самый важный, налагаемый законами природы и ее творца, которые гласят: «плодитесь и размножайтесь». От неукоснительного выполнения этой заповеди меня ничто не может удержать, ради нее я принесла в жертву уважение общества и подвергалась позору и наказанию, и, если бы не моя скромность, то я бы по праву могла потребовать от вас не пороть меня прилюдно, а воздвигнуть статую в мою честь.

1747

Перевод А. Лаврентьева

Перевод выполнен по изданию: Franklin B. Writings. N. Y.: Literary Classics of the United States, 1987.

The Speech of Miss Polly Baker, before a Court of Judicature,

At Connecticut near Boston in New-England; where she was prosecuted the Fifth Time, for having a Bastard Child: Which influenced the Court to dispense with her Punishment, and induced one of her Judges to marry her the next Day.

May it please the Honourable Bench to indulge me in a few Words: I am a poor unhappy Woman, who have no Money to fee Lawyers to plead for me, being hard put to it to get a tolerable Living. I shall not trouble your Honours with long Speeches; for I have not the Presumption to expect, that you may, by any Means, be prevailed on to deviate in your Sentence from the Law, in my Favour. All I humbly hope is, That your Honours would charitably move the Governor's Goodness on my Behalf, that my Fine may be remitted. This is the Fifth Time, Gentlemen, that I have been dragg'd before your Court on the same Account; twice I have paid heavy Fines, and twice have been brought to Publick Punishment, for want of Money to pay those Fines. This may have been agreeable to the Laws, and I don't dispute it; but since Laws are sometimes unreasonable in themselves, and therefore repealed, and others bear too hard on the Subject in particular Circumstances; and therefore there is left a Power somewhat to dispense with the Execution of them; I take the Liberty to say, That I think this Law, by which I am punished, is both unreasonable in itself, and particularly severe with regard to me, who have always lived an inoffensive Life in the Neighbourhood where I was born, and defy my Enemies (if I have any) to say I ever wrong'd Man, Woman, or Child. Abstracted from the Law, I cannot conceive (may it please your Honours) what the Nature of my Offence is. I have brought Five fine Children into the World, at the Risque of my Life; I have maintain'd them well by my own Industry, without burthening the Township, and would have done it better, if it had not been for the heavy Charges and Fines I have paid. Can it be a Crime (in the Nature of Things I mean) to add to the Number of the King's Subjects, in a new Country that really wants People? I own it, I should think it a Praise-worthy, rather than a punishable Action. I have debauched no other Woman's Husband, nor enticed any Youth; these Things I never was charg'd with, nor has any one the least Cause of Complaint against me, unless, perhaps, the Minister, or Justice, because I have had Children without being married, by which they have missed a Wedding Fee. But, can ever this be a Fault of mine? I appeal to your Honours. You are pleased to allow I don't want Sense; but I must be stupified to the last Degree, not to prefer the Honourable State of Wedlock, to the Condition I have lived in. I always was, and still am willing to enter into it; and doubt not my behaving well in it, having all the Industry, Frugality, Fertility, and Skill in Oeconomy, appertaining to a good Wife's Character. I defy any Person to say, I ever refused an Offer of that Sort: On the contrary, I readily consented to the only Proposal of Marriage that ever was made me, which was when I was a Virgin; but too easily confiding in the Person's Sincerity that made it, I unhappily lost my own Honour, by trusting to his; for he got me with Child, and then forsook me: That very Person you all know; he is now become a Magistrate of this

Country; and I had Hopes he would have appeared this Day on the Bench, and have endeavoured to moderate the Court in my Favour; then I should have scorn'd to have mention'd it; but I must now complain of it, as unjust and unequal, That my Betrayer and Undoer, the first Cause of all my Faults and Miscarriages (if they must be deemed such) should be advanc'd to Honour and Power in the Government, that punishes my Misfortunes with Stripes and Infamy. I should be told, 'tis like, That were there no Act of Assembly in the Case, the Precepts of Religion are violated by my Transgressions. If mine, then, is a religious Offence, leave it to religious Punishments. You have already excluded me from the Comforts of your Church-Communion. Is not that sufficient? You believe I have offended Heaven, and must suffer eternal Fire: Will not that be sufficient? What Need is there, then, of your additional Fines and Whipping? I own, I do not think as you do; for, if I thought what you call a Sin, was really such, I could not presumptuously commit it. But, how can it be believed, that Heaven is angry at my having Children, when to the little done by me towards it, God has been pleased to add his Divine Skill and admirable Workmanship in the Formation of their Bodies, and crown'd it, by furnishing them with rational and immortal Souls. Forgive me, Gentlemen, if I talk a little extravagantly on these Matters; I am no Divine, but if you, Gentlemen, must be making Laws, do not turn natural and useful Actions into Crimes, by your Prohibitions. But take into your wise Consideration, the great and growing Number of Bachelors in the Country, many of whom from the mean Fear of the Expences of a Family, have never sincerely and honourably courted a Woman in their Lives; and by their Manner of Living, leave unproduced (which is little better than Murder) Hundreds of their Posterity to the Thousandth Generation. Is not this a greater Offence against the Publick Good, than mine? Compel them, then, by Law, either to Marriage, or to pay double the Fine of Fornication every Year. What must poor young Women do, whom Custom have forbid to solicit the Men, and who cannot force themselves upon Husbands, when the Laws take no Care to provide them any; and yet severely punish them if they do their Duty without them; the Duty of the first and great Command of Nature, and of Nature's God, *Encrease and Multiply*. A Duty, from the steady Performance of which, nothing has been able to deter me; but for its Sake, I have hazarded the Loss of the Publick Esteem, and have frequently endured Publick Disgrace and Punishment; and therefore ought, in my humble Opinion, instead of a Whipping, to have a Statue erected to my Memory.

1747

Публикуется по: Franklin B. Writings – N. Y.: Literary Classics of the United States, 1987.

Questions

1. What is the historical setting of the story? Where does Miss Baker make her speech?

2. How many times was she prosecuted?
3. What was she accused of?
4. What kinds of punishment did she have to go through?
5. Who is to blame for all her misfortunes, as she explains to the members of the Court?
6. What problem was Miss Baker concerned with? Who, in her opinion, committed a more serious crime?

Discussion points

- Speak about the nature of irony and humor in the story. What is the most absurd remark among those said by Miss Baker? Is it exaggerated beyond the limits of normal satire and irony?
- What American values are discussed in the story? Give as many examples as possible.
- Why, do you think, was this particular genre chosen by the author? Does it have all the features of a speech? What linking devices are employed? How does this genre help to create a special atmosphere of humor and satire? What types of addressing the audience does the protagonist use?

Translation exercises

1. How are the archaic language peculiarities of the text in the original rendered in translation?
2. How are the genre specific features expressed in the text of the original? How are they reproduced in the text of the translation?
3. What syntactical patterns may seem difficult for the translator? What adequate methods of translation were employed by the translator of this story? How are various forms of address translated into Russian? How are the forms of parenthesis rendered in translation?

Метод усмирения мятежных американских вассалов

Издателю «Паблик Адвертайзер»

Сэр,

позвольте мне через Вашу газету передать господину премьер-министру с тем, чтобы впоследствии он сообщил своим наемникам, то есть нашим законодателям, мое личное мнение, которое одновременно выражает мнение многих моих собратьев свободных землевладельцев этого великого королевства, по поводу наиболее осуществимого в нынешних обстоятельствах метода усмирения наших мятежных вассалов в Северной Америке. Как мы уже не раз утверждали устами своих представителей в парламенте – мы верховные властители их личности и собственности, однако отдаленность наших территорий, которые они занимают без должного контроля с нашей стороны, кроме дополнительных расходов, приводит еще и к распространению среди населения мятежных настроений, что может уже не более чем через одно столетие, если этого не предотвратить, склонить его к полному отрицанию нашей власти. Они выташат свои шеи из наших хомутов и освободятся от положения рабов, предоставленных в полное распоряжение своих хозяев. В особенности, если учесть, что они слишком здоровый и крепкий народ, у них принято заключать ранние браки и их женщины удивительно плодовиты. Это означает, что в течение следующих ста лет они станут очень многочисленными и, конечно же, будут в состоянии выйти из повиновения. Для того чтобы эффективно с этим бороться, а мы, несомненно, имеем на это право, всего лишь предлагается, и мы думаем, что это станет одним из наказов нашим представителям в парламенте, написать и в самом скорейшем времени принять закон, на основании которого должен быть незамедлительно составлен и передан приказ ген. Г***, главнокомандующему нашими войсками в Северной Америке, согласно которому все мужские особи, проживающие на территории наших колоний, должны быть к...стр...р...в...ны. Он может пройти маршем через несколько городов Северной Америки, возглавляя армию из пяти батальонов, этих сил, как мы слышали от опытных генералов, с которыми были проведены предварительные консультации, будет достаточно для покорения Америки в случае открытого бунта; ибо кто может противостоять отважным сынам Британии, вселявшим ужас во Францию и Испанию, и завоевателям Америки, по сходной цене закупленным в Германии. В состав этой армии необходимо включить роту холостильщиков свиней численностью около ста человек. По прибытии в город или деревню, согласно заранее отданным приказам, все лица мужского пола по сигналу трубы должны быть собраны на рыночной площади. Если холостильщики окажутся настоящими мастерами своего дела, то они будут быстро справляться со своей работой и лишь незначительно замедлят продвижение армии. В законе должен быть отдельный пункт, позволяющий по усмотрению генерала, а его полномочия должны быть весьма широкими, в от-

ношении самых отъявленных негодяев, таких как Хэнкок, Адамс & Со., которые являются зачинщиками мятежей наших слуг, проводить данную процедуру с особой тщательностью. Кроме того, чтобы в городе Бостоне ни один из бунтовщиков не избежал этой операции, лучше подвергнуть ей все мужское население без исключения, что вполне соответствовало бы современному принципу, которого столь неукоснительно придерживаются наши уважаемые законодатели: лучше пусть десять невинных пострадают, чем один виновный останется безнаказанным. Правда, прольется кровь, но сколько жизней нам удастся спасти. Кровопускание до определенной степени даже полезно для здоровья. Англичане, чья гуманность признана всем миром, но в особенности ими самими, не желают смерти правонарушителей, а желают их исправления. Польза применения данного метода очевидна. Через пятьдесят лет у нас, скорее всего, уже не будет ни одного мятежного подданного в Северной Америке. Мысли о восстании будут вырваны с корнем и изгладятся из сознания населения. В то же время управляющими оперой будут сэкономлены значительные средства, наши знать и дворянство наслаются отменными голосами наших собственных кастратов, купленных по значительно более приемлемым ценам, и деньги, которые сейчас ежегодно в большом количестве уходят в Италию, будут оставаться в пределах королевства. Это может оказаться полезным для нашей торговли в Средиземноморье, так как мы смогли бы снабжать сераль великого султана и гаремы турецких пашей партиями евнухов, а также красивых женщин, которыми Америка славится не меньше Черкессии. Я мог бы перечислить многие другие выгоды этого проекта. Упомяну лишь об одном: он положит конец эмиграции из нашей страны, которая сейчас становится угрожающе популярной.

Без сомнения, Вы сочтете целесообразным как можно быстрее обсудить этот полезный проект, так как нельзя терять времени и необходимо немедленно приступить к его реализации.

Желаю всего хорошего, мистер издатель,
(от собственного имени, а также по поручению группы
свободных землевладельцев Великобритании)
Ваш покорный слуга,
фригольдер Старого Сарума.

1774

Перевод А. Лаврентьева

Перевод выполнен по изданию: Franklin B. Writings. N. Y.: Literary Classics of the United States, 1987.

A Method of Humbling Rebellious American Vassals

To the Printer of the *Public Advertiser*.

Sir,

Permit me, thro' the Channel of your Paper, to convey to the Premier, by him to be laid before his Mercenaries, our Constituents, my own Opinion, and that of many of my Brethren, Freeholders of this imperial Kingdom of the most feasible Method of humbling our rebellious Vassals of North America. As we have declared by our Representatives that we are the supreme Lords of their Persons and Property, and their occupying our Territory at such a remote Distance without a proper Controul from us, except at a very great Expence, encourages a mutinous Disposition, and may, if not timely prevented, dispose them in perhaps less than a Century to deny our Authority, slip their Necks out of the Collar, and from being Slaves set up for Masters, more especially when it is considered that they are a robust, hardy People, encourage early Marriages, and their Women being amazingly prolific, they must of consequence in 100 Years be very numerous, and of course be able to set us at Defiance. Effectually to prevent which, as we have an undoubted Right to do, it is humbly proposed, and we do hereby give it as Part of our Instructions to our Representatives, that a Bill be brought in and passed, and Orders immediately transmitted to G——l G——e, our Commander in Chief in North America, in consequence of it, that all the Males there be c—st—ed. He may make a Progress thro' the several Towns of North America at the Head of five Battalions, which we hear our experienced Generals, who have been consulted, think sufficient to subdue America if they were in open Rebellion; for who can resist the intrepid Sons of Britain, the Terror of France and Spain, and the Conquerors of America in Germany. Let a Company of Sow-gelders, consisting of 100 Men, accompany the Army. On their Arrival at any Town or Village, let Orders be given that on the blowing of the Horn all the Males be assembled in the Market Place. If the Corps are Men of Skill and Ability in their Profession, they will make great Dispatch, and retard but very little the Progress of the Army. There may be a Clause in the Bill to be left at the Discretion of the General, whose Powers ought to be very extensive, that the most notorious Offenders, such as Hancock, Adams, &c. who have been the Ringleaders in the Rebellion of our Servants, should be shaved quite close. But that none of the Offenders may escape in the Town of Boston, let all the Males there suffer the latter Operation, as it will be conformable to the modern Maxim that is now generally adopted by our worthy Constituents, that it is better that ten innocent Persons should suffer than that one guilty should escape. It is true, Blood will be shed, but probably not many Lives lost. Bleeding to a certain Degree is salutary. The English, whose Humanity is celebrated by all the World, but particularly by themselves, do not desire the Death of the Delinquent, but his Reformation. The Advan-

tages arising from this Scheme being carried into Execution are obvious. In the Course of fifty Years it is probable we shall not have one rebellious Subject in North America. This will be laying the Axe to the Root of the Tree. In the mean time a considerable Expence may be saved to the Managers of the Opera, and our Nobility and Gentry be entertained at a cheaper Rate by the fine Voices of our own C—st—i, and the Specie remain in the Kingdom, which now, to an enormous Amount, is carried every Year to Italy. It might likewise be of Service to our Levant Trade, as we could supply the Grand Signor's Seraglio, and the Harams of the Grandees of the Turkish Dominions with Cargos of Eunuchs, as also with handsome Women, for which America is as famous as Circassia. I could enumerate many other Advantages. I shall mention but one: It would effectually put a Stop to the Emigrations from this Country now grown so very fashionable.

No Doubt you will esteem it expedient that this useful Project shall have an early Insertion, that no Time may be lost in carrying it into Execution.

I am, Mr. Printer,

(For myself, and in Behalf of a Number
of independent Freeholders of Great Britain)

Your humble Servant,

A Freeholder of Old Sarum.

1774

Публикуется по: Franklin B. Writings. N. Y.: Literary Classics of the United States, 1987.

Questions

1. What is the historical setting of the story? What historical events make its background?
2. Who do you think is the narrator of the story?
3. Who is this story addressed to?
4. How can you define the genre of this work of writing?
5. What is the reason of writing this letter to the Printer of the *Public Advisor*?
6. What kind of a bill is recommended to be adopted by the author of the letter?

Discussion points

- Speak about the nature of irony and humor in the story. In what way can we consider it black humor? What is the most absurd idea? Is it exaggerated beyond the limits of normal satire and irony?

- How are American people depicted in the text of the story? Give as many details as possible.
- Why, do you think, this particular genre was chosen by the author? Does it help to create the idea of objectivity, as it is addressed to a newspaper and tend to seem true to life?

Translation exercises

1. How are the archaic language peculiarities of the text in the original rendered in translation?
2. How is the idea of the project expressed in the text of the original? How is it reproduced in the text of the translation?
3. What syntactical patterns may seem difficult for the translator? What adequate methods of translation were employed by the translator of this story?

Глава 2

Белая магия «черного юмора»: литературные штампы в прозе В. Ирвинга и Р. Ньюэлла

Летом 1815 года, сразу после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо начинающий свою писательскую карьеру Вашингтон Ирвинг (Washington Irving, 1783-1859) отправился в растерзанную многочисленными войнами Европу. Именно во время своего пребывания за пределами родной страны, которое длилось семнадцать лет, он достиг вершины своего творчества и завоевал заслуженную славу первого американского романтика. Путешествие по Старому Свету позволило Ирвингу не только познакомиться с его неисчерпаемыми культурными богатствами, но и более четко сформулировать свои мировоззренческие принципы, относящиеся как к сфере искусства, так и к политическим убеждениям. Одной из иллюстраций, свидетельствующих о взаимосвязи в творчестве писателя, который был назван в честь первого президента США, политики и эстетики можно считать новеллу «Случай с немецким студентом» (Adventure of the German student). Произведение, включенное в цикл «Рассказы путешественника» (Tales of a traveller, 1824), представляет собой описание эпизода времен революционного якобинского террора в форме пародии на очень популярный в начале XIX века жанр готического романа.

Объяснение причин этого необычного сочетания реальных ужасов эпохи грандиозных социальных потрясений и колоссальных человеческих жертв с забавной карикатурой на традицию германского мистицизма можно найти в эпизоде, который приведен в биографии Ирвинга. В беседе с легендарным актером французского театра Тальма (у которого, по слухам, брал уроки сам Бонапарт) поясняется основное отличие послереволюционного театра от театра предшествующего периода: «Время классической драмы, возвышенной декламации и утонченной словесности ушло навсегда; революция научила публику требовать от театра реальной жизни...»¹. Социально-психологический шок, вызванный резкими изменениями в обществе, формирует у его представителей настоятельную потребность в очищении своего сознания от устаревших, утративших связь с действительностью, фальшивых и надуманных представлений о мире. С точки зрения американских писателей, лучшим способом решения этой задачи может быть только смех. Именно поэтому проникнутые юмором рассказы и эссе Вашингтона Ирвинга нашли такой живой отклик у европейских читателей: «Секрет высокой популярности Ирвинга в Англии объясняется его способностью использовать разнообразные литературные формы, например его «Книга эскизов» – это мозаика стилей, в которой можно найти и сентиментальность, и до-

бродушие, и бурлеск, и готику. Но не менее важной была его способность в условиях тревожной наполеоновской эпохи, воспроизводя картины насилия и смерти, не скатываться до примитивной мизантропии»².

Звездный час американского юмора в XIX столетии приходится на период Гражданской войны между Севером и Югом: время правления самого остроумного президента в истории этой страны, отмеченное острейшим социально-политическим кризисом и самым кровопролитным военным конфликтом на территории североамериканского континента, оказалось как нельзя более благоприятным для развития именно этого жанра литературы. Война, испытывавшая на прочность единство нации, стала необходимым историческим фоном, на котором сформировалась особая традиция, во многом предопределившая дальнейшие перспективы развития всей литературы США во второй половине XIX века.

Среди самых популярных писателей-сатириков того времени выделяются фигуры Чарльза Брауна (Charles Farrar Browne, 1834-1867), писавшего под псевдонимом «Артемус Уорд», Дэвида Локка (David Ross Locke, 1833-1888) – псевдоним «Петролеум Нейсби» и Роберта Ньюэлла (Robert Henry Newell, 1836-1901), публиковавшего свой сатирический цикл от имени Орфеуса Керра.

«Письма Орфеуса Керра» – серия публикаций в нью-йоркской газете «Санди Меркюри», редактором которой был Ньюэлл, выходили в 1862-1868 годах и рассказывали о приключениях одного из подразделений юнионистской армии. Это героикомическое произведение, написанное в духе «Истории Нью-Йорка» Вашингтона Ирвинга, выполняло функцию сатирического комментария истории Гражданской войны. Одним из его горячих почитателей был Авраам Линкольн, с удовольствием читавший очередные выпуски газеты в перерывах между принятием ответственных политических решений. Как и Ирвинг, Ньюэлл считал нужным изложить трагические исторические события в юмористическом ключе, а в одно из писем, выпущенном в 1862 году, который оказался крайне неудачным для федеральных войск, он включил пародию на популярный женский роман английской писательницы Шарлоты Бронте, тем самым соединив злободневную политическую проблематику со сферой литературного творчества.

Исследователи отмечают изменение эмоциональной окраски американского юмора во время Гражданской войны: «Можно безошибочно определить наличие повышенной агрессивности в отношении к идеологическим и личным противникам, которая встречается на всех уровнях и во всех региональных вариантах юмора этого периода. <...> Жестокость становится открытой, проявления садизма все более откровенными, а гротескное насилие и вызывающие ужас поступки все более распространенными»³. «Этот юмор включал в

себя безрадостное понимание происходящего, разочарование, пессимизм, циничную аморальность, комический скептицизм и враждебную критику»⁴.

Подобные изменения объясняются тем, что переломные моменты в истории, как правило, сопровождаются обостренной идеологической борьбой и крайне тенденциозным информационным потоком. В то же время именно в такие моменты обычный человек, как никогда остро ощущающий сопричастность судьбе своей страны, испытывает настоятельную потребность в получении максимально правдивой, объективной и беспристрастной информации. Построение максимально полного представления об истине невозможно без освобождения от устаревших догм и предубеждений. Комические художественные образы представляют модель разоблачения искажений действительности, формируя в общественном сознании критическое восприятие любых идеологически окрашенных текстов. Как признавался Ирвинг, юмор не позволил ему стать жертвой излишнего политического энтузиазма, который бы мог серьезно повредить его литературной карьере. На это отрезвляющее воздействие юмора в угаре идеологической борьбы указывают и исследователи истории американского юмора: «Так необходимость сохранения союза, наряду с утратой заботливо сохраняемых иллюзий, позволила победоносным демонам, несущим слово правды, вступить на порог нашего сознания»⁵. «Творческий порыв юмористов был направлен на исправление нашего приукрашивающего реальность самообмана»⁶. Самым адекватным ответом на социально-политическую активность читателей могли быть юмор и сатира: «...Юмор был самой осязаемой и проникновенной формой выражения социально-психологического шока, который испытал американский народ во время Гражданской войны. В такие времена юмор открывает перспективы не укладывающегося в общепринятые рамки противоречивого подхода к самому широкому спектру тем и сюжетов, с которыми не могут сравниться другие более уравновешенные виды творчества. Вольно или невольно, но сатирики времен Гражданской войны воспользовались выпавшей на их долю удачей и вырвались за пределы разного рода социо-культурных норм...»⁷.

Повышенное внимание к различным формам искажения действительности и переосмысление сложившихся норм и правил не могло не оказать своего влияния на отношение писателей к содержанию собственной деятельности. Ирвинг и Ньюэлл были профессиональными писателями. Ирвинга называют первым американцем, который зарабатывал на жизнь исключительно литературным трудом (в отличие, например, от своего современника Купера, непрофессионализм которого стал позднее мишенью для Марка Твена в очерках «Литературные грехи Фенимора Купера»). Российский исследователь Ю. В. Ковалев дает следующую характеристику американскому романтику: «Ирвинг был профессионалом в высоком и благородном смысле этого слова, человеком деятель-

ным, энергичным и трудолюбивым. Ирвингу неоднократно предлагали занять государственные посты, в том числе пост мэра Нью-Йорка и депутатское кресло в конгрессе. Но он предпочел тяжкий труд писателя (по восемь часов за письменным столом)...»⁸. Описывая творческое становление Ирвинга, литературовед выделяет два этапа в его литературной карьере: ранний Ирвинг – это «просветитель, федералист, джентльмен, для которого литература была всего лишь развлечением», позднее «на его место пришел Ирвинг – романтик, демократ, профессиональный писатель, оригинальный и самобытный...»⁹. Группу писателей-сатириков времен Гражданской войны, в которую входили Чарльз Браун, Дэвид Локк и Роберт Ньюэлл, принято обозначать как «литературные комедианты» (*literary comedians*) или литераторы-острословы (*literary wits*), используя определения, в которых особо подчеркивается их словесное мастерство. Все они были журналистами, и так же как для Ирвинга, литература для них была в первую очередь серьезной работой.

Профессиональный подход, несомненно, обуславливал их отношение к произведениям собратьев по цеху, для которых сочинение романов (главным образом романов, а не коротких рассказов, благодаря своему объему они отнимают больше свободного времени) было лишь способом скрасить свой досуг. С точки зрения серьезных авторов, главный недостаток массовой литературы, написанной дилетантами для отдыха и развлечения, состоит в злоупотреблении уже готовыми, многократно использованными приемами решения художественных задач. Она неинтересна профессионалам в силу ее выхолощенности и паразитирования на теле мировой литературы. В рассказе Ирвинга «Искусство книгописания» раскрывается тайна «плодовитости писателей вообще, а также тот факт, что слишком многие, самой Природой приговоренные к бесплодию, разрождаются неисчислимым количеством печатных листов». В этом произведении посетителю библиотеки Британского музея повстречались «странные личности», которые черпали в «колоссальном собрании изданий всех эпох на всех языках классические познания для пополнения скудных ручейков собственной мысли», «выискивали готические манускрипты, поеденные более всего книжным червем» и «пережевывали иссохшие знания». Впрочем, чужак был быстро изгнан из этого секретного помещения, потому что он не смог удержаться от смеха, глядя на те нелепости, которые кроют компиляторы и плагиаторы из идей, снятых с чужого плеча. «Взрыв непочтительного хохота, от века неслыханный в сем угрюмом святилище», настроил против него всех горе-литераторов, и он «ретировался, покуда на него не спустили свору писателей»¹⁰.

У читателя эта второсортная литература пользуется неизменным успехом благодаря своей тиражируемости: высокий уровень стандартизованности процесса производства обеспечивает необходимый объем текстов, которые приуча-

ют читателя сравнивать их друг с другом, а не с реальным жизненным опытом. Создавая суррогатную реальность, замкнутую в самой себе, авторы популярной литературы подменяют неисчерпаемость живого творческого процесса высоко рационализированной операцией клонирования контрольных образцов. Чтобы на равных бороться за читательскую аудиторию литераторам-профессионалам было необходимо обращаться к другим видам литературного творчества, которые бы также могли претендовать на массовость, но не ценой полного отказа от оригинальности. Единственной альтернативой «сахарной пище, которой потчевали публику дамские журналы и популярные любовные романы» становился юмор¹¹. Парадоксальным образом серьезная литература могла найти своего читателя только в том случае, когда она облекалась в форму, вызывающую смех.

Потребность в произведениях, вычерченных по одному трафарету, особенно высока в периоды относительно спокойной, рутинной и упорядоченной жизни. В периоды социальной нестабильности, мировоззренческих конфликтов и смены идеологий, когда особенно заметными становятся зияющие провалы между привычными представлениями о мире и реальным жизненным опытом, они дезориентируют человека, навязывают ему ошибочные и зачастую губительные стереотипы мышления (как это происходит с героем Ирвинга в новелле «Случай с немецким студентом»). В результате, борьба с низкопробной литературной продукцией, которую ведут профессиональные писатели под знаменем сатиры и юмора, начинает приобретать социально-политический смысл. Как утверждает американский ученый Д. Бир, для авторов времен Гражданской войны «литературные штампы были не просто атрибутами истощенного стиля, они были формами ханжества»¹². Целью их сатиры был не стиль отдельного автора, а стиль мышления предшествующей эпохи. «Тогда господствовал враждебный настрой по отношению к лицемерию и искажению действительности, ко всем видам лжи. На уровне стиля они развенчивали напыщенность выражений, загадочность, манерность, использование штампов и умозрительных конструкций. Эти комедианты вступили в противостояние со сложившейся системой ценностей и образом мысли, проявляя большую изобретательность в использовании различных способов их комического разрушения»¹³.

Таким же было отношение Ирвинга к уже успевшим обветшать от слишком частого употребления традициям европейского романтизма. Критики свидетельствуют, что именно стремление к их критическому переосмыслению позволило американскому писателю стать родоначальником американской литературы. «Если у многих европейских современников Ирвинга легенды и предания совсем вытесняли живую жизнь, то Ирвинг всегда сохранял трезвость взгляда и самые неправдоподобные происшествия получали у него в итоге простое, вполне житейское объяснение. Он переступал при этом через незыблемые правила,

по которым в те времена писались повести и романы. Он разрушал атмосферу сказочного, нереального, неземного, к созданию которой как раз должен был направлять все свои усилия писатель-романтик. Но американская практическая жилка, жизнелюбие и неистребимое чувство юмора пересилили у Ирвинга уважение к правилам романтической эстетики. А в конечном итоге выявилось, что как раз смелость, с какой он нарушал каноны, и придала его новеллам настоящую самобытность»¹⁴.

Сугубо профессиональная полемика, которую вели требовательные литераторы со своими излишне плодовитыми коллегами, неизбежно приобретала форму, образующую неразрывное единство смерти и юмора. Разоблачение мертворожденных произведений, заполненных нарочито сконструированными, искусственными персонажами и надуманными поворотами сюжета должно осуществляться по двум направлениям. Во-первых, путем демонстрации безжизненности, а точнее, нежизнеспособности и бесплодия устаревших творческих приемов, раскрытия их противоестественности. Поэтому в рассказе Ирвинга центральным элементом сюжета становится образ мертвой женщины, выступающей в роли символа утратившей связи с живой реальностью воображаемой красоты. Тема смерти закономерно сочетается с пафосом уничтожения фальшивых условностей. Во-вторых, автору, выносящему приговор в отношении работы своего коллеги, нужно показать наглядные примеры ее полного несоответствия действительности, нелепости и противоречия здравому смыслу. Лучший способ решения этой задачи – создание гротескных образов. Таким образом, процесс демонтажа антиэстетических словесных конструкций в американской литературе неизбежно приобретал черты «черного юмора».

В первой половине XIX столетия самым благодатным материалом для комической критики была так называемая готическая литература. Она возникла в Англии в конце XVIII века в рамках предромантизма. Этим термином было принято обозначать произведения, повествующие о сверхъестественных ужасах, таинственных происшествиях, фантастических и мистических событиях. Местом действия готического романа, как правило, выбирался старинный готический замок (отсюда название жанра), монастырь или старинный дом, главными действующими лицами становились юная добродетельная девушка и демонический злодей, наделенный сильной волей и обуреваемый безумными страстями. Родоначальниками и лучшими представителями этого жанра считаются Х. Уолпол (роман «Замок Отранто», 1765) А. Радклиф («Удольфские тайны», 1794; и «Итальянец», 1797) и Ч. Мэтьюрин («Мельмот-скиталец», 1820). Однако вслед за появлением лучших образцов, имевших огромный читательский успех («в период с 1765 по 1850 год готический роман был наиболее читаемой книгопечатной продукцией как в Англии, так и в Европе»¹⁵) последовало тира-

жирование творческих приемов и быстрое художественное измельчение произведений, создаваемых в рамках этого направления. «Готические сказания – как английские, так и немецкие – стали появляться во множестве и не отличались оригинальностью. ...Школа приближалась к границе абсурда...»¹⁶.

Сложившаяся мода на все страшное и таинственное поставила производство приятного для массового читателя ощущения прирученного ужаса на поток, превратив готическую литературу в своеобразную художественную и социологическую предшественницу детективного жанра: «На рубеже XVIII-XIX веков вышли в свет десятки второсортных и бьющих на эффект готических историй, по большей части анонимных и изданных в виде дешевых брошюр»¹⁷. У серьезных критиков и просвещенных читателей готическая литература стала синонимом вульгарной литературы, но издатели охотно публиковали такого рода произведения, вполне справедливо рассчитывая на коммерческий успех. Показательным в этом отношении примером может служить роман Ш. Бронте «Джейн Эйр» (1847). Отвечая на письмо одного из критиков, обвинявшего писательницу в излишнем «мелодраматизме», который наносит ущерб художественным достоинствам этой замечательной книги, Бронте писала, что предыдущее ее произведение было отвергнуто издателем именно потому, что серьезное и достоверное произведение «он не считает возможным опубликовать, так как вряд ли оно окупится»¹⁸.

Пародии Ирвинга и Ньюэлла построены на раскрытии художественных изъянов готической литературы, которые, с одной стороны, являются общими для большинства видов массовой литературы. В то же время американские писатели постарались указать своим соотечественникам на ряд специфических черт этого жанра, которые оказываются абсолютно несовместимыми с основными чертами американского характера.

Как утверждает один из исследователей популярной литературы, для привлечения внимания читателя в ней чаще всего используются три приема: нагнетание атмосферы неопределенности, которая разрешается в конце произведения (suspense); непосредственная идентификация читателя с персонажем; создание видоизмененного, воображаемого мира, временно отменяющего действие суровых законов реальности¹⁹. Во многом именно благодаря этим средствам приключенческий роман, детектив или триллер способны выполнять развлекательную функцию, так как они позволяют читателю отвлечься от окружающей его действительности.

Ирвинг и Ньюэлл демонстрируют механизм действия этих приемов, раскрывая своей аудитории секрет показываемого ей литературного «фокуса». Финальная часть рассказа Ирвинга ставит читателя в тупик: она разрушает запущенный предшествующим повествованием процесс отождествления эмоций чи-

тателя с чувствами и переживаниями персонажа, и то, что с первой страницы принималось за чистую монету, вполне могло оказаться бредом сумасшедшего. Пародия на роман «Джейн Эйр», представленная в письме Орфеуса Керра, является карикатурным воспроизведением основного эмоционально-психологического противоречия, присущего женским романам: они рассчитаны на читателя, находящегося в спокойной, комфортабельной обстановке, у которого вызывают большой интерес крайние проявления чувств – страстной любви или безумной жестокости. Отсюда поразительное несоответствие, которое наблюдается в женских любовных романах, – экстремальное содержание (сцены опасных приключений, проявлений жестокости и насилия) для удобства потребителя помещается в стандартную художественную форму, соответствие которой общепринятым схемам и условностям обеспечивает стабильный читательский спрос. Расфасованные и разложенные по полочкам страдания и тревоги неизменно встречают самый живой отклик у платежеспособной части женской аудитории.

Характеризуя роль, которую сыграл Ирвинг в развитии американской словесности, традиционно указывают на тот факт, что ему удавалось использовать заимствованные сюжеты и образы, чаще всего из европейского фольклора, придавая им самобытное, отчетливо американское звучание. «Где бы он ни находился и о чем бы он ни писал, он всегда оставался национальным американским писателем. Именно этим обусловлено неповторимое своеобразие его «европейских» сочинений. Он воспринимал и оценивал европейскую жизнь, историю, культуру, национальные обряды и традиции, общественные установления и народные предания с чисто американской точки зрения, непривычной и неожиданной для европейцев. Отсюда новые возможности эстетического осмысления европейской действительности, найденные Ирвингом. Здесь же и истоки своеобразного юмора, пленявшего многочисленных читателей в странах Старого Света»²⁰. Сходной американизации подвергся и жанр готической литературы: «Полностью отдавая себе отчет в том, что классическая готика вряд ли выживет после пересадки на американскую почву, Ирвинг, чутко улавливавший разницу восприятия литературы в странах Нового и Старого Света, постарался ее видоизменить, придать больше блеска самым мрачным ее сторонам – чтобы привести в соответствие с дерзким оптимизмом молодой американской культуры – и обуздать ее неумную разрушительную энергию. В результате решения этой задачи появилась так называемая «шутливая» готика, то есть готика, смягченная юмором»²¹.

С американской точки зрения неприемлемость жанра готической литературы, в том числе, определялась крайне недемократичными отношениями, которые устанавливались между типом повествования, автором и читателем. Вся система художественных приемов, выработанная мастерами литературы ужаса,

была нацелена на воспитание определенных чувств, которое зачастую превращалось в своего рода психологическое принуждение читателя. Законы этого жанра, который наряду с сентиментализмом был симптомом кризиса эпохи Просвещения, предполагают резкое нарушение баланса между чувствами и разумом в пользу первых. В трактате английского мыслителя Эдмунда Берка «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (*A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful*, 1757), который послужил теоретической базой для готической литературы, описывается воздействие на сознание человека сильных эмоций и переживаний: «Чувство, которое вызывает в нас величие и возвышенность природы, властно завладевает нами и называется изумление (*astonishment*); и изумление есть такое состояние нашей души, в котором все её движения замирают в предчувствии ужаса (*horror*). Ни одно из чувств не может лишить наш мозг рассудочности и способности к действию в такой степени, в какой способен это сделать страх (*fear*)»²². То есть культ страха и ужаса препятствует формированию способности к самостоятельному мышлению и активным действиям. Как свидетельствовал один из редакторов журнала, специализирующегося на публикациях готических произведений: «...Ничто не воздействует столь сильно на человека, как готика... Даже самый невосприимчивый мозг, рассудок, свободный от каких бы то ни было следов суеверия, произвольно признает ее власть и силу»²³.

Перенасыщенность деталями, имеющими мрачную эмоциональную окраску, конструирование обособленного от обыденной реальности пространства, в котором властвуют сверхъестественные силы, описание нечеловеческих страданий в произведении готической прозы подавляют разум читателя, приводят к беспрекословному подчинению его эмоционально-эстетической сферы сознания рассказчику и лишению способности выносить самостоятельные и независимые суждения. С точки зрения американского практицизма подобное сумеречное существование под своеобразным гнетом литературной тирании – это удел людей, исключенных из активной общественно-политической жизни. В рассказе Ирвинга немецкий студент, живущий в революционном Париже, остается в стороне от бурных событий своего времени, предпочитая им замшелые библиотечные фолианты. Неадекватность его мышления, кроме всего прочего, подчеркивается еще и тем, что он не замечает реальных ужасов революционного террора, которые по своему эмоциональному накалу значительно превосходили любой вымысел. В классических образцах готической литературы главными героями становились представители аристократии и духовенства – сословий, вышвырнутых в XVIII столетии на обочину истории. Для этого достаточно сравнить изменения в имущественном и социальном положении

Джейн Эйр и Рочестера в романе Ш. Бронте, которые происходят по мере развития сюжета. В Америке, ввиду отсутствия вырождающегося дворянства, место наследников родовых проклятий с замысловатыми генеалогиями заняли узники собственных интеллектуальных стереотипов, заточенные в темницах неприступных воздушных замков.

Демократический тип общественного устройства, предполагающий активное участие каждого гражданина в принятии важнейших политических решений, требует прямо противоположных стили мышления и форм поведения. Один из американских исследователей назвал это «рациональной верой» (rational belief). «Чтобы выжить американцы должны научиться сомневаться, путем постоянного изучения работы столь ненадежных механизмов человеческого легковерия распознавать двуличие, обман, фанатизм и слепую приверженность ложным идеям. Фактически “рациональная вера” – это тип критического мышления, заставляющий с подозрением относиться к фанатикам, развивающий способность различать факты и домыслы и постоянно анализирующий результаты собственной интеллектуальной деятельности»²⁴. Примерами средств воспитания этой «рациональной веры» можно считать произведения Ирвинга и Ньюэлла.

Структурообразующим элементом повествования в рассказе Ирвинга и письме Орфеуса Керра служит проблематизация фикциональности, то есть искусственности художественного текста, которая раскрывается с помощью двух приемов: рамочной конструкции (рассказ в рассказе) и выведения повествователя в художественное пространство самого произведения. Данные приемы часто использовались авторами готических романов, но в их произведениях эти вспомогательные элементы повествования лишь дополняли основное содержание романа, выполняя функцию дополнительной стены (или камеры предварительного заключения), отделяющей мрачный мир готического замка от обыденной реальности: найденная рукопись была необходимой промежуточной ступенью для погружения читателя в мир сверхъестественного. В пародиях Ирвинга и Керра они, наоборот, противопоставлены описаниям трагических и мелодраматических событий, что позволяет вывести сцены ужаса, страха и сильных эмоциональных потрясений в иное семантическое поле, и читатель получает возможность многовариантного прочтения текста. Например, история о немецком студенте является частью цикла «Рассказы путешественника», вымышленным автором которых был персонаж по имени Джеффри Крэйон. Джеффри Крэйон услышал об этом необыкновенном происшествии от некоего «нервного джентльмена», который в свою очередь узнал о нем от «старого джентльмена с лицом привидения», которому обо всем рассказал сам студент, помещенный в сумасшедший дом. «В этой цепочке сомнительных повествователей читатель

может (должен) решить на каком уровне доверия к тексту лучше оставаться и какую степень эмоционального сопереживания заслуживает содержание прочитанного рассказа: он может отождествить себя либо с «безумным» студентом, либо с «джентльменом с лицом привидения», или с его любопытным слушателем, или с отстраненным взглядом постороннего наблюдателя Джеффри Крэйона или с находящимся вне поля зрения, притворно отсутствующим Ирвингом»²⁵.

Общественно-политическая сущность повествовательной техники, которую используют Ирвинг и Керр, заключается в предоставлении читателю возможности альтернативного выбора. В данном случае они выступают не в роли писателей, а скорее используют свой профессионализм для квалифицированной читательской интерпретации определенных типов повествования и дают анализ опыта восприятия такого рода текстов, разоблачая намерения тирана-рассказчика и возвращая читателю свободу, утраченную им во время чтения готического романа. В результате профессиональная полемика с литературной фальшью и избитыми художественными приемами, которая ведется в форме сатиры и юмора, превращается в эстетический аналог борьбы за истинно американские ценности свободы и демократии.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Dudley C. Washington Irving. Boston: Houghton, Mifflin & Co., 1889. P. 128.

² Bryant J. Melville and repose: the rhetoric of humor in the American Renaissance. N. Y.: Oxford university press, 1993. P. 54.

³ Bier J. The Rise and Fall of American Humor. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1968. P. 93.

⁴ Ibid. P. 78.

⁵ Ibid. P. 77.

⁶ Ibid. P. 88.

⁷ Weber V. The misspellers // The comic imagination in American literature. New Brunswick, N. J.: Rutgers Univ. Press, 1973. P. 132.

⁸ Ковалев Ю. В. Первый классик американской литературы // Ирвинг В. Кладобисатели. СПб.: Азбука, 2000. С. 7.

⁹ Там же. С. 11.

¹⁰ См.: Ирвинг В. Искусство книгописания // Ирвинг В. Кладобисатели. СПб.: Азбука, 2000. С. 62-68.

¹¹ См.: Blair W. The popularity of nineteenth-century American humorists // Essays on American humor: Blair through the ages. Madison: The University of Wisconsin, 1993. P. 25.

¹² Bier J. The Rise and Fall of American Humor. P. 101.

¹³ Ibid. P. 103.

¹⁴ Зверев А. М. Вашингтон Ирвинг // Ирвинг В. Новеллы. М.: Правда, 1985. С. 11.

¹⁵ См.: Из истории готического романа // Комната с призраком. М.: ИМА-Пресс, 1993. С. 4.

¹⁶ Ладыгин М. Б. Английский готический роман и проблемы предромантизма. М.: Наука, 1978. С. 24.

¹⁷ Там же. С. 26.

¹⁸ Тугушева М. Шарлота Бронте. Очерк жизни и творчества. М.: Худож. лит., 1982. С. 77.

¹⁹ См.: Cawelti J. Adventure, mystery, and romance. Formula stories as art and popular culture. Chicago: The University of Chicago Press, 1976. P. 17.

²⁰ Ковалев Ю. В. Первый классик американской литературы. С. 14.

²¹ Thomson D. Gothic writers: a critical and bibliographical guide. Westport, CT.: Greenwood Press, 2002. P. 196.

²² Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М.: Искусство, 1979. С. 88.

²³ См.: Из истории готического романа. С. 4.

²⁴ Bryant J. Melville and repose: the rhetoric of humor in the American Renaissance. P. 80, 81.

²⁵ Portelli A. The text and the voice: writing, speaking, and democracy in American literature. N. Y.: Columbia University Press, 1994. P. 123.

Случай с немецким студентом

Это произошло в бурные дни Французской революции. В поздний час ненастным вечером один молодой немец возвращался домой через старую часть Парижа. Сверкали молнии, и громкие раскаты грома сотрясали величественные узкие улицы, – но надо бы чуточку рассказать об этом молодом немце.

Готфрид Вольфганг – молодой человек из хорошей семьи. Какое-то время учился в Геттингене, но, увлекающийся и склонный к мистике, он подпал под влияние тех выходящих за разумные пределы умозрительных доктрин, которые часто сбивают с толку немецких студентов. Уединенный образ жизни, усиленные занятия, толкающий к одиночеству характер учебы наложили отпечаток, как на его сознание, так и на тело. Здоровье было подорвано, воображение стало болезненным. Все время пребывая в мире причудливых размышлений спиритического толка, он, подобно Сведенборгу, сотворил вокруг себя свой собственный идеальный мир. Не знаю почему, он вообразил, что роковое влияние зла тяготеет над ним, что какой-то злой гений хочет завлечь его в свои сети и погубить. Это наваждение, растравляя его меланхолический темперамент, привело к самым печальным последствиям. Он был изможден и подавлен, друзья нашли его на грани безумия и решили, что лучшим лекарством будет перемена обстановки. Так он был отправлен заканчивать учебу среди великолепия и услад Парижа.

Вольфганг прибыл в Париж в разгар революции. Всеобщий психоз захватил его увлекающийся ум, он был очарован политическими и философскими теориями тех дней, но последовавшие за ними кровавые сцены потрясли его чувствительную натуру, снова отвратили от общества и мира, сделали его еще большим затворником. Он уединился в крошечной квартире студенческого Латинского квартала. Там, на мрачной улице недалеко от монастырских стен Сорбонны, он погружался в свои излюбленные мысли. Иногда часы напролет просиживал в больших библиотеках Парижа, этих катакомбах минувших дней и старых авторов, роясь в грудах пыльных и потрепанных книг в поисках пищи для нездорового аппетита своего ума. Он был, собственно, литературным вурдалаком, питающимся на кладбище литературной гнили.

Этот молодой отшельник имел пылкий темперамент, который, однако, какое-то время питал только его воображение. Слишком застенчивый и несведущий в жизни, чтобы хоть каким-то образом общаться с прекрасным полом, он был, тем не менее, страстным поклонником женской красоты и в своей уединенной келье часто погружался в грезы среди являвшихся ему форм и лиц, и его воображение порождало прелестные образы, далеко превосходящие действительность.

В то время как мозг его пребывал в возбужденном и возвышенном состоянии, одно наваждение имело на него чрезвычайное воздействие. Это было некое женское лицо необыкновенной красоты. Впечатление от него было настолько сильным, что он грезил о нем снова и снова. Оно занимало его мысли днем и сны по ночам; словом, он страстно влюбился в эту тень, создание своего воображении. Продолжалось это так долго, что стало одной из тех навязчивых идей, которые будоражат ум меланхоликов и которые ошибочно принимают за безумие.

Таков был Готфрид Вольфганг, и таким было его состояние в упомянутый мною вечер. Поздно возвращаясь домой той ненастной ночью, он брел по старым и мрачным улицам Марэ, старинного квартала Парижа. Гром грохотал среди высоких домов узких улиц. Он подошел к Гревской площади, где совершались публичные казни. Сполохи молний вздрагивали на бельведерах древнего Отель де Вилль и отражались вспыхивающими бликами в открытом пространстве его фасада. Пересекая площадь, Вольфганг попятился от страха, очутившись рядом с гильотиной. Это была вершина царства ужаса — зловещее орудие смерти стояло наготове с эшафотом, постоянно омываемым кровью сильных и отважных. В тот самый день на гильотине здорово потрудились, устроив кровавую баню, и вот она, стоя в зловещем убранстве посреди молчаливого, спящего города, ожидала новых жертв.

Сердце Вольфганга сжалось, и он уж было с дрожью отвернулся от ужасной машины, когда заметил очертания фигуры, съежившейся у подножия эшафота. Время от времени вспыхивающие молнии делали ее более отчетливой. Это была женщина, одетая в черное. Она сидела на одной из нижних ступенек эшафота, подавшись вперед, спрятав лицо в коленях, ее длинные растрепавшиеся локоны спускались до земли, струясь в потоках дождя, Вольфганг остановился. Вид женщины говорил о ее, по-видимому, высоком положении. Он знал случаи, когда превратности судьбы, лишив женщин дома и поддержки, обрекали их на бродяжничество. Возможно, это была какая-то несчастная, убитая горем, которую безжалостный топор сделал одинокой, и она сидела там с разбитым сердцем, выброшенная на отмель жизни, из которой все, что было ей дорого, отправилось в вечность.

Вольфганг подошел и обратился к женщине со словами сочувствия. Она подняла голову и испуганно посмотрела на него. Каково же было его изумление, когда при яркой вспышке молнии он увидел то самое лицо, которое неотступно преследовало его в грезах. Оно было бледным и безутешным, но захватывающе красивым.

Обуреваемый противоречивыми чувствами, Вольфганг обратился к женщине снова. Он сказал что-то о том, что она брошена одна в такой поздний час да еще во власть ненастья, и предложил отвести ее к друзьям. Она сделала наводящий ужас жест в сторону гильотины.

– Нет у меня на земле друзей, – сказала она.

– Но ведь есть дом, – возразил Вольфганг.

– Да – в могиле!

При этих словах сердце студента совсем растаяло.

– Если бы незнакомцу позволительно было предложить, – сказал он, – не опасаясь быть неправильно понятым, я бы предложил свое скромное жилище, чтобы приютить вас, и себя в качестве преданного друга. У меня самого нет друзей в Париже, и я чужой в этой стране; но если потребуется моя жизнь, она в вашем распоряжении, я отдам ее, чтобы отвести несчастье или бесчестье, которые могут угрожать вам.

Искреннее участие молодого человека возымело действие. Его иностранный акцент тоже был в его пользу, свидетельствуя, что это не просто какой-нибудь парижский обыватель. И действительно, в его красноречии звучал неприторный порыв, не оставлявший сомнения в подлинности двигавшего им чувства. Бездомная незнакомка невольно доверилась студенту.

Он поддержал ее, когда она нетвердыми шагами пересекла Пон Неф, проходя мимо места, где толпа низвергла памятник Генриху IV. Непогода стихла, гром доносился уже издалека. Весь Париж затих; этот огромный вулкан человеческих страстей задремал на время, набираясь сил для нового взрыва на следующий день. Студент вел свою подопечную по древним улицам Латинского квартала мимо сумрачных стен Сорбонны к большой обшарпанной гостинице, где он жил. Старушка-привратница, которая впустила их, удивленно воззрилась на необычную картину – меланхолик Вольфганг с женщиной?

Войдя в свое жилище, студент впервые устыдился его убожества и безликости. Оно состояло из единственной комнаты – старомодного салона, украшенного резьбой и фантастически обставленного остатками былой роскоши: это был один из тех отелей в квартале Люксембургского дворца, которые принадлежали прежде знатному дворянству. Комната была завалена книгами и бумагами, а все обычные для одинокого студента аксессуары и кровать стояли в конце ее, в нише.

Когда принесли свечи и Вольфганг смог рассмотреть незнакомку получше, он был еще больше опьянен ее красотой. Ослепительная белизна лица красавицы подчеркивалась великолепием ниспадавших локонами черных как смоль волос. Большие глаза блестели, а необыкновенное выражение их граничало с безумием. Черное платье открывало взору проступавшие под ним очертания фигуры совершенных пропорций. Вообще ее внешность была поразительной, несмотря на очень простую одежду. Единственной вещью, которую можно было бы назвать украшением, была широкая черная повязка вокруг шеи, скрепленная бриллиантами.

Но тут студентом овладела растерянность – куда поместить это беспомощное существо, так неожиданно оказавшееся под его защитой? Он подумал о том, чтобы предоставить ей свою комнату, а самому поискать другое прибежище. Но очарованный прелестями незнакомки, захватившими все его мысли и чувства, он не мог оторваться от нее. Ее поведение тоже было необычным и необъяснимым. Она больше не говорила о гильотине, горе ее несколько притупилось. Студента подкупило сначала доверие, а затем, очевидно, и душа этой кра-

савицы. Она была порывистой, как и он сам, а порывистые люди очень быстро начинают понимать друг друга.

Поддавшись безрассудству, Вольфганг открыл ей свою страсть, поведал историю волшебных грез, в которых она завладела его сердцем еще до того, как он увидел ее. Очень сильное впечатление, произведенное его признанием, пробудило в ней ответное чувство, в равной мере неконтролируемое. Это было время безумных мыслей и безумных действий. Старые предрассудки и суеверия были отброшены; все подчинялось власти «богини разума». Среди прочего старомодного мусора брачные формальности и церемонии уже казались излишней обузой для возвышенных душ. В моде были любовные соглашения. Вольфганг был слишком склонен к теоретизированию, чтобы не заразиться либеральными доктринами тех дней.

– Почему мы должны разлучаться? – вопрошал он.

– Наши души неразделимы, перед лицом Разума и Чести мы едины. Разве есть нужда в презренных формальностях, чтобы соединить благородные души?

Незнакомка с воодушевлением внимала: видно, она прошла ту же школу.

– У вас нет ни дома, ни семьи, – продолжал он, – позвольте же мне быть всем этим для вас, или, вернее, позвольте нам быть всем друг для друга. И если нужны какие-то формальности – они будут соблюдены: вот вам моя рука. Я – ваш навсегда.

– Навсегда? – спросила незнакомка серьезно.

– Навсегда! – подтвердил Вольфганг.

Незнакомка пожала протянутую ей руку. «Тогда я – ваша», – пробормотала она и прильнула к его груди.

На следующее утро студент оставил свою невесту спящей и отправился в ранний час на поиски более соответствующей его изменившемуся положению квартиры. Вернувшись, он нашел незнакомку все еще лежащей в постели, голова ее свесилась с кровати, рука была запрокинута вверх головы. Он заговорил с ней, но не получил ответа. Он подошел, чтобы разбудить ее и уложить удобнее, но, взяв ее руку, почувствовал, что она совсем холодная – пульса не было, лицо было мертвенно-белым и страшным. Словом, это был труп.

Обезумев от страха, он поднял на ноги весь дом. Возникло замешательство, была вызвана полиция. Войдя в комнату и увидев труп, полицейский подался назад.

– Боже милостивый! – вскрикнул он. – Как эта женщина попала сюда?

– Вы что-нибудь знаете о ней? – нетерпеливо спросил Вольфганг.

– Знаю ли я? – воскликнул офицер. – Да она вчера была обезглавлена!

Он шагнул вперед, расстегнул черную повязку на шее трупа, и голова покатила по полу!

Студент взорвался неистовым отчаяньем:

– Это дьявол! Дьявол настиг-таки меня, – кричал он. – Теперь мне конец!

Его пытались утешить, но тщетно. Он был одержим идеей, что дьявол оживил мертвое тело, чтобы заманить его в свои сети. Вконец надломленный, он умер в сумасшедшем доме.

Старый джентльмен с лицом привидения закончил.

– И все это правда? – допытывался второй, любопытный джентльмен.

– Несомненно, – отвечивал первый. – Я слышал это из надежного источника – студент сам рассказывал мне. Я видел его в сумасшедшем доме в Париже.

Перевод В. Шеханина

Публикуется по: Странные и ужасные истории. Харьков: РИО Облполиграфиздата, МП «Рубикон», 1991.

Adventure of the German student

On a stormy night, in the tempestuous times of the French revolution, a young German was returning to his lodgings, at a late hour, across the old part of Paris. The lightning gleamed, and the loud claps of thunder rattled through the lofty narrow streets – but I should first tell you something about this young German.

Gottfried Wolfgang was a young man of good family. He had studied for some time at Güttingen, but being of a visionary and enthusiastic character, he had wandered into those wild and speculative doctrines which have so often bewildered German students. His secluded life, his intense application, and the singular nature of his studies, had an effect on both mind and body. His health was impaired; his imagination diseased. He had been indulging in fanciful speculations on spiritual essences, until, like Swedenborg, he had an ideal world of his own around him. He took up a notion, I do not know from what cause, that there was an evil influence hanging over him; an evil genius or spirit seeking to ensnare and ensure his perdition. Such an idea working on his melancholy temperament produced the most gloomy effects. He became haggard and desponding. His friends discovered the mental malady preying upon him, and determined that the best cure was a change of scene; he was sent, therefore, to finish his studies amidst the splendors and gayeties of Paris.

Wolfgang arrived at Paris at the breaking out of the revolution. The popular delirium at first caught his enthusiastic mind, and he was captivated by the political and philosophical theories of the day: but the scenes of blood which followed shocked his sensitive nature, disgusted him with society and the world, and made him more than ever a recluse. He shut himself up in a solitary apartment in the *Pays Latin*, the quarter of students. There, in a gloomy street not far from the monastic walls of Sorbonne, he pursued his favorite speculations. Sometimes he spent hours together in the great libraries of Paris, those catacombs of departed authors, rummaging among their hoards of dusty and obsolete works in quest of food for his unhealthy appetite. He was, in a manner, a literary ghou, feeding in the charnel-house of decayed literature.

Wolfgang, though solitary and recluse, was of an ardent temperament, but for a time it operated merely upon his imagination. He was too shy and ignorant of the world to make any advances to the fair, but he was a passionate admirer of female beauty and in his lonely chamber would often lose himself in reveries on forms and faces which he had seen, and his fancy would deck out images of loveliness far surpassing the reality.

While his mind was in this excited and sublimated state, a dream produced an extraordinary effect upon him. It was of a female face of transcendent beauty. So strong was the impression made, that he dreamt of it again and again. It haunted his thoughts by day, his slumbers by night; in fine, he became passionately enamored of

this shadow of a dream. This lasted so long that it became one of those fixed ideas which haunt the minds of melancholy men, and are at times mistaken for madness.

Such was Gottfried Wolfgang, and such his situation at the time I mentioned. He was returning home late one stormy night, through some of the old and gloomy streets of the *Marais*, the ancient part of Paris. The loud claps of thunder rattled among the high houses of the narrow streets. He came to the Place de Greve, the square where public executions are performed. The lightning quivered about the pinnacles of the ancient H^{ôte}l de Ville, and shed flickering gleams over the open space in front. As Wolfgang was crossing the square, he shrank back with horror at finding himself close by the guillotine. It was the height of the reign of terror, when this dreadful instrument of death stood ever ready, and its scaffold was continually running with the blood of the virtuous and the brave. It had that very day been actively employed in the work of carnage, and there it stood in grim array, amidst a silent and sleeping city, waiting for fresh victims.

Wolfgang's heart sickened within him, and he was turning shuddering from the horrible engine, when he beheld a shadowy form, cowering as it were at the foot of the steps which led up to the scaffold. A succession of vivid flashes of lightning revealed it more distinctly. It was a female figure, dressed in black. She was seated on one of the lower steps of the scaffold, leaning forward, her face hid in her lap; and her long disheveled tresses hanging to the ground, streaming with the rain which fell in torrents. Wolfgang paused. There was something awful in this solitary monument of woe. The female had the appearance of being above the common order. He knew the times to be full of vicissitude, and that many a fair head, which had once been pillowed on down, now wandered houseless. Perhaps this was some poor mourner whom the dreadful axe has rendered desolate, and who sat here heart-broken on the strand of existence, from which all that was dear to her had been launched into eternity.

He approached, and addressed her in the accents of sympathy. She raised her head and gazed wildly at him. What was his astonishment at beholding, by the bright glare of the lightning, the very face which had haunted him in his dreams. It was pale and disconsolate, but ravishingly beautiful.

Trembling with violent and conflicting emotions Wolfgang again accosted her. He spoke something of her being exposed to her friends. She pointed to the guillotine with a gesture of dreadful signification.

"I have no friend on earth!" said she.

"But you have a home," said Wolfgang.

"Yes – in the grave!"

The heart of the student melted at the words.

"If a stranger dare make an offer," said he, "without danger of being misunderstood, I would offer my humble dwelling as a shelter; myself as a devoted friend. I am friendless myself in Paris, and a stranger in the land; but if my life could be of service, it is at your disposal, and should be sacrificed before harm or indignity should come to you."

There was an honest earnestness in the young man's manner that had its effect. His foreign accent, too, was in his favor; it showed him not to be a hackneyed inhabitant of Paris. Indeed, there is an eloquence in true enthusiasm that is not to be doubted. The homeless stranger confided herself implicitly to the protection of the student.

He supported her faltering steps across the Pont Neuf, and by the place where the statue of Henry the Fourth had been overthrown by the populace. The storm had abated, and the thunder rumbled at a distance. All Paris was quiet; that great volcano of human passion slumbered for a while, to gather fresh strength for the next day's eruption. The student conducted his charge through the ancient streets of the *Pays Latin*, and by the dusky walls of the Sorbonne, to the great dingy hotel which he inhabited. The old portress who admitted them stared with surprise at the unusual sight of the melancholy Wolfgang with a female companion.

On entering his apartment, the student, for the first time, blushed at the scantiness and indifference of his dwelling. He had but one chamber – an old-fashioned saloon – heavily carved, and fantastically furnished with the remains of former magnificence, for it was one of those hotels in the quarter of the Luxembourg palace, which had once belonged to nobility. It was lumbered with books and papers, and all the usual apparatus of a student, and his bed stood in a recess at one end. When lights were brought, and Wolfgang had a better opportunity of contemplating the stranger, he was more than ever intoxicated by her beauty. Her face was pale, but of a dazzling fairness, set off by a profusion of raven hair that hung clustering about it. Her eyes were large and brilliant, with a singular expression approaching almost to wildness. As far as her black dress permitted her shape to be seen, it was of perfect symmetry. Her whole appearance was highly striking, though she was dressed in the simplest style. The only thing approaching to an ornament which she wore, was a broad black band round her neck, clasped by diamond.

The perplexity now commenced with the student how to dispose of the helpless being thus thrown upon his protection. He thought of abandoning his chamber to her, and seeking shelter for himself elsewhere still he was so fascinated by her charms, there seemed to be such spell upon his thoughts and senses, that he could not tear himself from her presence. Her manner, too, was singular and unaccountable. She spoke no more of the guillotine. Her grief had abated. The attentions of the student had first won her confidence, and then, apparently, her heart. She was evidently an enthusiast like himself, and enthusiasts soon understand each other.

In the infatuation of the moment, Wolfgang avowed his passion for her. He told her the story of his mysterious dream, and how she had possessed his heart before he had even seen her. She was strangely affected by his recital, and acknowledged to have felt an impulse towards him equally unaccountable. It was the time for wild theory and wild actions. Old prejudices and superstitions were done away; everything was under sway of the "Goddess of Reason". Among the rubbish of the old times, the forms and ceremonies of marriage began to be considered superfluous bonds for honorable minds. Social compacts were the vogue. Wolfgang was too much of a theorist not to be tainted by the liberal doctrines of the day.

“Why should we separate?” said he: “our hearts are united; in the eye of reason and honor we are as one. What need is there of sordid forms to bind high souls together?”

The stranger listened with emotion: she had evidently received illumination at the same school.

“You have no home nor family,” continued he; “let me be everything to you, or rather let us be everything to one another. If form is necessary, form shall be observed – there is my hand. I pledge myself to you forever.”

“Forever?” said the stranger, solemnly.

“Forever!” repeated Wolfgang.

The stranger clasped the hand extended to her: “Then I am yours,” murmured she, and sank upon his bosom.

The next morning the student left his bride sleeping, and sallied forth at an early hour to seek more spacious apartments suitable to the change in his situation. When he returned, he found the stranger lying with her head hanging over the bed and one arm thrown over it. He spoke to her, but received no reply. He advanced to awaken her from her uneasy posture. On taking her hand, it was cold – there was no pulsation – her face was pallid and ghastly. In a word, she was a corpse.

Horrified and frantic, he alarmed the house. A scene of confusion ensued. The police was summoned. As the officer of police entered the room, he started back on beholding the corpse.

“Great heaven!” cried he, “how did this woman come here?”

“Do you know anything about her?” said Wolfgang eagerly.

“Do I?” exclaimed the officer: “she was guillotined yesterday.”

He stepped forward; undid the black collar round the neck of the corpse, and the head rolled on the floor!

The student burst into a frenzy. “The fiend, the fiend has gained possession of me!” shrieked he: “I am lost forever.”

They tried to soothe him, but in vain. He was possessed with the frightful belief that an evil spirit had reanimated the dead body to ensnare him. He went distracted, and died in a mad-house.

Here the old gentleman with the haunted head finished his narrative.

“And is this really a fact?” said the inquisitive gentleman.

“A fact not to be doubted,” replied the other. “I had it from the best authority. The student told it me himself. I saw him in a mad-house in Paris.”

Публикуется по: Irving W. History, Tales and Sketches. N. Y.: Literary Classics of the United States, 1983.

Questions

1. What important features of the image of Gottfried Wolfgang are given at the beginning of the story?
2. Why was the student sent to Paris?
3. What was the student's psychological state of mind? What words help the author to characterize the details of the feelings and emotions?
4. What were the circumstances of the student's returning home one night?
5. Why was the student astonished when he saw the woman's face?
6. What offer did the student make to the stranger?
7. How did the stranger look like?
8. Did the stranger accept Wolfgang's proposal to unite their hearts?
9. What did the student see in his room when he returned after his morning walk?
10. What did the police officer say about the woman he saw?

Paraphrase or explain

1. "He was, in a manner, a literary ghoul, feeding in the charnel-house of decayed literature."
2. "While his mind was in this excited and sublimated state, a dream produced an extraordinary effect upon him."
3. "This lasted so long that it became one of those fixed ideas which haunt the minds of melancholy men, and are at times mistaken for madness."
4. "Wolfgang's heart sickened within him, and he was turning shuddering from the horrible engine, when he beheld a shadowy form, cowering as it were at the foot of the steps which led up to the scaffold."
5. "The female had the appearance of being above the common order".
6. "The heart of the student melted at the words."
7. "Indeed, there is an eloquence in true enthusiasm that is not to be doubted."
8. "She was evidently an enthusiast, and enthusiasts soon understand each other."

9. “It was the time for wild theory and wild actions.”

10. “The stranger listened with emotion: she had evidently received illumination in the same school.”

Discussion points

- Write out all the words denoting the concept of horror and mystery.
- What details of the story let us consider the story as a work of romanticism? Speak of the story as a work of romanticism.
- What explanations of the outcome of the story are given by the narrator, the student and the police officer? What effect do these different explanations, that converge here, produce?
- What elements of the plot and the language make us think that this is a story of black humor?

Translation exercises

1. Compare the meaning of the words denoting horror and mystery in the original and in translation. Can we consider the translation adequate?
2. Analyze the translation of the story on the lexical, grammatical and stylistic level. Select the linguistic elements (2-3 on each level) that are most significant from the point of view of the development of the plot and say if adequacy of translation is reached.

ПИСЬМО IX,

в котором наш корреспондент на время отвлекается от военных дел, чтобы уделить внимание романтической литературе, и представляет читателю роман, сочиненный женщиной.

Вашингтон, Округ Колумбия, июля, 1861

Пока Великая Армия занимается подготовкой наступления на Южную Конфедерацию, и прославленная птица – покровительница нашей страждущей страны – оттачивает шпоры, позволь мне, мой мальчик, ненадолго отвлечь твое внимание, чтобы побеседовать на тему о душевных терзаниях, причиняемых романтическими сочинениями отечественных женщин.

Чтобы утешить и просветить меня в минуту наименьшей занятости и наибольшей трезвости, одна из несравненных пишущих женщин Америки прислала мне свой новый роман на предмет прочтения; и, прежде чем предоставить тебе самому насладиться его зелеными листьями, позволь мне сделать несколько замечаний касательно всех подобных сочинений вообще.

Длительное терпеливое изучение женственных сочинений убеждает меня, что женский гений, такой, каким он проявляется в душетерзательной беллетристике, имеет свойство выставлять противоестественных, неприкрытых хамов в качестве героев, мой мальчик, перед алтарем которых все кринолины творения, а также бесчисленное количество более скромных юбок волей-неволей должны склоняться. Таковым был старый шарлатан Рочестер, возлюбленный «Джейн Эйр». Этот образ списывался и переписывался сотни раз с той поры, как Шарлотта Бронте дала миру свой знаменитый роман, и до сих пор он все еще «в большом ходу в благородных семействах».

Величайший недостаток интеллектуально развитых женщин Америки то, что они непрестанно пытаются обрисовать один из аспектов мужского характера, который их привлекает больше всех прочих, но в котором они ровно ничего не смыслят. Женщинам свойственно прирожденное влечение ко всему ей непонятному, и в силу этого редко попадаетея такая, у которой не было бы туманно-неистового восхищения перед Эмерсоном.

В этом мире, мой мальчик, существует благородный мужской тип, который сочетает в себе сдержанное достоинство с величайшей преданностью и цельностью; непоколебимое равнодушие к необузданным похвалам общества с благодарным приятием уважения честных людей, а также безразличие к более или менее фривольной благосклонности женщин с рыцарским преклонением перед истинными ее добродетелями и любовью.

Это именно тот тип, который, нисколько не понимая его, интеллектуально развитые женщины Америки беспрестанно пытаются обрисовать в своих рома-

нах; и хорошенькая же у них каша получается из этого, мой мальчик, хорошенькая каша! Когда он выходит из рук писательниц-школьниц, то этого героя а-ля Рочестер труднее понять, чем самого Гамлета. Он преследует нас, мой мальчик, – фатоватое, ужасающе мизантропичное существо, презирающее свет со всей злостью, присущей хронической диспепсии, и выделяющее душевную желчь в количестве, поистине устрашительном для верующего читателя. Его отношение к бедной маленькой героине – сплошное издевательство. Он попеременно то ласкает ее, то смешивает с грязью. Когда он поймаёт ее в библиотеке, то ни за что не упустит случай заставить ее почитать ему вслух, а когда она говорит ему «доброй ночи», он обычно слишком глубоко охвачен очередным припадком «сумрачного рассеяния», чтобы по-человечески ей ответить. Назови он ее «дурочкой», ее привязанность к нему доходит до экстаза, а при первом упоминании о том, что в ранней молодости он убил благороднейшего брата и двух прекрасных сестер, она начинает опасаться, что обожание к нему превзойдет любовь, которой она обязана своему создателю!

Этот беспринципный хам может быть годами в разлуке с маленькой добродетельной героиней, а при следующей встрече, забывши все, флиртовать с полдюжиной посторонних кринолинов. Тем не менее добродетельная героиня неизменно любит его всей душой и неизменно в заключительной сцене мирно покоится на каком-нибудь узоре, вышитом на его жилетке.

А что еще больше свидетельствует о непоследовательности всей этой истории, так это глубочайшая, несравненная набожность героини, в противоположность полнейшему исчезновению всякой морали из груди нашего хама. Как эти двое могут сосуществовать, я не понимаю, и мое непонимание, увы, усугубляется частыми выражениями религиозности со стороны героини и одинаково частым бессовестным обманом со стороны хама.

А теперь, мой мальчик, позволь мне воспроизвести тебе новый роман, присланный мне с такими похвальными намерениями одной из наших молодых и интеллектуально развитых отечественных женщин. Ты встретишь немало экзотических проявлений страсти, если удосужишься прочитать дальше нижеследующего заглавия:

Хиггинс

Автобиография

Автор — Бушуялина Крошит

Предисловие

При написании последующих страниц я не руководствовалась никакими побуждениями, кроме тех, что заставляют воображение в часы досуга рассеивать семена прекрасного. Могут утверждать, что характер моего героя противоречит естеству; но я убеждена, что найдутся многие моего пола, которым

откроется в мистере Хиггинсе двойник идеала той поры, когда жизнь еще благоухала ароматами первой весны, и душа мужчины казалась, в глазах невинности, райским садом добродетели, в который не вторгнется никакая мирская гангрена. Вот все, что я хотела сказать.

Глава I

Это было однажды вечером в счастливом месяце июне. Карета моего дедушки, запряженная шестьюстами двадцатью двумя белыми лошадьми, остановилась под высокими пальмами у ворот старинной усадьбы Хиггинсов, и меня извлекли в полуобмороке из измученного экипажа. Покуда дедушка помогал мне неверными шагами взбираться по ступеням, ведущим в обширную переднюю, я успела заметить незнакомую фигуру, присоединившуюся к нашему обществу. Это была фигура мужчины футов шести ростом и соответствующей ширины, чей обширный и величественный лоб скрывал за собою царство божественного интеллекта и весь лучился идеальностью. Луноцветные волосы его ниспадали кудрями по спине, на геркулесовых плечах трепетал американский флаг. Окаменев от восхищения, понятного лишь тем, кто испытал нечто подобное, я бросила на него свой пронизывающий взор, и всей глубиной души почувствовала его недостижимое совершенство; как будто ангел коснулся крылом моего чела и оставил там одно из своих сверкающих перьев.

– Мистер Хиггинс, – сказал мой дедушка, – вот ваша подопечная, Галушианна.

На мгновение воцарилось безмолвие. Затем тоном изысканно инструментальной грозы мистер Хиггинс сказал:

– Зачем тебе понадобилось тащить эту чертову девку *сюда*, старый болван?

Ощущение было такое, как от воочию увиденной музыки. Мне припомнились молитвы моей матери, когда она старалась просветить меня, тогда еще бессловесного младенца, словами божественных откровений. Я почувствовала, что люблю Хиггинса.

Такова жизнь. Мы блуждаем по лабиринтам любви, не помышляя о грядущем; тем временем роковой червь предопределения въедается нам в души. Горе нам! Воистину, земное счастье – лишь насмешка.

Глава II

Не успела я усесться в библиотеке после дедушкиного отъезда, как мистер Хиггинс повелел мне почистить ему сапоги, к чему я и приступила с надменным видом, едва смея надеяться и все же надеясь, что он победит свою леденящую замкнутость и заговорит со мной вновь. Ибо я была лишь ребенком, и юное мое сердце жаждало сочувствия.

Некоторое время спустя мистер Хиггинс обратил на меня свои громадные серые глаза и воскликнул:

– Ха!

После чего он снова на два часа погрузился в задумчивый транс, а затем, повернувшись ко мне спросил:

– Галушианна, что вы обо мне думаете?

– Я думаю, – сказала я, осторожно кладя сапожную щетку на место, – что у вас от при роды благородная натура, но что она извращена и затемнена ошибочным восприятием великого таинства вселенной. Вы позволяете человеческим грехопадениям исказить ваши представления об истинной экономии творения, тем самым как бы побивая плодоносный опыт вашего абстрактного существа...

Я покраснела, испугавшись, что слишком далеко зашла.

– Очень верно, – отозвался мистер Хиггинс, – почти то же самое говорит Шиллер. Именно сознание полнейшей ничтожности человека привело меня к убийству моей бабушки и к отравлению беспомощного потомства моего старшего брата.

Тут мистер Хиггинс свесил голову и задрожал от нахлынувших чувств, подобно тому, как океан сотрясается под завыванием урагана.

Я почувствовала, как содрогнулось все мое существо, и не смогла дольше выносить это зрелище. Тихо проскользнув к дверям, я пролепетала сквозь слезы:

– Доброй ночи, мистер Хиггинс; я буду молиться за вас!

Он не повернул своей величественной головы, а только сказал твердым тоном:

– Бедный звереныш, доброй ночи.

Я поднялась к себе, но не могла уснуть. Вскоре после половины второго, я бесшумно прокралась вниз к дверям библиотеки и заглянула внутрь. Мистер Хиггинс все сидел перед огнем в той же задумчивой позе, и я услышала, как он повторял про себя: «Бедный звереныш! Бедный, бедный звереныш!»

Глава III

Теперь пусть читатель перенесется в небольшую каменную хижину на Гудзоне, и он увидит меня такой, какой я была в двадцать один год. Я достигла той вершины в женской карьере, когда здравый смысл для нее – ничто, и мир, со всеми его безумствами, врывается в ее очарованные уши с удесятеренной притягательной силой. Прошло уже лет пятьдесят с тех пор, как умер мой дедушка, и я как раз сидела и думала о нем, когда раскрылась дверь, и вошел мистер Хиггинс. Я почувствовала, как затрепетало мое сердце, и уже собиралась покинуть комнату, когда он бросил на меня испытующий взгляд и сказал:

– Ну, как, милая, ты все еще такая же дуреха?

Я свесила голову – предательскую краску нельзя было скрыть.

– Ну-ну, – сказал м-р Хиггинс, – только не разговаривай со мной, как ослица. Я тебе не какой-нибудь поп-исповедник. К черту попов! К черту весь

свет! К черту всех! К черту все! – И он закинул ноги на надкаминную полку и задумчиво уставился взором на огонь.

Я услышала стук собственного сердца, и вся теплота моей природы устремилась навстречу этому совершенному воплощению человеческого величия, но заговорить я не посмела.

После непродолжительного молчания мистер Хиггинс откусил от плитки табаку и, положив мне руку па плечо, воскликнул:

– Зачем мне тебя обманывать, девочка! Вчера ночью я отравил единственную оставшуюся сестру за то, что она хотела выйти замуж за владельца цирка; а всего каких-нибудь два часа назад я проиграл в рулетку два миллиона. Ваши попы сказали бы, что это грех – не так ли?

Я заглушила свои рыдания и произнесла как можно спокойней:

– Для нашей церкви важно побуждение, а не деяние. Если высокие понятия о чести заставили вас отравить всех своих родственников и играть в рулетку, то ваш грех был скорее следствием порочности других, нежели вашей собственной благородной души, и я не сомневаюсь, что вас можно назвать невинным.

Несколько часов он глядел на огонь, а затем сказал:

– Уйди, Галушианна, мне нужно побыть одному. Уйди, невинный скорпион!

Ах, Хиггинс, Хиггинс, если бы я могла умереть за вас в тот момент, я не уверена, что я бы это не сделала!

Глава IV

Семьдесят пять лет прокатилось со времени моей последней встречи с читателем, а я все такая же безрассудная девица.

Но, увы, – как я изменилась! Ворон отчаянья покрыл ужасающей тенью своих крыльев залы моих предков, отняв у них все, что когда-то делало их прекрасными. Когда я оглядываюсь назад, я не вижу ничего впереди себя, а когда я смотрю вперед, я не вижу ничего позади. Такова эта жизнь. Нам кажется, что каждый час – это бабочка, созданная для нашей утехи, а на деле, все только желчь и горечь.

Несчастья смягчили меня, и я занимала уединенную пещеру в городе Нью-Орлеане, когда моя верная старая няня вошла в мой будуар и разразилась истерическим хохотом.

– Сассафрина! – воскликнула я, полусердито.

– Пожалуйста, не сердитесь, мисс, – откликнулось это преданное седовласое существо, – но я знала, что все в конце концов образуется. Я говорила вам, что Сэр Клод Хиггинс не женился на своей младшей сестре, но вы мне не хотели верить. Сейчас он внизу, в гостиной, и ждет вас.

И с этими словами преданная служанка свалилась замертво у моих ног. Поспешно натянув чистую пару чулок и прочитав главу из семейной библии

моей матери, я покинула комнату, шепча про себя: – О, успокойся, бедное сердце, не колотись так сильно.

Глава V

Когда я вошла в гостиную, мистер Хиггинс глубокомысленно сидел и смотрел на огонь и не заметил меня, пока я к нему не прикоснулась. Его взлохмаченные волосы свисали над массивным лбом в величественном беспорядке; погашенный факел, дымясь, лежал у его властных ног.

О, идол моей души! Я вижу тебя теперь точно так же, как видела тогда, всего в отблесках огня, играющих, как улыбка с иссиня-голубого неба.

При моем прикосновении он очнулся.

– Несчастливая девица! – воскликнул он все тем же знакомым мне тоном, привлекая меня к себе, в то время как каждый мой нерв трепетал в сладостном волнении. – Злосчастный змееныш! Неужели же *так* суждено было нам встретиться? Бедная дурочка, ведь ты всего-навсего женщина; а я – увы! Кто я? Два часа тому назад я поджег три церкви и своей железной пятой сокрушил пономаря. И ты не содрогаяешься? Ну, хорошо! Так знай же, гадюка, *я люблю тебя!*

Не услышала ли я музыку высших сфер? Или я все еще пребывала в этом низменном мире безумств и греха? Неужто суждено было всем моим мукам, моим заботам, всем вздохам моего сердца, рыданиям надежды и терзаниям души вдруг окончиться таким апофеозом и увенчаться обожанием существа, которому посвятила я чистейшие устремления духа?

Блаженство было свыше моих сил. Вытаскивая из волос все заколки и завязывая на вздымающейся шее носовой платок, я кинулась ему на пышущую грудь.

– Мой Хиггинс!

– Твой Хиггинс!!

– Наш Хиггинс!!!

Как видишь, мой мальчик, интеллектуально развитые женщины Америки довольно густо разрисовывают свои образы мужского благолепия. Но намерения у них самые добрые, мой мальчик, самые добрые!

Твой, в сатанинском ударе, *Орфеус С. Керр.*

Перевод Д. Роттенберга

Публикуется по: Сатира времен Гражданской войны в США. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966.

LETTER IX

IN WHICH OUR CORRESPONDENT TEMPORARILY DIGRESSES FROM WAR MATTERS TO ROMANTIC LITERATURE, AND INTRODUCES A WOMAN'S NOVEL

WASHINGTON, D. C., July, 1861.

WHILE the Grand Army is making its preparations for an advance upon the Southern Confederacy, my boy, and the celebrated fowl of our distracted country is getting ready his spurs, let me distract your attention for a moment to the subject of harrowing Romance as inflicted by the intellectual women of America.

To soothe and instruct me in my leisure and more serious moments, one of the ink-comparable women of America has sent me her new novel to read; and before I allow you to enjoy its green leaves, my boy, you must permit me to make a few remarks concerning the generality of such works.

Long and patient study of womanly works teaches me that woman's genius, as displayed in gushing fiction, is a power of creating an unnatural and unmitigated ruffian for a hero, my boy, at whose shrine all created crinoline and immense delegations of inferior broadcloth are impelled to bow. Such a one was that old humbug, Rochester, the beloved of "Jane Eyre." The character has been done-over scores of times since poor Charlotte Bronte gave her famous novel to the world, and is still "much used in respectable families."

The great difficulty with the intellectual women of America is, that they will persist in attempting to delineate a phase of manly character which attracts them above all others, but which they do not comprehend. Woman entertains a natural fondness for that which she can not understand, and hence it is that we very seldom find her without a wildly-vague admiration of Emerson.

There is in this world, my boy, a noble type of manhood which unites dignified reserve with the most loyal integrity, relentless pride of manner with the kindest humility of heart, rigid indifference to the applause of the world with the finest regard for its honest respect, and carelessness of woman's mere frivolous liking with the most profound and chivalrous reverence for her virtues and her love.

This is the type which, without comprehending it, the intellectual women of America are continually striving to depict in their novels; and a pretty mess they make of it, my boy, a pretty mess they make of it.

Their "Rochester" hero is harder to understand than Hamlet, when he falls into the hands of our school-girl authoresses. He looms rakishly upon us, my boy, a hor-

ridly misanthropic wretch, despising the world with all the dreadful malignity of chronic dyspepsia, and displaying a degree of moral biliousness truly horrifying to members of the church. His behavior to the poor little heroine is a perpetual outrage. Alternately he caresses and snubs her. He never fails to make her read to him when he traps her in the library; and when she says, "Good night" to him he is too deep in a "fit of gloomy abstraction" to answer her civilly. If he calls her a "little fool," her fondness for him becomes ecstatic: and at the first hint of his having murdered a noble brother and two beautiful sisters in early life, she is led to fear that her adoration of him will exceed the love she owes to her Maker!

This unprincipled ruffian may be separated from the virtuous little heroine for years, and be flirting consumedly with half a dozen crinolines when next she sees him; yet is he loved dearly by the virtuous little heroine all the time, and when last we hear of him, she is resting peacefully upon his vest-pattern.

What makes the inconsistency of the whole story still more apparent is the intense and double-refined piety of the heroine, as contrasted with an utter stagnation of all morality in the breast of the ruffian. How the two can assimilate, I do not understand; and my misunderstanding is woefully augmented by the heroine's frequent expressions of churchliness, and the ruffian's equally frequent outbursts of waggish infidelity.

And now, my boy, let me transcribe for you the new novel, sent to me with such kind intent by one of the young and intellectual women of America. You will find much lusciousness of sentiment, my boy, in

HIGGINS

AN AUTOBIOGRAPHY

BY GUSHALINA CRUSHIT

PREFACE

In writing the ensuing pages, I have been guided by no motives other than those which lead the mind, in its leisure hours, to scatter the germs of the beautiful. It may be urged that the character of my hero is unnatural; but I am sure there are many of my sex who will discover in Mr. Higgins a counter part of the ideal of days when life still knew the odors of its first spring, and the soul of man seemed to the eye of innocence an Elysium of virtue into which no gangrene of mere worldliness intruded. I have done.

CHAPTER I

It was on the eve of a day in the happy month of June, that my great grandfather's carriage, drawn by six hundred and twenty-two white horses, drew up under

the tall palm trees before the gates of the venerable Higgins Lodge, and I was lifted almost fainting from the wearied vehicle. As my grandfather supported my trembling steps into the spacious hall of the lodge, I noticed that another figure had been added to our party. It was that of a man six feet high, and broad in proportion, whose majestic and spacious brow betokened realms of elysian thought and excrescent ideality. His pallid tresses hung in curls down his back, and an American flag floated from his Herculean shoulders. Fixed by a fascination only to be realized by those who have felt so, I cast my piercing glance at him, and my inmost soul knew all his sublimity. It was as though an angel's wing had swept my temples, and left a glittering pinion there.

“Mr. Higgins,” said my grandfather, “here is your ward, Galushianna.”

For an instant silence prevailed.

Then Mr. Higgins said, in tones of exquisitely modulated thunder:

“What did you bring the d-d girl here for, you old cuss you?”

It was as when one sees a strain of music. I remembered the prayers of my dear departed mother when she sought to enlighten my speechless infancy with divine grace, and I felt that I loved this Higgins.

Such is life. We wander through the bowers of love without a thought of the morrow, while the dread vulture of predestination eats into our souls, and cries, “wo! wo!” Truly, earthly happiness is a mockery.

CHAPTER II

Scarcely had I taken my seat in the library after my grandfather had left us, when Mr. Higgins ordered me to black his boots. This I proceeded to do with a haughty air, scarcely daring to hope, but wishing that he would conquer his freezing reserve, and speak to me again. For I was but a child, and my young heart yearned for sympathy.

Presently, Mr. Higgins turned his large gray eyes on me, and said:

“Ha!”

After this, he remained in a thoughtful reverie for two hours, and then turning to me, asked:

“Galushiana, what do you think of me?”

“I think,” replied I, carefully putting the blacking-brush in its place, “that your nature is naturally a noble one, but has been warped and shadowed by a misconceived impression of the great arcane of the universe. You permit the genuflexions of human sin to bias your mind in its estimate of the true economy of creation; thus blighting, as it were, the fructifying evidences of your own abstract being.”

I blushed, and feared I had gone too far.

“Very true,” responded Mr. Higgins, after a moment's pause; “Schiller says nearly the same thing. It was a sense of man's utter nothingness that led me to kill my grandmother, and poison the helpless oil-spring of my elder brother.”

Here Mr. Higgins held down his head and quivered with emotions, as the ocean quakes under the shrieking howl of the blast.

I felt my whole being convulsed, and could not endure the spectacle. I stole softly to the door, and stammered through my tears, "Good-night, Mr. Higgins, I will pray for you."

He did not turn his noble head, but said, in firm tones: "Poor little beast, good night."

I went to my room, but could not sleep. Shortly after half-past two o'clock I crawled noiselessly down to the library-door and looked in. Mr. Higgins still sat before the fire in the same thoughtful position.

"Poor little beast!" I heard him murmur softly to himself "poor little beast!"

CHAPTER III

Let the reader transport himself to a small stone cottage on the Hudson, and he will behold me as I was at the age of twenty-one. I had reached that acme of woman's career when common sense is to her as nothing, and the world with all its follies bursts upon her ravished ears with ten-fold succulence. My grandfather had been dead some fifty years, and I was even thinking of him, when the door opened, and Mr. Higgins entered. I felt my heart palpitate, and was about to quit the room, when he cast a searching glance at me, and said:

"Well, girl are you as big a fool as ever?"

I hung my head, for the tell-tale blush would bloom.

"Come," said Mr. Higgins, "don't speak like a donkey. I'm no priestly confessor. Curse the priests! Curse the world! Curse everybody! Curse everything! And he placed his feet upon the mantel-piece, and gazed meditatively into the fire.

I could hear the beatings of my own heart, and all the warmth of my nature went forth to meet this sublime embodiment of human majesty; yet I dared not speak.

After a short silence, Mr. Higgins took a chew of tobacco, and placing his hand on my shoulder, exclaimed:

"Why should I deceive you, girl? Last night I poisoned my only remaining sister because she would have wed a circus-keeper, and scarcely an hour ago I lost two millions at faro. Your priests would say this was wrong hey?"

I stifled my sobs and said, as calmly as I could:

"Our Church looks at the motive, not the deed. If a high sense of honor compelled you to poison all your relatives and play faro, the sin was rather the effect of vice in others than in your own noble heart, and I doubt not you may be called innocent."

He glanced into the fire a few hours, and then said:

"Go, Galushianna! I would be alone! Go, innocent young scorpion."

Oh, Higgins, Higgins, if I could have died for thee then, I don't know but I should have done it!

CHAPTER IV

Seventy-five years have rolled by since last I met the reader, and I am still a thoughtless girl. But oh, how changed! The raven of despair has flapped his hideous brood over the halls of my ancestors, and taken from them all that once made them beautiful. When I look back I can see nothing before me, and when I look forward I can see nothing behind me. Thus it is with life. We fancy that each hour is a butterfly made to play with, and all is gall and bitterness.

I was chastened by misfortune, and occupied a secluded cavern in the city of New Orleans, when my faithful old nurse entered my dressing-room, and burst into a fit of hysterical laughter.

“Sassafrina!” I exclaimed, half angrily.

“Please don’t be angry, miss,” responded the tried old creature; “but I knew it would come all right at last. I told you Sir Claude Higgins hadn’t married his youngest sister, but you wouldn’t believe me. Now he’s down stairs in the parlor waiting for you.”

And the attached domestic fell dead at my feet.

After hastily putting on a pair of clean stockings and reading a chapter in my mother’s family Bible, I left the room, murmuring to myself, “Be still, my throbbing heart, be still.”

CHAPTER V

When I entered the parlor, Mr. Higgins sat gazing into the fire in an attitude of deep reflection, and did not note my entrance until I had touched him. His disheveled hair hung from his massive temples in majestic discomposure, and an extinguished torch lay smouldering at his glorious feet.

O my soul’s idol! I can see thee now as I saw thee then, with the firelight glowing over thee; like a smile from the cerulean skies!

As I touched him, he awoke.

“Miserable girl!” he exclaimed, in those old familiar tones, drawing me towards him, while a delicious tremor shook my every nerve. “Wretched little serpent! And is it thus we meet? Poor idiot, you are but a woman, and I alas! what am I? Two hours ago, I set fire to three churches, and crushed a sexton with my iron heel. Do you not shrink? ‘Tis well. Then hear me, viper, lovest thee.”

Was it the music of a higher sphere that I smelt, or was I still in this world of folly and sin? And were all my toils, my cares, my heart-breathings, my hope-sobbing, my soul-writhings to end thus gloriously at last in the adoration of a being on whom I lavished all the spirit’s purest gloatings?

My bliss was more than I could endure. Tearing all the hair-pins from my hair and tying my pocket handkerchief about my heaving neck, I flung myself upon his steaming chest.

“MY Higgins!”

“YOUR Higgins!!”

“OUR Higgins!!!”

THE BLISSFUL FINIS

The intellectual women of America draw it rather tempestuously when they try to reproduce gorgeous manhood; but they mean well, my boy, they mean well. Yours, in a brown study,

ORPHEUS C. KERR.

Публикуется по: http://www.archive.org/stream/theorpheus01newerich/theorpheus01newerich_djvu.txt

Questions

1. What were “intellectual women of America” doing, while the Grand Army was making preparations for an advance upon the Southern Confederacy?
2. Why does the narrator speak about women and their attitude to writing?
3. What kind of heroes do women like in the novels written by them, as it is explained by the narrator?
4. What novel does the narrator mention?
5. What is the great difficulty with the “intellectual women of America” as seen by the narrator?
6. How is the “Rochester hero” characterized?
7. What span of time is taken by the woman-writer?

Paraphrase or explain

1. “Long and patient study of womanly works teaches me that woman’s genius, as displayed in gushing fiction, is a power of creating an unnatural and unmitigated ruffian for a hero, my boy, at whose shrine all created crinoline and immense delegations of inferior broadcloth are impelled to bow”.
2. “How the two can assimilate, I do not understand; and my misunderstanding is woefully augmented by the heroine’s frequent expressions of churchliness and the ruffian’s equally frequent outbursts of waggish infidelity”.

3. “Thus it is with life.”

Discussion points

- Give a brief summary of the novel by G. Crushit.
- What perception of men-heroes by a woman author is described at the beginning of the letter?
- Speak on the selection of vocabulary for the letter and the “novel”. What layer of style does the vocabulary belong to?
- What gender features of women’s speech are reflected in the parody “novel”?
- The whole world of a woman is mockingly modeled in the “novel”. What is in the core of it? Who are most important people in the life of a young woman?
- What turns of the plot development of a woman’s novel are described sarcastically? Speak about as many as you can find in the text.
- Speak on the nature of humor in this letter and the “novel”. How is this humorous effect achieved?

Translation exercises

1. Study how the names of the characters are translated into Russian. Is the translation strategy chosen by the translator adequate here? What were other possibilities to render the names in the text of translation?
2. Write out examples where the gender peculiarities of women’s speech are treated ironically. Analyze them and say what produces this ironical effect. How is this effect shown in translation?

Глава 3

Комедия на службе трагедии:

«черный юмор» в литературе американского романтизма

Представителей романтизма в американской литературе XIX века Эдгара По и Германа Мелвилла не принято считать юмористами. Действительно, хотя ряд новелл Э. По вполне можно отнести к сатире, а Г. Мелвилл, с точки зрения своих современников, был в первую очередь остроумным рассказчиком занимательных историй¹, ни тот, ни другой никогда не считали единственной и главной своей целью вызвать смех у читателя. Если комизм и появлялся на страницах произведений этих авторов, то он либо выступал в роли вспомогательного художественного средства, либо становился предварительным условием для размышлений о более серьезных, зачастую трагических темах. Юмор американских романтиков всегда оказывался приправленным горечью боли, страданий и жестокости.

В марте 1849 года за полгода до своей смерти, находясь в сложнейших жизненных обстоятельствах, Э. По опубликовал одно из последних своих произведений – рассказ с легкомысленным и задорным названием «Прыг-Скок» (*Hop-Frog, or, the Eight Chained Ourangoutangs*), который российский исследователь американской литературы А. М. Зверев охарактеризовал как «фирменный знак прозы» этого автора: «В герое этого рассказа не раз находили сходство с самим По, натурой демонической, обреченной, но не покоряющейся своему тягостному жребию»². В том же 1849 году Г. Мелвилл пишет роман «Белый бушлат» (*White-Jacket, or The World in a Man-of-War*), в котором, с одной стороны, автобиографический материал использовался в целях привлечения внимания общественности к положению матросов на американском военно-морском флоте, с другой – эта морская эпопея была своего рода необходимым подготовительным этапом на пути к самому масштабному творческому достижению писателя (которое одновременно обернулось крупной коммерческой неудачей). В обоих произведениях, главные герои которых во многом олицетворяют положение самих авторов в мире, можно выделить как одну из наиболее существенных проблему взаимоотношений художника и толпы. Наиболее емко и категорично она сформулирована в романе Г. Мелвилла: «То, что принято называть публикой, Джек, – просто чудовище, подобное тем, которых мы с вами видели в Овайи, – голова осла, тело бабуина, а хвост как у скорпиона! <...> Публика одно дело, Джек, а народ другое. <...> Публика и народ! Эй, братцы, давайте возненавидим одних и будем держаться других!»³.

Особое значение для развития западной литературы творчество Э. По приобрело отчасти благодаря тому, что он уделял в своих произведениях повышенное внимание психологическим и технологическим проблемам художественного творчества. Уникальность американского романтика состояла в стремлении упорядочить, формализовать и систематизировать правила создания литературных произведений, для того чтобы они наилучшим образом выполняли свою функцию эстетического воздействия на сознание читателя. В эссе «Философия творчества» автор пояснял: «Цель моя – непреложно доказать, что ни один из моментов в его создании [«Ворона»] не может быть отнесен на счет случайности или интуиции, что работа, ступень за ступенью, шла к завершению с точностью и жесткою последовательностью, с какими решают математические задачи»⁴.

Подобный подход – приоритет системы правил перед индивидуальными творческими порывами, скорее всего, является следствием стремления Э. По минимизировать или полностью устранить влияние возможных негативных факторов на процесс художественного мышления, реализацией которого становится произведение искусства. Именно этим можно объяснить особый интерес американского романтика к психическим расстройствам, который часто наблюдается в его новеллах: препарирруя измененные состояния сознания человека, писатель пытался обозначить пределы и препятствия, ограничивающие рациональные формы мышления. В своих литературно-критических работах Э. По неоднократно указывает на то, что повышенная эмоциональность и сильная страсть на самом деле враждебны подлинному свободному художественному творчеству: «...Все сильные волнения, по необходимости физического порядка, кратковременны»⁵; «...принцип этот [поэтический] сам по себе выражает человеческую тягу к неземной красоте, проявляется он неизменно в некоем *возвышающем волнении души*, вполне независимом от опьянения сердца, то есть страсти, или удовлетворения разума, то есть истины. Ибо страсть, увы, склонна, скорее, принижать душу, а не возвышать ее»⁶. Несомненно, в разряд такого рода безумий, замутнений разума, принижаящих душу, должна была попасть и охваченная безудержным смехом толпа вместе с потворствующими ей тиранами-комедиантами.

В работе С. С. Аверинцева «Бахтин, смех, христианская культура», polemизирующей с концепцией карнавальной культуры М. М. Бахтина, оспаривается исключительная благотворность смеха и справедливо указывается на тот факт, что тоталитаризм мог с необыкновенной виртуозностью придавать актам насилия и несвободы привлекательную смеховую форму: «...Чем не карнавал – суд над Богом на комсомольских собраниях? Сколько было молодого, краснощеккого, физкультурного смеха, пробовавшего крепкие зубы на ценностях “старого

мира”!»⁷. Тираны никогда не гнушались использовать юмор в качестве эффективного психологического инструмента, превращающего личность в часть ликующей толпы. Веселые кинокомедии снимались и в сталинском Советском Союзе, и в гитлеровской Германии: «Примеров самой прямой связи между смехом и насилием, между карнавалом и авторитарностью слишком много»⁸.

Ссылаясь на немецкий исторический опыт, С. С. Аверинцев говорит о том, что тирания держится не только на страхе и насилии, в качестве пряника она предоставляет человеку мнимую свободу от необходимости соблюдать слишком сложные правила и самому решать трудные задачи: «Тоталитаризм противопоставляет демократии не только угрозу террора, но и соблазн снятия запретов, некое ложное освобождение; видеть в нем только репрессивную сторону – большая ошибка. Применительно к немецкому национал-социализму Т. Манн в своей новелле «Закон» подчеркивает именно настроение оргии, которая есть “мерзость пред Господом”; в стилизованном пророчестве о Гитлере говорится как о совратителе мнимой свободой (от закона)»⁹.

Таким образом, если ограничивающий себя правилами художник остается таковым лишь до тех пор и в той мере, в какой он их соблюдает, то толпа встречает отмену правил и ограничений ликованием, разражаясь веселым смехом.

Возможность использования смеха в качестве инструмента подавления личности обуславливается тем, что он одновременно является и телесной реакцией, и духовной. При этом нередко телесность очень легко побеждает и подменяет духовность: «...Смех есть событие сугубо динамическое – одновременно движение ума и движение нервов и мускулов: порыв, стремительный как взрыв...»¹⁰. Материально-телесная природа смеха допускает его использование, во-первых, для ослабления личностного начала в человеке, во-вторых, для сплачивания индивидов в толпу и осуществления эффективного социального контроля, в-третьих, для выведения на первый план биологических аспектов человеческого существования.

С. С. Аверинцев, упоминая такие фразеологизмы, как «неудержимый смех», «невольный смех» и «взрыв смеха», обращает внимание на опасность превращения смеющейся аудитории в объект манипуляций: «Смех как автоматическая реакция нервов и мускулов, которой можно манипулировать, что и делается публично на любом комическом представлении; смех как эффект, который можно с намерением вызвать, словно нажимая невидимую кнопку, – все это далеко от торжества личного начала... При достаточно сильном порыве смеха мы смеемся «неудержимо»; лучше всего соответствует своему понятию смех «невольный», «непроизвольный», т. е. временно отменяющий действие нашей личной воли. Личную волю вообще не спрашивают, она тут ни при чем. Смех относится к разряду состояний, обозначаемых на языке греческой фило-

софской антропологии как $\lambda\acute{\alpha}\theta\eta$, – не то, что я делаю, а то, что со мной делается»¹¹.

Становясь объектом манипуляций, личность теряет свою самостоятельность и сливается с общей массой, в результате из разнообразия индивидов формируется некая обезличенная толпа, испытывающая абсолютно одинаковые чувства и выражающая одинаковые эмоции. Смеется всегда большинство, а немногочисленные нонконформисты чувствуют себя при этом очень неудобно: «...Своей силой навязывать непонятые и непонятные, недосказанные и недосказуемые мнения и суждения, представления и оценки, терроризируя колеблющихся тем, что французы называют *reug du ridicule*, – такая способность для смеха весьма характерна, и любой авторитаризм ей энергично пользуется. Смехом можно заткнуть рот как кляпом. Вновь и вновь создается иллюзия, что нерешенный вопрос давно разрешен в нужную сторону, а кто этого еще не понял, отсталый растяпа – кому охота самоотождествляться с персонажем фарса или карикатуры?»¹²

Для осуществления насилия над человеческой природой ее необходимо унизить, то есть перевести на более низкий примитивный уровень, уровень анатомии и физиологии. Эффективное использование физиологичности смеха – залог успеха любого комического представления: «Мы по опыту знаем, сколько раз совесть ловила нас на незаметных подменах предметов смеха, на внутренних отступничествах и сдвигах духовной позиции, которые именно смех делал возможными. Уже то определяющее для феноменологии смеха вообще обстоятельство, что нервно-мышечная реакция, разбуженная мыслью, подхватывает порыв мысли и тут же перехватывает у нее инициативу – мы только что смеялись, потому что находили мысль смешной, и вот мы уже находим другую мысль смешной, потому что продолжаем смеяться, – уже оно облегчает любые подмены. В смехе сознание и бессознательное непрерывно провоцируют друг друга и обмениваются ролями с такой быстротой, с какой передается мяч в игре»¹³.

Неотъемлемая биологическая составляющая смеха определяет и то, что неизменно наибольшим успехом у публики пользуются темы, связанные с материально-телесными аспектами человеческой жизни. Во времена Э. По большими тиражами выходили псевдонаучные журналы, в которых красочно описывались всевозможные патологии, неудачные хирургические операции или занимательные медицинские казусы. В рассказе «Прыг-Скок» и одной из глав романа «Белый бушлат» «Операция» читатель знакомится с комическими представлениями подобного рода: в новелле Э. По шут, которого король оценивает особенно высоко, потому что он еще и карлик, советует своему хозяину принять облик обезьяны (орангутанга); в романе Г. Мелвилла судовой хирург Кьютикл исклю-

чительно ради собственного развлечения и демонстрации своих выдающихся профессиональных навыков ампутирует ногу раненного матроса; операция, закончившаяся смертью пациента, сопровождается рассказами врача о курьезных случаях из его практики.

Фигуры организаторов вульгарных зрелищ в произведениях этих американских писателей во многом совпадают. Оба наделены высоким социальным статусом и непререкаемым авторитетом, оба склонны к творчеству и изобретательности, в их понимании этого слова, что вызывает восхищение со стороны подчиненных: «Я не знал другого такого любителя пошутить, как покойный король. Казалось, он только ради этого и живет. Рассказать ему хорошую историю в шутовском роде, да еще хорошо рассказать, значило вернейшим образом снискать его расположение. Оттого и оказалось так, что все семь его министров славились как шутники»¹⁴; «Молодые люди, их помощники, были очень возбуждены и то и дело с трепетом поглядывали на столь великого знатока своего дела, как достопочтенный Кьютикл. “Говорят, он может отхватить ногу за минуту и десять секунд. Это с момента, когда нож прикоснется к коже,” – шепнул один другому»¹⁵. И, самое главное, оба персонажа строят свой публичный успех на страданиях бесправных людей.

Но в этих же произведениях представлен способ художественного переосмысления актов насилия, заключенных в капсулу вульгарного смеха. Английский философ Т. Гоббс считал смех уделом малодушных людей, при определении этой формы эмоциональной реакции он, в частности, говорит: «Внезапная слава есть страсть, производящая те гримасы, которые называются смехом. Она вызывается у людей или каким-нибудь их собственным неожиданным действием, которое им понравилось, или восприятием какого-либо недостатка или уродства у другого, по сравнению с чем они сами неожиданно возвышаются в собственных глазах. Эта страсть свойственна большей частью тем людям, которые сознают, что у них очень мало способностей, и вынуждены для сохранения уважения к себе замечать недостатки у других людей. Вот почему много смеяться над недостатками других есть признак малодушия. Ибо людям, обладающим душевным величием, свойственно помогать другим и избавлять их от насмешек, а себя сравнивать лишь с наиболее способными»¹⁶. Иными словами, низменность и жестокость смеха основывается на чувстве превосходства осмеивающего над осмеиваемым и установлении субъектно-объектных отношений. Однако средства художественной литературы позволяют обратить малодушный смех против самого себя и вывести сознание человека из-под власти ложных иерархических отношений.

В романе Г. Мелвилла доктор Кьютикл, прежде чем приступить к операции (то есть ампутировать у своего пациента ногу, после чего последний умрет)

проводит следующие манипуляции с собственным телом: «...Он стащил с себя парик и накрыл им шпиль батарейной палубы, затем, вынув вставные зубы, положил их рядом с париком и напоследок, приставив указательный палец к внутреннему краю глазницы, с профессиональной ловкостью избавился и от своего стеклянного глаза, который занял место рядом с париком и зубами. Расставшись таким образом почти со всем, что в нем было искусственного, флагманский врач или, вернее, то, что от него осталось, встряхнулся, проверяя, не найдется ли еще, от чего можно было бы освободиться для пользы дела»¹⁷. То есть читателю дают понять, что тот, кто будет проводить блестящую с точки зрения профессионального мастерства операцию, сам в свое время попадал в руки таких же виртуозов, как и он сам, и стал живой иллюстрацией результатов работы своих коллег. (В одном из рассказов Э. По «Человек, которого изрубили в куски. Повесть о последней Бугабуско-Кикапуской кампании» (The Man that was used up. A tale of the Late Bugaboo and Kickaroo Campaign, 1839) описана встреча с генералом, героем войны с индейцами, которого слуга каждое утро собирал из протезов. В разобранном виде этот персонаж представлял собой жалкую грудку обломков, зато в рабочем состоянии он был почтенным членом общества). Аналогичная ситуация в рассказе «Прыг-Скок»: читатель становится свидетелем того, как монарх, задумавший подшутить над своими приближенными, сам становится жертвой очень жестокого розыгрыша.

Подобная повествовательная структура текстов ставит читателя в двусмысленную ситуацию: в художественное пространство включены и жертва глупой и жестокой шутки, и ее автор, и публика, получающая от этого удовольствие. В результате читатель занимает позицию смеющегося над смеющимися, которая сама по себе допускает наличие как минимум еще одного уровня восприятия, на котором уже сам отстраненный наблюдатель может оказаться объектом насмешки. Авторы внушают получающей удовольствие публике мысль о том, что любой смех подразумевает, в первую очередь, смех над самим собой. Это частный случай ситуации, о которой говорил Х. Л. Борхес в рассказе «Скрытая магия в “Дон Кихоте”»: «Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем “Дон Кихота”, а Гамлет – зрителем “Гамлета”? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены»¹⁸.

Наряду с сугубо эстетическим отношением к смеху и смеющимся людям для американских писателей имело еще и социально-политический, а также нравственный смысл. У представителей элиты и больших масс людей, образующих толпу, есть одно общее свойство – ощущение собственной силы порождает у них мнимое чувство неуязвимости, прямым следствием которого становится

атрофия способности к сопереживанию и сочувствию, желанию и умению поставить себя на место человека, страдающего от боли и унижения. Как указывает Г. Мелвилл, именно высокий уровень профессиональной квалификации превращает его героя из врача в бесчувственного монстра: «...Ничто не могло превзойти его хладнокровия, когда он занимался своим непосредственным делом. Среди криков и воплей, видя перед собой лица, искаженные болью, он сохранял спокойствие почти сверхъестественное. И если только крайняя интересность операции не окрашивала его бледное лицо мгновенным румянцем профессионального энтузиазма, он трудился над пациентом, не обращая ни малейшего внимания на жесточайшие мучения того, кто попал под его нож, нож флагманского хирурга. В самом деле, многолетняя привычка к прозекторской и к операционному столу, по-видимому, сделали его глухим к обычным человеческим эмоциям. Однако нельзя сказать, что Кьютикл по природе своей был жесток. Его мнимое бессердечие, надо думать, было следствием его научной точки зрения. Пожалуй, он не убил бы даже мухи, если бы только под рукой у него случайно не оказался микроскоп достаточно сильный, чтобы дать ему возможность поэкспериментировать над мельчайшими жизненными органами этого существа. <...> Как только в руке у него оказывался нож, он сбрасывал личину и перед вами предстал безжалостный хирург. Таков был Кэдуолэддер Кьютикл, наш флагманский врач»¹⁹.

Еще большими опасностями ложное ощущение неуязвимости чревато в условиях демократического общества – люди, объединенные смутно очерченными убеждениями и сомнительными авторитетами, нередко оказываются во власти предрассудков и предубеждений, которые глухой стеной отгораживают их от голоса разума, совести и милосердия. По мнению Г. Мелвилла, демократия сама по себе является лишь инструментом, точно таким же, как хирургический скальпель, нужны определенные личные (а не только профессиональные) качества, чтобы в процессе его использования не причинить вред себе и другим. Поэтому нет ничего более опасного, чем демократия, погрязшая в иллюзиях и стереотипах, с притупившейся способностью непосредственного восприятия окружающей действительности.

С точки зрения воздействия на эмоциональную сферу личности наиболее продуктивным риторическим приемом является сочетание противоположностей – трагического и комического, контрастные образы постоянно перемещают читателя от беспросветного отчаяния к лучезарному оптимизму и обратно, выводят из состояния равнодушия, застоя, пробивая глухую стену, за которой он укрывался от мрачных сторон действительности. Подлинная демократичность Э. По и Г. Мелвилла заключается в том, что они, воспроизводя примитивно-развлекательную форму образцов массовой культуры своего времени, стремились

к превращению публики, объединенной зрелищностью и весельем, в людей, способных поставить себя на место жертв этого веселья и, как говорил сам Мелвилл, «контрабандой распространить среди массовой аудитории лишенный фальшивого оптимизма взгляд на окружающий ее мир»²⁰.

Система художественных приемов, выработанных американскими романтиками, была нацелена на преодоление пагубных последствий злоупотребления юмором и зрелищностью. Одна из центральных идей в концепции литературного творчества Э. По – тщательная проработанность эмоционально-эстетического содержания художественного произведения, которое он рассматривал как состоящее из разноуровневых и разнонаправленных компонентов. Чтобы конструкция художественного произведения не распадалась на части, она должна быть одновременно сбалансированной и жесткой, смыкая крайности и объединяя противоположности. Такими противоположностями в рассказе «Прыг-Скок» и главе «Операция» из романа «Белый бушлат» можно считать псевдотворческую тиранию представителей элиты, имеющих склонность к вульгарным зрелищам, и свободное творчество, носителями которого становятся представители униженных и бесправных слоев общества. В данном случае обе стороны обращаются к юмору, но если для одних смех – это примитивное, легко контролируемое животное проявление бездумного удовольствия, утверждающее чувство собственного превосходства и укрепляющее их деспотию, то для других он результат сложного интеллектуального процесса осмысления скорее темных, чем светлых сторон человеческого существования. В произведениях Г. Мелвилла и Э. По грубый комизм дополняется трагизмом и проникновенной лиричностью: карикатурное изображение хирургической операции заканчивается величественно-спокойным описанием обряда похорон погибшего матроса в «Белом бушлате», в рассказе «Прыг-Скок» способностью к глубоким чувствам и самоотверженной любви оказывается наделен шут-карлик. Проходя через процедуру очищения болью и страданиями, примитивный грязный юмор складывается в сложную интеллектуальную конструкцию, которая освобождает своих читателей от эмоционального диктата вульгарного юмора и побуждает их к самокритичному взгляду, приучая смеяться над злом в любых его проявлениях, в том числе и над собственным злым смехом.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Mushabac J. Melville's humor: a critical study. Hamden, Connecticut: Anchor books (Shoestring Press), 1981.

² История литературы США. Литература середины XIX в. (поздний романтизм). М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 2000. Т. 3. С. 220.

³ Мелвилл Г. Белый Бушлат. Л.: Наука, 1973. С. 159.

- ⁴ По Э. Избранное: Стихотворения; Проза; Эссе. М.: Худож. лит., 1984. С. 641.
- ⁵ Там же. С. 642.
- ⁶ Там же. С. 667.
- ⁷ Аверинцев С. С. Бахтин, смех, христианская культура // М. М. Бахтин как философ. М.: Наука, 1992. С. 14.
- ⁸ Там же. С. 15.
- ⁹ Там же. С. 17.
- ¹⁰ Там же. С. 7.
- ¹¹ Там же. С. 9.
- ¹² Там же. С. 15.
- ¹³ Там же. С. 12.
- ¹⁴ По Э. Полное собрание рассказов. СПб.: Кристалл, 2000. С. 897.
- ¹⁵ Мелвилл Г. Белый Бушлат. С. 218.
- ¹⁶ Гоббс Т. Соч.: в 2 т. М.: Мысль, 1991. Т. 2. С. 44.
- ¹⁷ Мелвилл Г. Белый Бушлат. С. 211.
- ¹⁸ Борхес Х. Л. Соч.: в 3 т. М.: Полярис, 1997. Т. 2. С. 44.
- ¹⁹ Мелвилл Г. Белый Бушлат. С. 205.
- ²⁰ Bryant J. Melville and Repose: The Rhetoric of Humor in the American Renaissance. N. Y.: Oxford University Press, 1993. P. 23.

Прыг-Скок

Я не знал другого такого любителя пошутить, как покойный король. Кажется, он только ради этого и живет. Рассказать ему хорошую историю в шутилом роде, да еще хорошо рассказать, значило вернейшим образом снискать его расположение. Оттого и оказалось так, что все семь его министров славились как шутники. Они походили на короля и тем, что все были тучные, гладкие мужчины, равно как и неподражаемые шутники. То ли люди тучнеют от шуток, то ли в самой тучности заключено нечто предрасполагающее к шутивости, я никогда не мог в точности определить; но, без сомнения, тощий шутник – *gaga avis in terris* [Редкая птица на земле (лат.).].

Относительно изысков или, как он выражался, «кудреватости» остроумия король очень мало беспокоился. Он особенно ценил размах шутки и ради него мирился с ее длиннотами. Он бы предпочел «Пантагрюэля» Рабле Вольтеру «Задигу», и, в общем, грубые проказы куда более отвечали его вкусу, нежели словесные остроты.

В пору, к которой относится мое повествование, профессиональные шуты еще не вполне вышли из моды при дворах. Некоторые из великих континентальных «самодержцев» все еще заводили шутов в дурацких колпаках и соответственных нарядах, и в службу им вменялось в любой момент быть наготове и остричь ради крох с королевского стола.

Наш король, само собой разумеется, не отказался от «дурака». Дело в том, что ему требовалось нечто глупое – хотя бы для того, чтобы уравновесить весомую мудрость семерых мудрецов, служивших ему министрами, не говоря уж о нем самом.

Его дурак, или профессиональный шут, однако, не был только шутом. В глазах короля ценность его утраивалась тем, что он был вдобавок карлик и калекка. В те дни карлики встречались при дворах так же часто, как и шуты; и многие самодержцы сочли бы затруднительным коротать дни (а дни при дворе тянутся несколько долее, нежели где-нибудь еще), не имея разом и шута, с кем смеяться, и карлика, над кем, смеяться. Но, как я ранее заметил, шутят в девяноста девяти случаях из ста неповоротливые толстяки – и оттого король был в немалой мере доволен собою, ибо принадлежавший ему Прыг-Скок (так звали дурака) являл собою тройное сокровище в одном лице.

Наверное, имя «Прыг-Скок» ему не дали при крещении, но единогласно присвоили семь министров ввиду его неспособности двигаться, как все. Прыг-Скок был в силах перемещаться лишь рывками, вприпрыжку, не то скача, не то виляя, чем, по мнению некоторых, напоминал лягушонка – и движение это бесконечно развлекало и утешало короля, ибо (невзирая на то, что его распирало от жира и самодовольства) весь двор считал короля мужчиною хоть куда.

Но хотя Прыг-Скок из-за уродливых нижних конечностей мог передвигаться лишь с великим трудом как на улице, так и в помещении, руки его, видимо, были наделены поразительною силою, как будто природа решила возместить изъян его ног, дав ему возможность совершать всяческие чудеса ловкости там, где оказались бы деревья, веревки или все, по чему можно карабкаться. При подобных упражнениях он скорее напоминал белку или мартышку, нежели лягушонка.

Не могу в точности сказать, откуда он был родом, но из какого-то варварского края, о котором никто никогда не слыхал, весьма отдаленного от двора нашего короля. Прыг-Скок и юная девушка, тоже карлица, лишь немногим по величине его превосходящая (хотя изящно сложенная и чудесная танцовщица), были силою отторгнуты от своих семейств в сопредельных провинциях и посланы в дар королю одним из его неизменно победоносных полководцев.

Не удивительно, что при подобных обстоятельствах между маленькими пленниками завязалась тесная дружба. Очень скоро они сделались близкими друзьями. Хотя Прыг-Скок и шутил всюду, но его не любили, и он мало чем был в силах помочь Пушинке, но ею благодаря ее грациозности и очаровательной прелести все восхищались, ласкали ее, так что она завоевала большое влияние; и при любой возможности употребляла его на пользу шуту.

В какой-то большой праздник, не припомню, в какой именно, король решил устроить маскарад, а когда маскарад или нечто подобное имело быть при нашем дворе, то обыкновенно призывали на помощь дарования и шута и танцовщицы. Прыг-Скок в особенности был столь изобретателен в измышлении всяческих потешных шествий, придумывании новых персонажей и сочинении костюмов для маскированных балов, что, казалось, без его участия ничего и сделать было нельзя.

Подошел вечер, назначенный для празднества. Под наблюдением Пушинки роскошную залу обставили всем, способным придать блеск маскараду. Весь двор ожидал его с нетерпением. Что до костюмов и масок, то можно смело предположить, что каждый что-нибудь придумал. Многие выбрали себе роли за неделю, а то и за месяц; и дело обстояло так, что в этом смысле все приняли какое-то решение – кроме короля и семи его министров. Почему мешкали они, не могу вам сказать, разве что шутки ради. Более вероятно, что они затруднялись на чем-либо остановиться из-за своей изрядной толщины. Во всяком случае, время шло; и в виде последнего средства они позвали танцовщицу и шута.

Когда два маленьких друга явились на зов короля, то увидели, что он сидит и пьет вино с семьёю министрами; но государь, видимо, пребывал в весьма дурном расположении духа. Он знал, что Прыг-Скок не любит вина; ибо оно доводило бедного уродца почти до исступления; а исступление – чувство не из приятных. Но его величество любил пошутить, и его забавляло, когда Прыг-Скок по его принуждению пил и (как выражался король) «веселился».

– Поди сюда, Прыг-Скок, – сказал он, как только шут со своею приятельницей вошли в комнату, – выпей-ка этот бокал за здоровье твоих далеких друзей (тут Прыг-Скок вздохнул), а потом порадуй нас своими выдумками. Нам нужны

костюмы – понимаешь, костюмы для маскарада, – что-нибудь новенькое, из ряда вон выходящее. Нам наскучило это вечное однообразие. А ну, пей! Вино прояснит тебе ум.

Прыг-Скок попытался, по обыкновению, отшутиться, но не мог. Случилось так, что как раз был день рождения несчастного карлика, и приказ выпить за «далеких друзей» вызвал у него слезы. Много крупных, горьких капель упало в кубок, пока он брал его из рук тирана.

– А! Ха! Ха! Ха! - захохотал тот, когда карлик с неохотой осушил чашу. – Видишь, что может сделать бокал хорошего вина! Да глаза у тебя прямо-таки заблестели!

Бедняга! Его большие глаза скорее сверкали, а не блестели; ибо вино оказало на его легко возбудимый мозг действие столь же сильное, сколь и мгновенное. Он нервно поставил кубок и обвел собравшихся полубезумным взором. Всех, видимо, позабавила удачная королевская «шутка».

– А теперь к делу, – сказал премьер-министр, очень толстый мужчина.

– Да, – сказал король. – Ну-ка, Прыг-Скок, помоги нам. Нам нужны характерные костюмы, молодец ты мой; всем нам не хватает характера, всем! Ха! Ха! Ха! – И так как король всерьез считал это шуткою, семерка начала ему вторить. Прыг-Скок тоже засмеялся, но слабо и как бы машинально.

– Ну, ну, – с нетерпением сказал король, – неужели ты ничего не можешь нам предложить?

– Я пытаюсь придумать что-нибудь новенькое, – отвечал карлик рассеянно, ибо вино совсем помутило его рассудок.

– Пытаешься! – свирепо закричал тиран. – Что значит – пытаешься? А, понимаю. Ты не в себе и хочешь еще вина. А ну-ка, выпей!

И он до краев налил бокал и протянул калеке, а тот, задыхаясь, отупело смотрел на него.

– Пей, говорят тебе, – заорал изверг. – Не то, черт меня дери...

Карлик замялся. Король побагровел от бешенства. Придворные захихикали. Пушинка, мертвенно-бледная, бросилась к креслу государя и, пав перед ним на колени, умоляла пощадить ее друга.

Несколько мгновений тиран смотрел на нее, явно изумляясь ее дерзости. Он словно растерялся, не зная, что делать или говорить, как наилучшим образом выразить свое возмущение. Наконец, не проронив ни звука, он отшвырнул ее и выплеснул содержимое наполненного до краев кубка прямо ей в лицо.

Несчастливая едва могла подняться и, не смея даже вздохнуть, возвратилась на свое место в конце стола.

Около полуминуты царила такая мертвая тишина, что можно было бы услышать, как падает лист или перо. Ее нарушил тихий, но резкий скрежет, который, казалось, доносился изо всех углов разом.

– Ты – ты – ты – ты это зачем? – спросил король, яростно поворачиваясь к шуту.

Тот, казалось, в значительной степени оправился от опьянения и, пристально, но спокойно глядя прямо в лицо тирану, лишь воскликнул:

– Я, я? Да как бы я мог?

– Звук, вероятно, шел снаружи, – заметил один из придворных. – По-моему, это попугай у окна точил клюв о прутья клетки.

– И в самом деле, – отозвался король, как бы весьма успокоенный этим предположением, – но, клянусь моей рыцарскою честью, я готов был дать присягу, что скрежетал зубами этот бродяга.

Тут карлик рассмеялся (король был слишком завзятый шутник, чтобы возражать против чьего-либо смеха) и выставил напоказ большие, крепкие и весьма безобразные зубы. Более того, он изъявил совершенную готовность выпить столько вина, сколько заблагорассудится государю. Монарх утихомирился; и, осушив без особо заметных дурных последствий еще кубок, Прыг-Скок сразу и с воодушевлением занялся маскарадными планами.

– Не знаю, какова тут связь, – заметил он, очень спокойно и с таким видом, словно вовсе и не пил, – но тотчас после того, как ваше величество изволили ударить девчонку и выплеснуть вино ей в лицо, тотчас же после того, как ваше величество изволили это сделать и, покамест попугай за окном издавал эти странные звуки, пришла мне в голову одна отменная потеха, одна из забав у меня на родине – у нас на маскарадах ее часто затевают, но здесь она будет совершенно внове. Однако, к сожалению, для нее требуются восемь человек и...

– Пожалуйста! – вскричал король и засмеялся, радуясь тому, с какою проницательностью заметил совпадение. – Ровным счетом восемь – я и семеро моих министров. Ну! Так что же это за потеха?

– Называется она, – отвечал уродец, – Восемь Скованных Орангутангов, и при хорошем исполнении смеху не оберешься.

– Мы ее исполним, – заметил король, приосанясь и подмигивая обоими глазами.

– Прелесть игры, – продолжал Прыг-Скок, – заключается в страхе, который она вызывает у женщин.

– Славно! – хором проревели монарх и его министры.

– Я выряжу вас орангутангами, – пояснил свою идею карлик, – уж представьте это мне. Сходство будет так разительно, что на маскараде все примут вас за настоящих зверей – и, разумеется, их ужас не уступит по силе их потрясению.

– Ох, это восхитительно! – воскликнул король. – Прыг-Скок! Я озолочу тебя.

– Цепи надобны для того, чтобы лязгом усилить переполох. Предполагается, что все вы сбегали от ваших сторожей. Ваше величество не в силах представить, какой эффект производят на маскараде восемь орангутангов, которых почти все присутствующие сочтут за настоящих, когда они с дикими воплями ворвутся в толпу изящно и роскошно одетых кавалеров и дам. Контраст неподражаем.

– Уж конечно, – сказал король; и все торопливо поднялись с мест, времени оставалось немного, дабы приступить к осуществлению замысла, предложенного шутком.

Его способ экипировки был весьма прост, но для его цели достаточен. В эпоху, о которой идет речь, орангутангов очень редко видели в какой-либо части цивилизованного мира, и, так как наряды, предложенные карликом, делали ряженых достаточно похожими на зверей и более чем достаточно гадкими, то их верность природе сочли обеспеченной.

Король и министры сперва облачились в плотно облегающие сорочки и панталоны в виде трико. Затем одежду пропитали дегтем. Тут кто-то предложил перья; но предложение было тотчас же отвергнуто карликом, который быстро убедил всех восьмерых посредством наглядной демонстрации, что шерсть такой твари, как орангутанг, гораздо более успешно изобразит льняная кудель. И соответственно толстым слоем кудели облепили слой дегтя. Затем достали длинную цепь. Сперва ею опоясали короля и завязали ее; за ним – одного из министров и тоже завязали; и всех остальных – по очереди, подобным же образом. Когда с этим было покончено, король и министры отошли как можно дальше один от другого, образуя круг; и ради большей натуральности Прыг-Скок протянул остаток цепи крест-накрест поперек круга, как в наши дни делают на Борнео охотники на шимпанзе и других крупных обезьян.

Маскарад имел быть в большой круглой зале, очень высокой и пропускающей свет солнца только через люк в потолке. По вечерам (то есть в ту пору, на которую зала специально была рассчитана) ее освещала главным образом большая люстра, свисающая на цепи из середины люка; как водится, люстру поднимали и опускали при помощи противовеса, но (чтобы не портить вида) он помещался снаружи за куполом.

Залу убирали под наблюдением Пушинки, но, видимо, в некоторых частностях она следовала рассудительным советам своего друга-карлика. По его предложению в этот вечер люстру убрали. Капли воска (а в такой вечер их было решительно невозможно избежать) нанесли бы основательный ущерб пышным нарядам гостей, которые при большом скоплении не могли бы все держаться в стороне от центра залы, то есть не под люстрой. В разных частях залы, так, чтобы не мешать гостям, добавили кенкетов; и в правую руку каждой из пятидесяти или шестидесяти кариатид вставили по факелу, пропитанному благовониями.

Восемь орангутангов, следуя совету шута, терпеливо дожидались полуночи (когда зала должна была до отказа наполниться масками), прежде чем появиться на людях. Но не успел еще замолкнуть бой часов, как они ворвались или, вернее, вкатились все разом, ибо цепи мешали им, отчего при входе каждый из них споткнулся, а некоторые упали.

Среди гостей поднялась невероятная тревога, исполнившая сердце короля восторгом. Как и ожидали, многие из присутствующих поверили, будто эти свирепого вида твари - и в самом деле какие-то звери, хотя бы и не орангутанги. Многие женщины от страха лишились чувств, и если бы король не позаботился запретить в зале ношение оружия, то он с министрами мог бы очень быстро заплачивать за свою потеху кровью. А так - все ринулись к дверям; но король приказал запереть их сразу после его появления, и, по предложению шута, ключи отдали ему.

Когда смятение достигло апогея и каждый думал только о собственной безопасности (а давка в перепуганной толпе и в самом деле представляла немалую и подлинную опасность), можно было заметить, что цепь, которую втянули, убрав люстру, начала очень медленно опускаться, пока крюк на ее конце не повис в трех футах от пола.

Вскоре после этого король и семеро его друзей, враскачку пройдя по зале во всех направлениях, наконец остановились на ее середине и, разумеется, в непосредственном соприкосновении с цепью. Пока они стояли подобным образом, карлик, неслышно следовавший за ними по пятам, подстрекая их поддерживать сумятицу, схватил их цепь в том месте, где две ее части пересекались в центре и под прямым углом. Туда со скоростью мысли он продел крюк, с которого обычно свисала люстра; и тотчас некая невидимая сила потянула цепь от люстры так высоко вверх, что крюк оказался вне пределов досягаемости, и, как неизбежное этому следствие, орангутанги очутились очень близко друг от друга и лицом к лицу.

К тому времени гости в какой-то мере оправились от испуга; и, начиная понимать, что все происшествие – тщательно обдуманная проказа, громко захотали над положением, в какое попали обезьяны.

– Предоставьте их мне! – закричал Прыг-Скок, легко перекрывая шум своим резким, пронзительным голосом. – Предоставьте их мне. По-моему, я их знаю. Взглянуть бы хорошенько, и уж я-то скажу вам, кто они такие.

Тут он ухитрился по головам толпы добраться к стене; выхватив у кариакиды факел, он тем же самым путем возвратился на середину залы, с ловкостью мартышки вспрыгнул на голову королю, оттуда вскарабкался на несколько футов вверх по цепи и опустил факел, рассматривая орангутангов и по-прежнему крича: «Уж я-то сейчас узнаю, кто они такие!»

И пока все сборище (включая обезьян) корчилось от смеха, шут вдруг пронзительно свистнул; цепь рывком взлетела футов на тридцать – и с нею орангутанги, которые в отчаянии барахтались между полом и люком в потолке.

Прыг-Скок, держась за цепь, оставался на том же расстоянии от мнимых обезьян и по-прежнему (как ни в чем не бывало) тыкал в них факелом, как бы пытаясь разглядеть, кто они.

При этом взлете все были настолько повержены в изумление, что с минуту стояла мертвая тишина. Ее нарушил тот же самый тихий, резкий скрежет, что привлек внимание советников и короля, когда тот выплеснул вино в лицо Пушкинке. Но сейчас не могло быть никакого сомнения, откуда исходил звук. Его издавали клыкообразные зубы карлика, и он с пеной у рта скрипел и скрежетал зубами и с маниакальным исступлением, жадно смотрел на запрокинутые лица короля и семи его спутников.

– Ага! – наконец сказал разъяренный шут. – Ага! Теперь я начинаю понимать, кто они такие! – Тут, делая вид, что он хочет рассмотреть короля еще более пристально, карлик поднес факел к облепывшему короля слою кудели, и та мгновенно вспыхнула ярким и жгучим пламенем. Менее чем в полминуты все

восемь орангутангов бешено запылали под вопли сраженной ужасом толпы, которая смотрела на них снизу, не в силах оказать им ни малейшей помощи.

Понемногу языки пламени, усиливаясь, вынудили шута вскарабкаться выше по цепи; и при его движении все снова на краткий миг погрузились в молчание. Карлик воспользовался им и снова заговорил:

– Теперь я хорошо вижу, – сказал он, – какого сорта люди эти ряженные. Это могущественный король и семеро его тайных советников, король, который не стесняется ударить беззащитную девушку, и семеро его советников, которые потакают его гнусной выходке. Что до меня, я всего-навсего Прыг-Скок, шут – и это моя последняя шутка.

Ввиду высокой воспламеняемости кудели и дегтя, на которой она была наклепана, карлик едва успел закончить свою краткую речь, как месть совершилась. Восемь трупов раскачивались на цепях – смрадная, почерневшая, омерзительная, бесформенная масса. Уродец швырнул в них факелом, вскарабкался, не торопясь, к потолку и скрылся в люке.

Предполагают, что Пушинка, ожидавшая его на крыше, была сообщницей своего друга в его огненном мщении и что им вместе удалось бежать к себе на родину, ибо их более не видели.

Перевод В.Рогова

Публикуется по: По Э. Полное собрание рассказов. М.: Наука, 1970.

Hop-Frog

I never knew anyone so keenly alive to a joke as the king was. He seemed to live only for joking. To tell a good story of the joke kind, and to tell it well, was the surest road to his favor. Thus it happened that his seven ministers were all noted for their accomplishments as jokers. They all took after the king, too, in being large, corpulent, oily men, as well as inimitable jokers. Whether people grow fat by joking, or whether there is something in fat itself which predisposes to a joke, I have never been quite able to determine; but certain it is that a lean joker is a *rara avis in terris*.

About the refinements, or, as he called them, the “ghost” of wit, the king troubled himself very little. He had an especial admiration for breadth in a jest, and would often put up with length, for the sake of it. Over-niceties wearied him. He would have preferred Rabelais’ “Gargantua” to the “Zadig” of Voltaire: and, upon the whole, practical jokes suited his taste far better than verbal ones.

At the date of my narrative, professing jesters had not altogether gone out of fashion at court. Several of the great continental “powers” still retain their “fools,” who wore motley, with caps and bells, and who were expected to be always ready with sharp witticisms, at a moment’s notice, in consideration of the crumbs that fell from the royal table.

Our king, as a matter of course, retained his “fool”. The fact is, he required something in the way of folly – if only to counterbalance the heavy wisdom of the seven wise men who were his ministers – not to mention himself.

His fool, or professional jester, was not only a fool, however. His value was trebled in the eyes of the king, by the fact of his being also a dwarf and a cripple. Dwarfs were as common at court, in those days, as fools; and many monarchs would have found it difficult to get through their days (days are rather longer at court than elsewhere) without both a jester to laugh with, and a dwarf to laugh at. But, as I have already observed, your jesters, in ninety-nine cases out of a hundred, are fat, round, and unwieldy – so that it was no small source of self-gratulation with our king that, in Hop-Frog (this was the fool’s name), he possessed a triplicate treasure in one person.

I believe the name “Hop-Frog” was not that given to the dwarf by his sponsors at baptism, but it was conferred upon him, by general consent of the several ministers, on account of his inability to walk as other men do. In fact, Hop-Frog could only get along by a sort of interjectional gait – something between a leap and a wriggle – a movement that afforded illimitable amusement, and of course consolation, to the king, for (notwithstanding the protuberance of his stomach and a constitutional swelling of the head) the king, by his whole court, was accounted a capital figure.

But although Hop-Frog, through the distortion of his legs, could move only with great pain and difficulty along a road or floor, the prodigious muscular power which nature seemed to have bestowed upon his arms, by way of compensation for

deficiency in the lower limbs, enabled him to perform many feats of wonderful dexterity, where trees or ropes were in question, or any thing else to climb. At such exercises he certainly much more resembled a squirrel, or a small monkey, than a frog.

I am not able to say, with precision, from what country Hop-Frog originally came. It was from some barbarous region, however, that no person ever heard of – a vast distance from the court of our king. Hop-Frog, and a young girl very little less dwarfish than himself (although of exquisite proportions, and a marvelous dancer), had been forcibly carried off from their respective homes in adjoining provinces, and sent as presents to the king, by one of his ever-victorious generals.

Under these circumstances, it is not to be wondered at that a close intimacy arose between the two little captives. Indeed, they soon became sworn friends. Hop-Frog, who, although he made a great deal of sport, was by no means popular, had it not in his power to render Trippetta many services; but she, on account of her grace and exquisite beauty (although a dwarf), was universally admired and petted; so she possessed much influence; and never failed to use it, whenever she could, for the benefit of Hop-Frog.

On some grand state occasion – I forgot what – the king determined to have a masquerade, and whenever a masquerade or any thing of that kind, occurred at our court, then the talents, both of Hop-Frog and Trippetta were sure to be called into play. Hop-Frog, in especial, was so inventive in the way of getting up pageants, suggesting novel characters, and arranging costumes, for masked balls, that nothing could be done, it seems, without his assistance.

The night appointed for the fete had arrived. A gorgeous hall had been fitted up, under Trippetta's eye, with every kind of device which could possibly give éclat to a masquerade. The whole court was in a fever of expectation. As for costumes and characters, it might well be supposed that everybody had come to a decision on such points. Many had made up their minds (as to what roles they should assume) a week, or even a month, in advance; and, in fact, there was not a particle of indecision anywhere – except in the case of the king and his seven ministers. Why they hesitated I never could tell, unless they did it by way of a joke. More probably, they found it difficult, on account of being so fat, to make up their minds. At all events, time flew; and, as a last resort they sent for Trippetta and Hop-Frog.

When the two little friends obeyed the summons of the king they found him sitting at his wine with the seven members of his cabinet council; but the monarch appeared to be in a very ill humor. He knew that Hop-Frog was not fond of wine, for it excited the poor cripple almost to madness; and madness is no comfortable feeling. But the king loved his practical jokes, and took pleasure in forcing Hop-Frog to drink and (as the king called it) “to be merry”.

“Come here, Hop-Frog,” said he, as the jester and his friend entered the room; “swallow this bumper to the health of your absent friends, [here Hop-Frog sighed,] and then let us have the benefit of your invention. We want characters – characters, man – something novel – out of the way. We are wearied with this everlasting sameness. Come, drink! The wine will brighten your wits.”

Hop-Frog endeavored, as usual, to get up a jest in reply to these advances from the king; but the effort was too much. It happened to be the poor dwarf's birthday, and the command to drink to his "absent friends" forced the tears to his eyes. Many large, bitter drops fell into the goblet as he took it, humbly, from the hand of the tyrant.

"Ah! ha! ha!" roared the latter, as the dwarf reluctantly drained the beaker. "See what a glass of good wine can do! Why, your eyes are shining already!"

Poor fellow! His large eyes gleamed, rather than shone; for the effect of wine on his excitable brain was not more powerful than instantaneous. He placed the goblet nervously on the table, and looked round upon the company with a half – insane stare. They all seemed highly amused at the success of the king's "joke".

"And now to business," said the prime minister, a very fat man.

"Yes," said the King; "Come lend us your assistance. Characters, my fine fellow; we stand in need of characters – all of us – ha! ha! ha!" And as this was seriously meant for a joke, his laugh was chorused by the seven.

Hop-Frog also laughed although feebly and somewhat vacantly.

"Come, come," said the king, impatiently, "have you nothing to suggest?"

"I am endeavoring to think of something novel," replied the dwarf, abstractedly, for he was quite bewildered by the wine.

"Endeavoring!" cried the tyrant, fiercely; "what do you mean by that? Ah, I perceive. You are Sulky, and want more wine. Here, drink this!" And he poured out another goblet full and offered it to the cripple, who merely gazed at it, gasping for breath.

"Drink, I say!" shouted the monster, "or by the fiends..."

The dwarf hesitated. The king grew purple with rage. The courtiers smirked. Trippetta, pale as a corpse, advanced to the monarch's seat, and, falling on her knees before him, implored him to spare her friend.

The tyrant regarded her, for some moments, in evident wonder at her audacity. He seemed quite at a loss what to do or say – how most becomingly to express his indignation. At last, without uttering a syllable, he pushed her violently from him, and threw the contents of the brimming goblet in her face.

The poor girl got up the best she could, and, not daring even to sigh, resumed her position at the foot of the table.

There was a dead silence for about half a minute, during which the falling of a leaf, or of a feather, might have been heard. It was interrupted by a low, but harsh and protracted grating sound which seemed to come at once from every corner of the room.

"What – what – what are you making that noise for?" demanded the king, turning furiously to the dwarf.

The latter seemed to have recovered, in great measure, from his intoxication, and looking fixedly but quietly into the tyrant's face, merely ejaculated:

"I – I? How could it have been me?"

"The sound appeared to come from without," observed one of the courtiers. "I fancy it was the parrot at the window, whetting his bill upon his cage-wires."

“True,” replied the monarch, as if much relieved by the suggestion; “but, on the honor of a knight, I could have sworn that it was the gritting of this vagabond’s teeth.”

Hereupon the dwarf laughed (the king was too confirmed a joker to object to any one’s laughing), and displayed a set of large, powerful, and very repulsive teeth. Moreover, he avowed his perfect willingness to swallow as much wine as desired. The monarch was pacified; and having drained another bumper with no very perceptible ill effect, Hop-Frog entered at once, and with spirit, into the plans for the masquerade.

“I cannot tell what was the association of idea,” observed he, very tranquilly, and as if he had never tasted wine in his life, “but just after your majesty, had struck the girl and thrown the wine in her face – just after your majesty had done this, and while the parrot was making that odd noise outside the window, there came into my mind a capital diversion – one of my own country frolics – often enacted among us, at our masquerades: but here it will be new altogether. Unfortunately, however, it requires a company of eight persons and...”

“Here we are!” cried the king, laughing at his acute discovery of the coincidence; “eight to a fraction – I and my seven ministers. Come! What is the diversion?”

“We call it,” replied the cripple, “the Eight Chained Ourang-Outangs, and it really is excellent sport if well enacted.”

“We will enact it,” remarked the king, drawing himself up, and lowering his eyelids.

“The beauty of the game,” continued Hop-Frog, “lies in the fright it occasions among the women.”

“Capital!” roared in chorus the monarch and his ministry.

“I will equip you as ourang-outangs,” proceeded the dwarf; “leave all that to me. The resemblance shall be so striking, that the company of masqueraders will take you for real beasts – and of course, they will be as much terrified as astonished.”

“Oh, this is exquisite!” exclaimed the king. “Hop-Frog! I will make a man of you.”

“The chains are for the purpose of increasing the confusion by their jangling. You are supposed to have escaped, en masse, from your keepers. Your majesty cannot conceive the effect produced, at a masquerade, by eight chained ourang-outangs, imagined to be real ones by most of the company; and rushing in with savage cries, among the crowd of delicately and gorgeously habited men and women. The contrast is inimitable!”

“It must be,” said the king: and the council arose hurriedly (as it was growing late), to put in execution the scheme of Hop-Frog.

His mode of equipping the party as ourang-outangs was very simple, but effective enough for his purposes. The animals in question had, at the epoch of my story, very rarely been seen in any part of the civilized world; and as the imitations made by the dwarf were sufficiently beast-like and more than sufficiently hideous, their truthfulness to nature was thus thought to be secured.

The king and his ministers were first encased in tight-fitting stockinet shirts and drawers. They were then saturated with tar. At this stage of the process, some one of the party suggested feathers; but the suggestion was at once overruled by the dwarf, who soon convinced the eight, by ocular demonstration, that the hair of such a brute as the ourang-outang was much more efficiently represented by flu. A thick coating of the latter was accordingly plastered upon the coating of tar. A long chain was now procured. First, it was passed about the waist of the king, and tied, then about another of the party, and also tied; then about all successively, in the same manner. When this chaining arrangement was complete, and the party stood as far apart from each other as possible, they formed a circle; and to make all things appear natural, Hop-Frog passed the residue of the chain in two diameters, at right angles, across the circle, after the fashion adopted, at the present day, by those who capture Chimpanzees, or other large apes, in Borneo.

The grand saloon in which the masquerade was to take place, was a circular room, very lofty, and receiving the light of the sun only through a single window at top. At night (the season for which the apartment was especially designed) it was illuminated principally by a large chandelier, depending by a chain from the centre of the sky-light, and lowered, or elevated, by means of a counter-balance as usual; but (in order not to look unsightly) this latter passed outside the cupola and over the roof.

The arrangements of the room had been left to Trippetta's superintendence; but, in some particulars, it seems, she had been guided by the calmer judgment of her friend the dwarf. At his suggestion it was that, on this occasion, the chandelier was removed. Its waxen drippings (which, in weather so warm, it was quite impossible to prevent) would have been seriously detrimental to the rich dresses of the guests, who, on account of the crowded state of the saloon, could not all be expected to keep from out its centre; that is to say, from under the chandelier. Additional sconces were set in various parts of the hall, out of the way, and a flambeau, emitting sweet odor, was placed in the right hand of each of the Caryatides [Caryatides] that stood against the wall – some fifty or sixty altogether.

The eight ourang-outangs, taking Hop-Frog's advice, waited patiently until midnight (when the room was thoroughly filled with masqueraders) before making their appearance. No sooner had the clock ceased striking, however, than they rushed, or rather rolled in, all together – for the impediments of their chains caused most of the party to fall, and all to stumble as they entered.

The excitement among the masqueraders was prodigious, and filled the heart of the king with glee. As had been anticipated, there were not a few of the guests who supposed the ferocious-looking creatures to be beasts of some kind in reality, if not precisely ourang-outangs. Many of the women swooned with affright; and had not the king taken the precaution to exclude all weapons from the saloon, his party might soon have expiated their frolic in their blood. As it was, a general rush was made for the doors; but the king had ordered them to be locked immediately upon his entrance; and, at the dwarf's suggestion, the keys had been deposited with him.

While the tumult was at its height, and each masquerader attentive only to his own safety (for, in fact, there was much real danger from the pressure of the excited

crowd), the chain by which the chandelier ordinarily hung, and which had been drawn up on its removal, might have been seen very gradually to descend, until its hooked extremity came within three feet of the floor.

Soon after this, the king and his seven friends having reeled about the hall in all directions, found themselves, at length, in its centre, and, of course, in immediate contact with the chain. While they were thus situated, the dwarf, who had followed noiselessly at their heels, inciting them to keep up the commotion, took hold of their own chain at the intersection of the two portions which crossed the circle diametrically and at right angles. Here, with the rapidity of thought, he inserted the hook from which the chandelier had been wont to depend; and, in an instant, by some unseen agency, the chandelier-chain was drawn so far upward as to take the hook out of reach, and, as an inevitable consequence, to drag the ourang-outangs together in close connection, and face to face.

The masqueraders, by this time, had recovered, in some measure, from their alarm; and, beginning to regard the whole matter as a well-contrived pleasantry, set up a loud shout of laughter at the predicament of the apes.

“Leave them to me!” now screamed Hop-Frog, his shrill voice making itself easily heard through all the din. “Leave them to me. I fancy I know them. If I can only get a good look at them, I can soon tell who they are.”

Here, scrambling over the heads of the crowd, he managed to get to the wall; when, seizing a flambeau from one of the Caryatides, he returned, as he went, to the centre of the room-leaping, with the agility of a monkey, upon the king's head, and thence clambered a few feet up the chain; holding down the torch to examine the group of ourang-outangs, and still screaming: “I shall soon find out who they are!”

And now, while the whole assembly (the apes included) were convulsed with laughter, the jester suddenly uttered a shrill whistle; when the chain flew violently up for about thirty feet – dragging with it the dismayed and struggling ourang-outangs, and leaving them suspended in mid-air between the sky-light and the floor. Hop-Frog, clinging to the chain as it rose, still maintained his relative position in respect to the eight maskers, and still (as if nothing were the matter) continued to thrust his torch down toward them, as though endeavoring to discover who they were.

So thoroughly astonished was the whole company at this ascent, that a dead silence, of about a minute's duration, ensued. It was broken by just such a low, harsh, grating sound, as had before attracted the attention of the king and his councilors when the former threw the wine in the face of Trippetta. But, on the present occasion, there could be no question as to whence the sound issued. It came from the fang – like teeth of the dwarf, who ground them and gnashed them as he foamed at the mouth, and glared, with an expression of maniacal rage, into the upturned countenances of the king and his seven companions.

“Ah, ha!” said at length the infuriated jester. “Ah, ha! I begin to see who these people are now!” Here, pretending to scrutinize the king more closely, he held the flambeau to the flaxen coat which enveloped him, and which instantly burst into a sheet of vivid flame. In less than half a minute the whole eight ourang-outangs were

blazing fiercely, amid the shrieks of the multitude who gazed at them from below, horror-stricken, and without the power to render them the slightest assistance.

At length the flames, suddenly increasing in virulence, forced the jester to climb higher up the chain, to be out of their reach; and, as he made this movement, the crowd again sank, for a brief instant, into silence. The dwarf seized his opportunity, and once more spoke:

“I now see distinctly.” he said, “what manner of people these maskers are. They are a great king and his seven privy-councilors, – a king who does not scruple to strike a defenseless girl and his seven councilors who abet him in the outrage. As for myself, I am simply Hop-Frog, the jester – and this is my last jest.”

Owing to the high combustibility of both the flax and the tar to which it adhered, the dwarf had scarcely made an end of his brief speech before the work of vengeance was complete. The eight corpses swung in their chains, a fetid, blackened, hideous, and indistinguishable mass. The cripple hurled his torch at them, clambered leisurely to the ceiling, and disappeared through the sky-light.

It is supposed that Trippetta, stationed on the roof of the saloon, had been the accomplice of her friend in his fiery revenge, and that, together, they effected their escape to their own country: for neither was seen again.

Публикуется по: Poe E. Poetry and Tales. N. Y.: Literary Classics of the United States, 1984.

Questions

1. From the first paragraph we are emerged into the world of joke and joking. What kind of jokes did the king like?
2. How were the jesters at the time described in the story supposed to be dressed?
3. What kind of sharp witticisms were the jesters expected to be always ready with?
4. What kind of jokes suited the king's taste better?
5. What happened when the monarch was in a very ill humor?
6. Who laughs in the story? How many cases of laughter are described?
7. What was the “beauty” of the “game” offered by the dwarf?
8. What emotions did the “apes” had gone through a moment before the chain flew violently up?

9. What did Hop-Frog consider his “last jest”? What did he want to take his revenge for?
10. What were the most dramatic moments of the story?

Paraphrase or explain

1. “...he possessed a triplicate treasure in one person”.
2. “About the refinements, or, as he called them, the “ghost” of wit, the king troubled himself very little”.
3. “Several of the great continental “powers” still retain their “fools”, who wore motley, with caps and bells, and who were expected to be always ready with sharp witticisms, at a moments’ notice...”
4. “...a movement that afforded illimitable amusement...”
5. “... and many monarchs would have found it difficult to get through their days (days are rather longer at court than elsewhere) without both a jester to laugh with, and a dwarf to laugh at”.
6. “Here we are!” cried the king, laughing at his acute discovery of the coincidence”.
7. “... The company of masqueraders will take you for real beasts – and of course, they will be as much terrified and astonished”.
8. “...let us have the benefit of your invention”.

Discussion points

- What cases of incongruity of violence and laughter can you trace in the text of the story? What function does irony fulfill in the story?
- Speak on the change of the emotions throughout the development of the plot, where the tensest moment was the harsh and protracted grating sound.
- Speak about the jester and the situations when he laughed.

- Characterize the king and the situations when he laughed.
- Why are the sounds so important in the story? What other sounds “are heard” (or not heard) in the narration?
- What is the climax of the story?

Translation exercises

1. Study those parts of the story where horror is juxtaposed with laughter. Where are black humor situations, exposed to the full?
2. Write out examples where cruelty of the characters is depicted and compare them with their translations. Say, if the pragmatic effect is the same in the original and in translation. How is it achieved? Fill in the table that follows.

Original text	Translation	Transformation/Translation strategy

3. Study the concept of laughter. What makes the characters of the story laugh? Describe all the situations. How is this concept rendered in translation?

Белый бушлат
Фрагменты из романа

LXIII
Операция

На следующее утро в положенный час врачи собрались со всех кораблей. Старших сопровождали их подчиненные, молодые люди в возрасте от девятнадцати до тридцати лет. Последние, так же как и их начальники, были облачены в синие форменные сюртуки, блиставшие множеством ярко начищенных пуговиц и широкими золотыми нашивками у обшлагов. По столь торжественному случаю они приняли свой самый парадный вид и были просто ослепительны.

Общество немедленно спустилось на галф-дек, где все уже было готово для операции. Самый большой флаг на корабле, что поднимают только по большим праздникам, был протянут поперек палубы и совершенно отделял все пространство от грот-мачты до переборки коммодорского салона, перед дверью которого на виду у всех прохаживался часовой из морской пехоты с тесаком наголо.

На два орудийных лафета, вытасненных на середину, была уложена доска, с которой обычно спускали за борт покойников. Для того чтобы получился удобный операционный стол, к ней сбоку приладили еще одну доску, и все это накрыли старым бом-брам-лиселем. Немного поодаль устроили второй стол из двух поставленных друг на друга фитильных кадок, прикрытых сверху доской. На ней был разложен целый арсенал пил и ножей самых разнообразных форм и размеров, среди которых выделялся один с огромным лезвием, несколько напоминающий ножи, коими хозяева нарезают за обедом мясо. Далее шли иглы – длинные, изогнутые на конце для оттяжки артерий, и прямые, похожие на штопальные, с нитками и воском, для зашивания ран.

У одного из концов операционного стола поместили жестяной таз, по краю которого с педантичной симметрией были разложены небольшие губки. С длинного шеста приборника, подвешенного под настилом верхней палубы, свисали полотенца со штампом «СШ» по углам.

Все это было подготовлено лекарским помощником, лицом на военном корабле весьма значительным, как об этом будет подробно рассказано в одной из последующих глав. Сейчас он суетливо переключал ножи и иглы, точь-в-точь как не в меру добросовестный дворецкий, наводящий окончательный порядок на обеденном столе за минуту до прихода гостей.

Но особенно поражал в этой обстановке скелет, все суставы которого двигались на проволочных шарнирах. Подвешенный за вогнанную в теменную кость заклепку, он болтался на коечном гаке, вбитом в один из бимсов верхней палубы. Ради чего водворили сюда этот предмет, мы скоро узнаем, но почему

именно его поместили в ногах операционного стола – на этот вопрос мог бы ответить один лишь флагманский хирург Кьютикл.

Пока завершались последние приготовления, он беседовал с приглашенными им врачами и лекарскими помощниками.

– Господа, – начал он, схватив со стола самый большой нож и с артистической ловкостью проводя по его лезвию другим, – господа, хотя зрелища подобного рода весьма неприятны и могут при известном расположении духа вызвать отвращение даже у меня, все же насколько лучше будет для нашего пациента, если вместо разможенной и рваной раны со всеми связанными с ней угрожающими последствиями у него будет аккуратный разрез, заживающий куда более спокойно как для него самого, так и для врача. Да, – добавил он, пробуя остроту инструмента на пальце, – ампутация в данном случае единственный выход. Не так ли, врач Пателла?

С последними словами он обратился к сему джентльмену, как бы ища у него поддержки, хотя бы и оговоренной известными условиями.

– Разумеется, – ответил тот, – ампутация единственный для вас выход, господин флагманский врач, то есть, конечно, если вы совершенно убеждены в ее необходимости.

Остальные медики хранили сдержанное молчание, поскольку им было ясно, что в этом деле решают не они, каково бы ни было их личное мнение. Но быть свидетелями операции они были готовы, а при случае и принять в ней участие, раз уж предотвратить ее не было возможности.

Молодые люди, их помощники, были очень возбуждены и то и дело с трепетом поглядывали на столь великого знатока своего дела, как почтенный Кьютикл.

– Говорят, он может отхватить ногу за минуту и десять секунд. Это с момента, когда нож прикоснется к коже, – шепнул один другому.

– Увидим, – отозвался тот и пощупал в кармане часы, проверяя, легко ли ему будет их сразу вынуть.

– Ну как, готово? – обратился Кьютикл к своему помощнику. – Чего они там возятся? – указал он на трех матросов из плотницкой команды, которые подкладывали клинья под лафеты, поддерживающие операционный стол.

– Сию минуту кончат, сэр, – почтительно доложил лекарский помощник, прикладывая руку ко лбу за отсутствием головного убора.

– Ну так несите больного! – воскликнул Кьютикл.

– Молодые люди, – обратился он к шеренге лекарских помощников, – ваш вид напомнил мне ту пору, когда я преподавал в Филадельфийском медико-хирургическом колледже. Счастливые были времена! – вздохнул он, прикладывая уголок носового платка к стеклянному глазу. – Уж вы простите меня, старика, но стоит мне вспомнить, сколько редкостных больных мне довелось тогда пользоваться, как я не могу удержаться от волнения. Город, большой город, столица – вот, молодые люди, то место, где можно приобрести знания, во всяком случае в это скучное мирное время, когда ни армия, ни флот не дают ни малейшего стимула юношескому честолюбию, жаждущему продвинуться на нашем благород-

ном поприще. Послушайте старика: если конфликт, назревающий сейчас между Штатами и Мексикой перерастет в войну, бросайте флот и переходите в армию. У Мексики никогда не было своих военных кораблей, а потому она никогда не поставляла иностранным флотам достаточно материала для операционного стола. Из-за этого страдала наука. Армия – другое дело. Это для вас лучшая школа. Не пожалееете. Вы не поверите, врач Бэндэдж, – обратился он к этому джентльмену, – но это первая серьезная операция почти за три года плавания. На «Неверсинке» мои обязанности сводились почти исключительно к выписыванию лекарств от лихорадки и поносов. Правда, не так давно у нас с крьюсель-рея свалился матрос, но это был всего только случай множественных вывихов и переломов. Подвести такого пациента под ампутацию можно было, лишь взяв большой грех на душу. А совесть у меня, могу сказать не похваляясь, весьма чувствительного свойства.

С этими словами он умилительно опустил по швам вооруженные ножами руки и на мгновение забылся в приятном раздумье. Встрепенулся он оттого, что за занавеской послышался шум; Кьютикл вздрогнул, быстро провел ножом по ножу и воскликнул:

– А вот и наш пациент! Господа врачи, пожалуйста по эту сторону стола. А вас, молодые люди, попрошу немного посторониться. Лекарский помощник, помогите мне снять сюртук. Так, ну а теперь галстук. Знаете, врач Пателла, терпеть не могу, когда мне что-то мешает. Ничего у меня тогда не получается.

Освободившись от этих принадлежностей туалета, он стащил с себя парик и накрыл им шпиль батарейной палубы, затем, вынув вставные зубы, положил их рядом с париком и напоследок, приставив указательный палец к внутреннему краю глазницы, с профессиональной ловкостью избавился и от своего стеклянного глаза, который занял место рядом с париком и зубами. Расставшись таким образом почти со всем, что в нем было искусственного, флагманский врач или, вернее, то, что от него осталось, встряхнулся, проверяя, не найдется ли еще, от чего можно было бы освободиться для пользы дела.

– Эй, плотники, – крикнул он, – вы думаете кончать?

– Еще минутку, сэр. Вот, теперь все, – ответили они, в недоумении озираясь. Они никак не могли понять, откуда исходят обращенные к ним загробные звуки, ибо отсутствие зубов отнюдь не улучшало дикции флагманского врача.

Движимые естественным любопытством, люди эти, чтобы побольше увидеть, старались задержаться возможно дольше, но теперь, когда у них уже не оставалось к тому предлога, торопливо забрали свои молотки и долота и поспешили скрыться, как рабочие, исчезающие в последнюю минуту перед началом многолюдного собрания, забив последний гвоздь в трибуну, с которой должен вот-вот выступить первый оратор.

Широкий флаг приподнялся, за ним на мгновение открылась сгрудившаяся толпа матросов, и больного бережно внесли двое его товарищей. Он был очень изможден, слаб, как ребенок, и дрожал всем телом, вернее, и руки и ноги у него ходили ходуном, как трясется голова у страдающего дрожательным параличом. Можно было подумать, что инстинктивный, животный страх смерти

овладел раненой ногой – ее било так, что одному из матросов пришлось ее держать.

Марсового сразу положили на стол, помощники схватили его за руки и за ноги, и тут он медленно приподнял веки и обвел взглядом сверкающие ножи и пилы, полотенца и губки, вооруженного часового у салона коммодора, горящие от нетерпения глаза молодежи и похожего на мертвеца Кьютикла с ножом в руке и закатанными по плечи рукавами. Вдруг глаза его в ужасе остановились на скелете, медленно вздрагивающем и постукивающим костями от мерного покачивания фрегата.

– Я посоветовал бы вам не напрягать ни рук, ни ног, а лежать совершенно спокойно, – обратился к больному Кьютикл, – точность операции зачастую страдает от того, что пациент не отдает себе отчета, как важно сохранять неподвижность. Но если вы взвесите, любезный, – добавил он покровительственным и почти сердечным тоном, слегка надавливая рукой на раненую ногу, – если вы взвесите, насколько приятнее остаться с тремя конечностями, чем отправиться на тот свет с четырьмя, особенно же если бы вы знали, каким пыткам подвергались до Цельса раненые солдаты и матросы, ибо в те времена в хирургии царило самое прискорбное невежество, вы несомненно от глубины души возблагодарили бы бога за то, что *ваша* операция пришлась на наш просвещенный век, украшенный такими светилами, как Белл, Броди и Лалли. Эх, любезный, до Цельса невежество в нашей благородной науке было таково, что считалось необходимым, для того чтобы предотвратить чрезмерную потерю крови, оперировать раскаленным докрасна ножом, – тут он провел в воздухе рукой над бедром больного, – и лить кипящее масло на рану, – он приподнял плечо, как будто собирался ошпарить его из чайника, – для того, чтобы прижечь ее после ампутации.

– Ему дурно, – сказал один из матросов, – скорее воды!

Лекарский помощник бросился к раненому с тазом. Кьютикл пощупал марсовому пульс, и, обращаясь к двум его товарищам, произнес:

– Не беспокойтесь. Он сейчас придет в себя. Обморок – весьма частое явление в таких случаях.

И постоял некоторое время, спокойно разглядывая больного.

Да, ничего не скажешь, флагманский врач и марсовой представляли в эту минуту зрелище куда более красноречивое для мыслящего ума, чем любые слова о бренности человеческой, произнесенные священником у края могилы.

Тут лежал матрос, который еще четыре дня назад казался столпом здоровья, с ручищей, что твоя бом-брам-стенга, и ляжкой, как брашпиль. Но легчайшее прикосновение к ничтожному стальному крючку повергло его на обе лопатки, высосало из него всю жизненную силу, и теперь он лежал с пробитым бедром перед этой ожившей мумией, беспомощный, как новорожденный младенец. А что за высшее существо стояло теперь над ним, словно облаченное в атрибуты бессмертия, и бесстрастно рассуждало о том, как оно будет кромсать его израненную плоть и надшивать кусок к его неожиданно укоротившимся дням? Кто был этот человек, который в образе хирурга взял на себя роль возро-

ждателя жизни? Высохший, сморщенный, кривой, беззубый и плешивый старик, сам стоящий одной ногой в гробу, воплощенное *memento mori*!

И в то время как холод панического страха перед надвигающейся смертью, от которого после тяжелого огнестрельного ранения не свободны даже самые отважные духом, охватывал этого некогда крепкого человека; в то время как он все больше сникал и уходил от жизни и взгляд его тускнел, как затененная тучами лапландская луна, Кьютикл, уже много лет населявший свою сморщенную оболочку, Кьютикл, впавший в общее для всех стариков заблуждение, должно быть, считал, что держит жизнь также крепко в своих объятиях, как сжимает добычу какой-нибудь свирепый медведь-гризли. Но истинно говорю вам, жизнь куда страшнее смерти, и пусть никто, хотя бы его могучее сердце ударяло о ребра с силой пушечного ядра, пусть никто не прижимает к себе так уверенно жизнь, ибо на predetermined стезях необходимости это бьющее через край бытие не более ограждено от опасности, чем жизнь человека на смертном одре. Сегодня мы вдыхаем воздух во всю глубину легких и жизнь течет в нас словно тысяча Нилы, а завтра нас может сразить смерть и вены наши иссякнут, как в засуху воды Кедрона.

– А теперь, молодые люди, – обратился Кьютикл к лекарским помощникам, – пока больной приходит в себя, разрешите описать вам в высшей степени интересную операцию, которую я намерен произвести.

– Господин флагманский врач, – вставил врач Бэндэдж, – если вы собираетесь прочесть нам лекцию, разрешите передать вам ваши зубы, они сделают вашу речь более внятной. – С этими словами он вложил в руки Кьютикла два полукружия слоновой кости.

– Благодарствую, врач Бэндэдж, – отозвался Кьютикл и вставил челюсть на место.

– Первым долгом, молодые люди, разрешите обратить ваше внимание на прекрасный экспонат, находящийся перед вами. Я нарочно велел извлечь его из ящика, что стоит у меня в каюте на свободной койке, и вынести его сюда ради вашего вящего поучения. Этот скелет я приобрел самолично в Хантеровском отделе Королевского хирургического колледжа в Лондоне. Это своего рода произведение искусства. Но рассматривать его нам теперь недосуг. Было бы нескромно пускаться в подробности при настоящих обстоятельствах, – бросил он почти доброжелательный взгляд в сторону больного, который начал приоткрывать глаза, – однако позвольте все же показать вам на бедренной кости, – и тут он легким движением отцепил ее от скелета, – именно то место, где я собираюсь произвести распил. *Здесь*, молодые люди, точно в *этом* месте. Вы видите, оно расположено весьма недалеко от тазобедренного сустава.

– Да, – вмешался врач Уэдж, приподымаясь на цыпочки, – да, молодью люди, в месте соединения с *acetabulum ossis innominati*.

– Ну, подавай сюда своего Белла «О костях», Дик, – шепнул один из помощников юнцу рядом, – Уэдж небось все утро зубрил из него мудреные слова.

– Врач Уэдж, – строго заметил Кьютикл, обводя взглядом присутствующих, – мы, с вашего позволения, обойдемся пока без ваших комментариев. Те-

перь, молодые люди, вы, надо полагать, усвоили, что, поскольку операция производится так высоко, в непосредственной близости к жизненно важным органам, она приобретает необычайную красоту. Для нее требуется твердая рука и верный глаз – но даже при этом не исключена возможность смерти пациента у меня под ножом.

– Скорее, помощник! Воды, воды, ему опять плохо! – воскликнули оба матроса.

– Не беспокойтесь за своего товарища, – обернулся к ним Кьютикл. – Повторяю, многие пациенты нервничают в подобных обстоятельствах и волнение доводит их до обморока; все это вполне естественно. Но откладывать операцию нам не следует. Лекарский помощник, подайте мне нож, нет, не этот, следующий, вот-вот, он самый. Больной, кажется, приходит в себя, – пощупал он пульс у марсового. – Ну как, приготовились?

Последний вопрос относился преимущественно к одному из лекарских помощников с «Неверсинка», бледному, долговязому и скелетообразному молодому человеку, наряженному в некое подобие савана из парусины, заколотого на шею и целиком облежавшего фигуру. Он сидел на фитильной кадке рядом с покачивающимся скелетом в готовности по первому знаку ухватиться за ногу оперируемого. Все было так, как будто он помогает плотнику, придерживая конец доски, в то время как тот распиливает ее поперек.

– Губки, лекарский помощник! – скомандовал Кьютикл, уже окончательно расставаясь со своими зубами и еще выше закатывая рукава. Затем, пощупав пациенту пульс: – Ну а вы, матросы, держите его, возьмите за руки и не давайте шелохнуться. Лекарский помощник! Приложите руку к артерии. Я начну, как только пульс забьется сильнее. Ну вот и хорошо!

Он уронил руку, осторожно ощупал бедро и, быстро нагнувшись над ним, безошибочно провел роковым ножом по точно намеченному месту. Все глаза в одну и ту же секунду обратились на часы, которые каждый держал уже наготове. Пациент между тем лежал с расширенными от ужаса глазами, словно в трансе. Все затаили дыхание, но в то время как трепещущая плоть нехотя расходилась глубокой раной, на дне ее между живыми стенами забил кровавый родник, и два густых потока вырвались из ее концов и потекли в противоположные стороны по бедру. Немедленно были пущены в ход губки. Все от напряжения стиснули зубы; нога скорчилась в судорогах, раненый испустил истошный крик; матросы навалились на него, а безжалостный нож между тем обходил кость по кругу.

– Пилу! – отрывисто произнес Кьютикл.

В то же мгновение она оказалась у него в руках.

Увлечшись операцией, он уже приложил было ее к кости, как вдруг поднял голову и, обращаясь к лекарским помощникам, спросил:

– Быть может, кто-нибудь из вас хотел бы попробовать свои силы? Прекрасная возможность!

Вызвалось несколько человек. Кьютикл отобрал из них одного и со словами: «Не спешите, действуйте твердо», вручил ему пилу.

Товарищи взглянули на счастливец с завистью. Впрочем, новичок принялся за дело довольно робко. Кьютикл, все время пристально следивший за ним, вдруг выхватил у него инструмент и крикнул:

– Хватит, мясник! Вы позорите нашу профессию. *Вот* как надо!

В течение нескольких секунд раздавался пронзительный скрежет пилы, потом показалось, что марсового перепилили надвое – нога медленно соскользнула в руки бледного лекарского помощника, который сразу отнес ее с глаз долой и спрятал под пушку.

– Врач Сойер, – произнес Кьютикл, сделав любезный полуоборот в сторону хирурга с «Мохока», – не угодно ли вам заняться артериями? Они в полном вашем распоряжении.

– Смелее, Сойер, соглашайтесь, – подбадривал его Бэндэдж.

Сойер подошел к столу, и, пока он несмело накладывал лигатуры, Кьютикл, повернувшись к лекарским помощникам, произнес:

– Молодые люди, продолжаем объяснения. Лекарский помощник, передайте мне кость.

И, взяв в еще окровавленные руки бедренную кость и держа ее на виду у слушателей, флагманский врач начал:

– Молодые люди, вы видите, что операция была произведена *здесь*, точно на *том* месте, которое я вам указал вначале. Примерно *тут*, – и он приподнял руку на несколько дюймов над костью, – пролежала главная артерия. Но вы заметили, что турникетом я не пользовался, я его не признаю. Указательный палец моего помощника куда удобнее и подвижнее и не сдавливает мелких сосудов. Но мне говорили, молодые люди, что некий хирург из Севильи, сеньор Сеньорони, изобрел недавно прекрасную замену этому неуклюжему и устаревшему приспособлению. Насколько я понимаю, это нечто вроде *кронциркуля*, раздвигаемого и сдвигаемого небольшим архимедовым винтом – очень остроумная штука, если верить отзывам. Ибо мягкие наконечники на выгнутых браншах, – он изобразил их, согнув большой и указательный пальцы, – можно установить таким образом, что... Но вы не слушаете меня, молодые люди, – добавил он, вздрогнув.

Дело в том, что молодых людей занимали несравненно больше действия врача Сойера, который в это время вдевал нитку в иголку, готовясь зашить лоскуты на культе, и они не постеснялись отвернуться от лектора.

Еще несколько мгновений – и марсового в глубоком обмороке отнесли в лазарет. После того как занавес из флага принял свое прежнее положение, Кьютикл, все еще не выпускавший из окровавленных рук бедренную кость скелета, продолжал свои пояснения. Под конец он добавил:

– Одним из интереснейших последствий настоящей операции, молодые люди, является то, что мы теперь обнаружим, где засела пуля, которая при консервативном лечении еще долго бы ускользала от самых тщательных поисков. Пуля эта, вероятно, проследовала самым замысловатым путем. Но примеры, когда она уклоняется от прямого направления, не так уж редки. Великий ученый Хеннер приводит один в высшей степени примечательный, я сказал бы

даже невероятный, случай: пуля проникла в шею солдата в той части, которая называется адамовым яблоком...

– Да, – не удержался врач Уэдж, привстав на цыпочки, – *romum Adami*.

– ...проникла в *адамово яблоко*, – продолжал Кьютикл, с особой силой напирая на два последних слова, – обошла всю шею по окружности, вышла через то самое отверстие, которое она себе проложила, и попала в солдата, стоявшего перед раненым. Когда она была извлечена, говорит Хеннер, на ней обнаружили лоскутья кожи первого раненого. Но случай проникновения инородных тел вместе с пулей – не редкость. Как-то раз я был прикомандирован к одному нашему военному кораблю и оказался неподалеку от места боя при Аякучо, в Перу. На другой день после сражения я натолкнулся в лазаретном бараке на одного кавалериста, который после пулевого поражения мозга сошел с ума и покончил самоубийством из собственного седельного пистолета. Пуля вогнала ему в череп часть его шерстяного ночного колпака...

– В виде *cul de sac*, надо думать, – вставил неустрашимый Уэдж.

– На этот раз, врач Уэдж, вы употребили единственное выражение, которое можно применить к данному случаю. И разрешите мне воспользоваться этим поводом, чтобы заметить вам, молодые люди, что истинно ученый человек, – Кьютикл немного расправил узкую грудь, – старается употреблять возможно меньше ученых слов и прибегает к ним лишь тогда, когда никакие другие не подходят, между тем как человек, нахватавшийся верхушек, – тут он искоса взглянул на Уэджа, – думает, что, изрекая мудреные слова, он тем самым доказывает, что уразумел мудреные вещи. Запомните это хорошенько, молодые люди, а вам врач Уэдж, – и он сухо поклонился в его сторону, – позвольте предложить эти слова в качестве темы для размышлений. Так вот, молодые люди, пуля была извлечена, после того, как потянули за оставшийся снаружи край этого самого *cul de sac* – простая, но чрезвычайно изящная операция. У Гатри приводится случай, несколько напоминающий описанный, но, разумеется, он вам попадался на глаза, ведь его «Трактат об огнестрельных ранениях» пользуется широкой известностью. Когда свыше двадцати лет назад я встретился с лордом Кокреном, командовавшим в то время морскими силами этой страны, – палец Кьютикла указал на берег, видневшийся через орудейный порт, – одному матросу на судне, к которому я был прикомандирован, во время блокады Баии попала в ногу...

Но к этому времени аудитория его, особенно пожилые врачи, стала проявлять явные признаки нетерпения, почему, так и не закончив фразы, флагманский врач круто повернулся к ним и произнес:

– Но не стану вас больше задерживать, господа, – а потом, обведя глазами всех присутствующих, добавил: – Каждого из вас, верно, ждет на своем корабле обед. Но, возможно, врач Сойер, вы пожелаете перед уходом вымыть руки? Вот таз, а чистое полотенце вы найдете на приборной. Что касается меня, то я ими редко пользуюсь, – и он вынул носовой платок. – Теперь я должен вас покинуть, – и он поклонился. – Завтра в десять часов нога будет на секционном столе. Я буду рад повидаться со всеми вами по этому поводу.

– Кто там? – спросил он, услышав, что занавеска зашуршала.

– Простите, сэръ, – сказал вошедший лекарский помощник, – больной умер.

– И труп также, господа. Ровно в десять, – повторил Кьютикл, еще раз повернувшись к своим гостям: – Я ведь говорил, что операция может привести к летальному исходу. Больной был очень слаб. Всего доброго, господа.

С этими словами Кьютикл удалился.

– Неужто старик будет делать вскрытие? – возбужденно воскликнул врач Сойер.

– О нет, – заметил Пателла, – это просто у него так заведено. Он, верно, хочет произвести осмотр перед погребением.

Кучка врачей, блестя нашивками, поднялась на шканцы, горнист вызвал катер № 2, и один за другим все гости были развезены по своим кораблям.

На другой день вечером товарищи покойного отвезли его прах на берег и похоронили в двух шагах от Прайа дос Фламингос на протестантском кладбище с прекрасным видом на бухту.

Перевод И. Лихачева

Публикуется по: Мелвилл Г. Белый Бушлат. Л.: Наука, 1973.

From White Jacket

Chapter LXIII

The operation

Next morning, at the appointed hour, the surgeons arrived in a body. They were accompanied by their juniors, young men ranging in age from nineteen years to thirty. Like the senior surgeons, these young gentlemen were arrayed in their blue navy uniforms, displaying a profusion of bright buttons, and several broad bars of gold lace about the wristbands. As in honour of the occasion, they had put on their best coats; they looked exceedingly brilliant.

The whole party immediately descended to the half-deck, where preparations had been made for the operation. A large garrison ensign was stretched across the ship by the main-mast, so as completely to screen the space behind. This space included the whole extent aft to the bulk-head of the Commodore's cabin, at the door of which the marine-orderly paced, in plain sight, cutlass in hand.

Upon two gun-carriages, dragged amidships, the Death-board (used for burials at sea) was horizontally placed, covered with an old royal-stun-sail. Upon this occasion, to do duty as an amputation-table, it was widened by an additional plank. Two match-tubs, near by, placed one upon another, at either end supported another plank, distinct from the table, whereon was exhibited an array of saws and knives of various and peculiar shapes and sizes; also, a sort of steel, something like the dinner-table implement, together with long needles, crooked at the end for taking up the arteries, and large darning-needles, thread and bee's-wax, for sewing up a wound.

At the end nearest the larger table was a tin basin of water, surrounded by small sponges, placed at mathematical intervals. From the long horizontal pole of a great-gun rammer – fixed in its usual place overhead – hung a number of towels, with "U.S." marked in the corners.

All these arrangements had been made by the "Surgeon's steward," a person whose important functions in a man-of-war will, in a future chapter, be entered upon at large. Upon the present occasion, he was bustling about, adjusting and readjusting the knives, needles, and carver, like an over-conscientious butler fidgeting over a dinner-table just before the convivialists enter.

But by far the most striking object to be seen behind the ensign was a human skeleton, whose every joint articulated with wires. By a rivet at the apex of the skull, it hung dangling from a hammock-hook fixed in a beam above. Why this object was here, will presently be seen; but why it was placed immediately at the foot of the amputation-table, only Surgeon Cuticle can tell.

While the final preparations were being made, Cuticle stood conversing with the assembled Surgeons and Assistant Surgeons, his invited guests.

“Gentlemen,” said he, taking up one of the glittering knives and artistically drawing the steel across it; “Gentlemen, though these scenes are very unpleasant, and in some moods, I may say, repulsive to me – yet how much better for our patient to have the contusions and lacerations of his present wound – with all its dangerous symptoms – converted into a clean incision, free from these objections, and occasioning so much less subsequent anxiety to himself and the Surgeon. Yes,” he added, tenderly feeling the edge of his knife, “amputation is our only resource. Is it not so, Surgeon Patella?” turning toward that gentleman, as if relying upon some sort of an assent, however clogged with conditions.

“Certainly,” said Patella, “amputation is your only resource, Mr. Surgeon of the Fleet; that is, I mean, if you are fully persuaded of its necessity.”

The other surgeons said nothing, maintaining a somewhat reserved air, as if conscious that they had no positive authority in the case, whatever might be their own private opinions; but they seemed willing to behold, and, if called upon, to assist at the operation, since it could not now be averted.

The young men, their Assistants, looked very eager, and cast frequent glances of awe upon so distinguished a practitioner as the venerable Cuticle.

“They say he can drop a leg in one minute and ten seconds from the moment the knife touches it,” whispered one of them to another.

“We shall see,” was the reply, and the speaker clapped his hand to his fob, to see if his watch would be forthcoming when wanted.

“Are you all ready here?” demanded Cuticle, now advancing to his steward; “have not those fellows got through yet?” pointing to three men of the carpenter’s gang, who were placing bits of wood under the gun-carriages supporting the central table.

“They are just through, sir,” respectfully answered the steward, touching his hand to his forehead, as if there were a cap-front there.

“Bring up the patient, then,” said Cuticle.

“Young gentlemen,” he added, turning to the row of Assistant Surgeons, “seeing you here reminds me of the classes of students once under my instruction at the Philadelphia College of Physicians and Surgeons. Ah, those were happy days!” he sighed, applying the extreme corner of his handkerchief to his glass-eye. “Excuse an old man’s emotions, young gentlemen; but when I think of the numerous rare cases that then came under my treatment, I cannot but give way to my feelings. The town, the city, the metropolis, young gentlemen, is the place for you students; at least in these dull times of peace, when the army and navy furnish no inducements for a youth ambitious of rising in our honourable profession. Take an old man’s advice, and if the war now threatening between the States and Mexico should break out, exchange your navy commissions for commissions in the army. From having no military marine herself, Mexico has always been backward in furnishing subjects for the amputation-tables of foreign navies. The cause of science has languished in her hands. The army, young gentlemen, is your best school; depend upon it. You will hardly believe it, Surgeon Bandage,” turning to that gentleman, “but this is my first important case of surgery in a nearly three years’ cruise. I have been almost wholly

confined in this ship to doctor's practice prescribing for fevers and fluxes. True, the other day a man fell from the mizzen-top-sail-yard; but that was merely an aggravated case of dislocations and bones splintered and broken. No one, sir, could have made an amputation of it, without severely contusing his conscience. And mine – I may say it, gentlemen, without ostentation is – peculiarly susceptible."

And so saying, the knife and carver touchingly dropped to his sides, and he stood for a moment fixed in a tender reverie but a commotion being heard beyond the curtain, he started, and, briskly crossing and recrossing the knife and carver, exclaimed, "Ah, here comes our patient; surgeons, this side of the table, if you please; young gentlemen, a little further off, I beg. Steward, take off my coat – so; my neckerchief now; I must be perfectly unencumbered, Surgeon Patella, or I can do nothing whatever."

These articles being removed, he snatched off his wig, placing it on the gun-deck capstan; then took out his set of false teeth, and placed it by the side of the wig; and, lastly, putting his forefinger to the inner angle of his blind eye, spirited out the glass optic with professional dexterity, and deposited that, also, next to the wig and false teeth.

Thus divested of nearly all inorganic appurtenances, what was left of the Surgeon slightly shook itself, to see whether anything more could be spared to advantage.

"Carpenter's mates," he now cried, "will you never get through with that job?"

"Almost through, sir – just through," they replied, staring round in search of the strange, unearthly voice that addressed them; for the absence of his teeth had not at all improved the conversational tones of the Surgeon of the Fleet.

With natural curiosity, these men had purposely been lingering, to see all they could; but now, having no further excuse, they snatched up their hammers and chisels, and – like the stage-builders decamping from a public meeting at the eleventh hour, after just completing the rostrum in time for the first speaker – the Carpenter's gang withdrew.

The broad ensign now lifted, revealing a glimpse of the crowd of man-of-war's-men outside, and the patient, borne in the arms of two of his mess-mates, entered the place. He was much emaciated, weak as an infant, and every limb visibly trembled, or rather jarred, like the head of a man with the palsy. As if an organic and involuntary apprehension of death had seized the wounded leg, its nervous motions were so violent that one of the mess-mates was obliged to keep his hand upon it.

The top-man was immediately stretched upon the table, the attendants steadying his limbs, when, slowly opening his eyes, he glanced about at the glittering knives and saws, the towels and sponges, the armed sentry at the Commodore's cabin-door, the row of eager-eyed students, the meagre death's-head of Cuticle, now with his shirt sleeves rolled up upon his withered arms, and knife in hand, and, finally, his eyes settled in horror upon the skeleton, slowly vibrating and jingling before him, with the slow, slight roll of the frigate in the water.

"I would advise perfect repose of your every limb, my man," said Cuticle, addressing him; "the precision of an operation is often impaired by the inconsiderate

restlessness of the patient. But if you consider, my good fellow," he added, in a patronizing and almost sympathetic tone, and slightly pressing his hand on the limb, "if you consider how much better it is to live with three limbs than to die with four, and especially if you but knew to what torments both sailors and soldiers were subjected before the time of Celsus, owing to the lamentable ignorance of surgery then prevailing, you would certainly thank God from the bottom of your heart that your operation has been postponed to the period of this enlightened age, blessed with a Bell, a Brodie, and a Lally. My man, before Celsus's time, such was the general ignorance of our noble science, that, in order to prevent the excessive effusion of blood, it was deemed indispensable to operate with a red-hot knife" – making a professional movement toward the thigh – "and pour scalding oil upon the parts" – elevating his elbow, as if with a tea-pot in his hand – "still further to sear them, after amputation had been performed."

"He is fainting!" said one of his mess-mates; "quick! some water!" The steward immediately hurried to the top-man with the basin.

Cuticle took the top-man by the wrist, and feeling it a while, observed, "Don't be alarmed, men," addressing the two mess-mates; "he'll recover presently; this fainting very generally takes place." And he stood for a moment, tranquilly eyeing the patient.

Now the Surgeon of the Fleet and the top-man presented a spectacle which, to a reflecting mind, was better than a church-yard sermon on the mortality of man.

Here was a sailor, who four days previous, had stood erect – a pillar of life – with an arm like a royal-mast and a thigh like a windlass. But the slightest conceivable finger-touch of a bit of crooked trigger had eventuated in stretching him out, more helpless than an hour-old babe, with a blasted thigh, utterly drained of its brawn. And who was it that now stood over him like a superior being, and, as if clothed himself with the attributes of immortality, indifferently discoursed of carving up his broken flesh, and thus piecing out his abbreviated days. Who was it, that in capacity of Surgeon, seemed enacting the part of a Regenerator of life? The withered, shrunken, one-eyed, toothless, hairless Cuticle; with a trunk half dead – a memento mori to behold!

And while, in those soul-sinking and panic-striking premonitions of speedy death which almost invariably accompany a severe gun-shot wound, even with the most intrepid spirits; while thus drooping and dying, this once robust top-man's eye was now waning in his head like a Lapland moon being eclipsed in clouds – Cuticle, who for years had still lived in his withered tabernacle of a body – Cuticle, no doubt sharing in the common self-delusion of old age – Cuticle must have felt his hold of life as secure as the grim hug of a grizzly bear. Verily, Life is more awful than Death; and let no man, though his live heart beat in him like a cannon – let him not hug his life to himself; for, in the predestinated necessities of things, that bounding life of his is not a whit more secure than the life of a man on his death-bed. Today we inhale the air with expanding lungs, and life runs through us like a thousand Niles; but tomorrow we may collapse in death, and all our veins be dry as the Brook Kedron in a drought.

“And now, young gentlemen,” said Cuticle, turning to the Assistant Surgeons, “while the patient is coming to, permit me to describe to you the highly-interesting operation I am about to perform.”

“Mr. Surgeon of the Fleet,” said Surgeon Bandage, “if you are about to lecture, permit me to present you with your teeth; they will make your discourse more readily understood.” And so saying, Bandage, with a bow, placed the two semicircles of ivory into Cuticle’s hands.

“Thank you, Surgeon Bandage,” said Cuticle, and slipped the ivory into its place.

“In the first place, now, young gentlemen, let me direct your attention to the excellent preparation before you. I have had it unpacked from its case, and set up here from my state-room, where it occupies the spare berth; and all this for your express benefit, young gentlemen. This skeleton I procured in person from the Hunterian department of the Royal College of Surgeons in London. It is a masterpiece of art. But we have no time to examine it now. Delicacy forbids that I should amplify at a juncture like this,” – casting an almost benignant glance toward the patient, now beginning to open his eyes; – “but let me point out to you upon this thigh-bone,” – disengaging it from the skeleton, with a gentle twist, – “the precise place where I propose to perform the operation. Here, young gentlemen, here is the place. You perceive it is very near the point of articulation with the trunk.”

“Yes,” interposed Surgeon Wedge, rising on his toes, “yes, young gentlemen, the point of articulation with the *acetabulum* of the *os innominatum*.”

“Where’s your Bell on Bones, Dick?” whispered one of the assistants to the student next him. “Wedge has been spending the whole morning over it, getting out the hard names.”

“Surgeon Wedge,” said Cuticle, looking round severely, “we will dispense with your commentaries, if you please, at present. Now, young gentlemen, you cannot but perceive, that the point of operation being so near the trunk and the vitals, it becomes an unusually beautiful one, demanding a steady hand and a true eye; and, after all, the patient may die under my hands.”

“Quick, Steward! water, water; he’s fainting again!” cried the two mess-mates.

“Don’t be alarmed for your comrade, men,” said Cuticle, turning round. “I tell you it is not an uncommon thing for the patient to betray some emotion upon these occasions – most usually manifested by swooning; it is quite natural it should be so. But we must not delay the operation. Steward, that knife – no, the next one – there, that’s it. He is coming to, I think” – feeling the top-man’s wrist. “Are you all ready, sir?”

This last observation was addressed to one of the Neversink’s assistant surgeons, a tall, lank, cadaverous young man, arrayed in a sort of shroud of white canvas, pinned about his throat, and completely enveloping his person. He was seated on a match-tub – the skeleton swinging near his head – at the foot of the table, in readiness to grasp the limb, as when a plank is being severed by a carpenter and his apprentice.

“The sponges, Steward,” said Cuticle, for the last time taking out his teeth, and drawing up his shirt sleeves still further. Then, taking the patient by the wrist, “Stand by, now, you mess-mates; keep hold of his arms; pin him down. Steward, put your hand on the artery; I shall commence as soon as his pulse begins to – now, now!” Letting fall the wrist, feeling the thigh carefully, and bowing over it an instant, he drew the fatal knife unerringly across the flesh. As it first touched the part, the row of surgeons simultaneously dropped their eyes to the watches in their hands while the patient lay, with eyes horribly distended, in a kind of waking trance. Not a breath was heard; but as the quivering flesh parted in a long, lingering gash, a spring of blood welled up between the living walls of the wounds, and two thick streams, in opposite directions, coursed down the thigh. The sponges were instantly dipped in the purple pool; every face present was pinched to a point with suspense; the limb writhed; the man shrieked; his mess-mates pinioned him; while round and round the leg went the unpitying cut.

“The saw!” said Cuticle.

Instantly it was in his hand.

Full of the operation, he was about to apply it, when, looking up, and turning to the assistant surgeons, he said, “Would any of you young gentlemen like to apply the saw? A splendid subject!”

Several volunteered; when, selecting one, Cuticle surrendered the instrument to him, saying, “Don’t be hurried, now; be steady.”

While the rest of the assistants looked upon their comrade with glances of envy, he went rather timidly to work; and Cuticle, who was earnestly regarding him, suddenly snatched the saw from his hand. “Away, butcher! you disgrace the profession. Look at me!”

For a few moments the thrilling, rasping sound was heard; and then the top-man seemed parted in twain at the hip, as the leg slowly slid into the arms of the pale, gaunt man in the shroud, who at once made away with it, and tucked it out of sight under one of the guns.

“Surgeon Sawyer,” now said Cuticle, courteously turning to the surgeon of the Mohawk, “would you like to take up the arteries? They are quite at your service, sir.”

“Do, Sawyer; be prevailed upon,” said Surgeon Bandage.

Sawyer complied; and while, with some modesty he was conducting the operation, Cuticle, turning to the row of assistants said, “Young gentlemen, we will now proceed with our Illustration. Hand me that bone, Steward.” And taking the thigh-bone in his still bloody hands, and holding it conspicuously before his auditors, the Surgeon of the Fleet began:

“Young gentlemen, you will perceive that precisely at this spot – here – to which I previously directed your attention – at the corresponding spot precisely – the operation has been performed. About here, young gentlemen, here” – lifting his hand some inches from the bone – “about here the great artery was. But you noticed that I did not use the tourniquet; I never do. The forefinger of my steward is far better than a tourniquet, being so much more manageable, and leaving the smaller veins uncompressed. But I have been told, young gentlemen, that a certain Seignior Seignioroni, a

surgeon of Seville, has recently invented an admirable substitute for the clumsy, old-fashioned tourniquet. As I understand it, it is something like a pair of calipers, working with a small Archimedes screw – a very clever invention, according to all accounts. For the padded points at the end of the arches” – arching his forefinger and thumb – “can be so worked as to approximate in such a way, as to – but you don’t attend to me, young gentlemen,” he added, all at once starting.

Being more interested in the active proceedings of Surgeon Sawyer, who was now threading a needle to sew up the overlapping of the stump, the young gentlemen had not scrupled to turn away their attention altogether from the lecturer.

A few moments more, and the top-man, in a swoon, was removed below into the sick-bay. As the curtain settled again after the patient had disappeared, Cuticle, still holding the thigh-bone of the skeleton in his ensanguined hands, proceeded with his remarks upon it; and having concluded them, added, “Now, young gentlemen, not the least interesting consequence of this operation will be the finding of the ball, which, in case of non-amputation, might have long eluded the most careful search. That ball, young gentlemen, must have taken a most circuitous route. Nor, in cases where the direction is oblique, is this at all unusual. Indeed, the learned Henner gives us a most remarkable – I had almost said an incredible – case of a soldier’s neck, where the bullet, entering at the part called Adam’s Apple –”

“Yes,” said Surgeon Wedge, elevating himself, “the *pomum Adami*.”

“Entering the point called Adam’s Apple,” continued Cuticle, severely emphasizing the last two words, “ran completely round the neck, and, emerging at the same hole it had entered, shot the next man in the ranks. It was afterward extracted, says Renner, from the second man, and pieces of the other’s skin were found adhering to it. But examples of foreign substances being received into the body with a ball, young gentlemen, are frequently observed. Being attached to a United States ship at the time, I happened to be near the spot of the battle of Ayacucho, in Peru. The day after the action, I saw in the barracks of the wounded a trooper, who, having been severely injured in the brain, went crazy, and, with his own holster-pistol, committed suicide in the hospital. The ball drove inward a portion of his woolen night-cap –”

“In the form of a cul-de-sac, doubtless,” said the undaunted Wedge.

“For once, Surgeon Wedge, you use the only term that can be employed; and let me avail myself of this opportunity to say to you, young gentlemen, that a man of true science” – expanding his shallow chest a little – “uses but few hard words, and those only when none other will answer his purpose; whereas the smatterer in science” – slightly glancing toward Wedge – “thinks, that by mouthing hard words, he proves that he understands hard things. Let this sink deep in your minds, young gentlemen; and, Surgeon Wedge” – with a stiff bow – “permit me to submit the reflection to yourself. Well, young gentlemen, the bullet was afterward extracted by pulling upon the external parts of the cul-de-sac – a simple, but exceedingly beautiful operation. There is a fine example, somewhat similar, related in Guthrie; but, of course, you must have met with it, in so well-known a work as his Treatise upon Gun-shot Wounds. When, upward of twenty years ago, I was with Lord Cochrane, then Admiral of the fleets of this very country” – pointing shoreward, out of a port-hole – “a

sailor of the vessel to which I was attached, during the blockade of Bahia, had his leg –” But by this time the fidgets had completely taken possession of his auditors, especially of the senior surgeons; and turning upon them abruptly, he added, “But I will not detain you longer, gentlemen” – turning round upon all the surgeons – “your dinners must be waiting you on board your respective ships. But, Surgeon Sawyer, perhaps you may desire to wash your hands before you go. There is the basin, sir; you will find a clean towel on the rammer. For myself, I seldom use them” – taking out his handkerchief. “I must leave you now, gentlemen” – bowing. “Tomorrow, at ten, the limb will be upon the table, and I shall be happy to see you all upon the occasion. Who’s there?” turning to the curtain, which then rustled.

“Please, sir,” said the Steward, entering, “the patient is dead.”

“The body also, gentlemen, at ten precisely,” said Cuticle, once more turning round upon his guests. “I predicted that the operation might prove fatal; he was very much run down. Good morning,” and Cuticle departed.

“He does not, surely, mean to touch the body?” exclaimed Surgeon Sawyer, with much excitement.

“Oh, no!” said Patella, “that’s only his way; he means, doubtless, that it may be inspected previous to being taken ashore for burial.”

The assemblage of gold-laced surgeons now ascended to the quarter-deck; the second cutter was called away by the bugler, and, one by one, they were dropped aboard of their respective ships.

The following evening the mess-mates of the top-man rowed his remains ashore, and buried them in the ever-vernal Protestant cemetery, hard by the Beach of the Flamingoes, in plain sight from the bay.

Публикуется по: Melville H. Redburn, White-Jacket, Moby-Dick. N. Y.: Literary Classics of the United States, 1983.

Questions

1. How is the arrival of surgeons described? What details are given? How did they look like? What occasion were they to celebrate?
2. What function is achieved with the help of a detailed description of the preparations for the operation?
3. What object did the “duty” as an amputation-table? What is it suggestive of?
4. What were the functions of the “Surgeon’s Steward”? Who was the “Surgeon’s Steward” compared with? What does this simile imply?

5. What was the most striking object behind the ensign? Where was it placed?
What does this detail imply?
6. What was Surgeon Cuticle doing at the moment when final preparations were being made?
7. What parallel can be drawn from the preparation details? If we connect the comparison with a butler and the description of the “glittering knives”, what implication can be figured out?
8. What did the top-man stretched upon the table see when he opened his eyes?
Why did he faint several times?
9. What did Surgeon Cuticle say in his address to the wounded patient?
10. What did Cuticle call “a masterpiece of art”, “a splendid subject”, “a simple, but exceedingly beautiful operation”?
11. How did Surgeon Wedge “elevate himself”?

Paraphrase or explain

1. “...The army is your best school”.
2. “Thus divested of nearly all inorganic appurtenances, what was left of the Surgeon slightly shook itself, to see whether anything more could be spared to advantage”.
3. “Now the Surgeon of Fleet and the top-man presented a spectacle which, to a reflecting mind, was better than a church-yard sermon on the mortality of man”.
4. “The withered, shrunken, one-eyed, toothless, hairless Cuticle; with a trunk half dead – a memento mori to behold!”
5. “... Cuticle must have left his hold of life as secure as the grim hug of a grizzly bear.”
6. “Life is more awful than Death...”
7. “And so saying, Bandage, with a bow, placed the two semicircles of ivory into Cuticle’s hands.”

8. “I tell you if it is not an uncommon thing for the patient to betray some emotion upon these occasions – most usually manifested by swooning.”
9. “They are quite at your service, Sir.” (What is it said about?)
10. “The body also, gentlemen, at ten precisely...”

Discussion points

- What micro situations seem grotesque, founded on exaggeration? What actions or verbal expressions seem most inappropriate to the situation?
- Which of the quotations given in the “Paraphrase or explain section” sound ironical?”
- Speak on the manner of Cuticle’s lecturing?
- Describe the Surgeons on board the ship. What features of the description seem most ridiculous?
- What meaning does irony convey in this fragment?
- Find at least three situations that can be considered ironical because of the incongruity between words and actions, opinions and events?

Translation exercises

1. Study those parts of the story where disgusting scenes and descriptions are juxtaposed and cause ridicule of the reader?
2. Write out examples of objective unemotional descriptions and compare them with their translations. Say, if the unemotional tone is rendered in translation. How is it achieved? Fill in the table that follows.

Original text	Translation	Transformation or translation strategy applied

Глава 4

«Черный юмор» в литературе фронта

В конце XIX века американские интеллектуалы, пытавшиеся выявить факторы, в наибольшей степени повлиявшие на развитие нации, пришли к выводу, что самыми очевидными и, следовательно, наиболее существенными были специфические природные и социальные условия, в которых происходило формирование Соединенных Штатов. В 1893 году историк Ф. Д. Тернер обозначил этот комплекс обстоятельств как «фронтир» – зону освоения цивилизацией дикой природы (от англ. *frontier* – пограничье, противопоставлявшееся слову *boundary*, которым обозначалась государственная граница с Мексикой и Канадой). Его концепция о решающем воздействии на черты национального характера и систему демократических общественных институтов опыта жизни в точке столкновения дикости и цивилизации завоевала большую популярность и явилась одной из форм поиска самоидентичности молодой американской культуры. Выживание в суровых условиях природы североамериканского континента стало школой нации, а сосуществование разношерстного населения в поселках пионеров – первыми и самыми ценными уроками подлинной, а не декларируемой демократии.

Наиболее значимыми в культурном отношении регионами фронта оказались две области: Старый Юго-запад (Old South-West) – территория современных штатов Арканзас, Кентукки, Миссури, Оклахома, Теннесси, Техас – и Дикий Запад (Wild West). И если Дикий Запад в XX веке дал мировой культуре жанр вестерна, то Старому Юго-западу в XIX столетии своими специфическими особенностями обязан американский юмор.

По мнению американских исследователей, юмор оказался наиболее адекватен тем условиям первозданного природного и социального хаоса, в которые попадал переселенец из мира упорядоченной европейской цивилизации, он был своего рода оформлением того культурного шока, который постоянно испытывали фронтисмены. Просторы североамериканского континента изобиловали богатейшими природными ресурсами и таившимися в ней смертельными опасностями. Когда в начале XIX века на востоке США прочитали отчет скаута Джима Бриджера об экспедиции на территорию современного Йеллоустоунского национального парка, его приняли за чудовищную выдумку. Природа Америки повергала в изумление, но, вместе с тем, была источником смертельной угрозы: смерть в лапах хищника, от голода, вызванного летней засухой или суровой зимой, гибель во время нападения индейцев или стихийных бедствий и несчаст-

ных случаев были далеко не редкостью. Часто пересказывались истории о случаях людоедства, вызванного нехваткой съестных припасов¹.

Тот же, выходящий за рамки всякого понимания враждебный хаос царил и в человеческих взаимоотношениях. «Это были восхитительные времена, когда еще ничего не устоялось и не определилось. Хаос возникал вновь и вновь, а точнее никогда и не исчезал... Общество было полностью дезорганизовано: не было контроля со стороны общественного мнения, закон был почти бессилён, а о религии вообще не вспоминали, конечно, если не считать, безбожных ругательств и проклятий»², – вспоминал один из очевидцев того времени. В отсутствии внешних сдерживающих факторов со стороны общества близость к малоисследованной, непредсказуемой и жестокой природе выработала особое отношение к миру, в котором большую роль играла грубая сила: «Огрубевшие от тягот, которые им довелось перенести, эти люди были способны на самое отвратительное насилие. Путешественники становились свидетелями драк на берегах Огайо и Миссисипи, в которых обычным делом было выдавливание глаз, отгрызание пальцев, подвешивание за ноги, разбивание головы, откусывание ушей и носа, и отрывание зубами нижней губы противника»³.

Экстремальные условия существования в условиях цивилизационного пограничья породили особый вариант субкультуры, в которой принципиальное значение придавалось смеху и юмору – ему отводились очень важные психотерапевтические и познавательные функции. По словам одного из исследователей фронта начала XX века А. Б. Пейна, жизнь там была настолько тяжелой, «что женщины смеялись, когда они уже не могли плакать, а мужчины – когда у них полностью иссякал запас всевозможных ругательств»⁴.

По мнению российского исследователя В. И. Карасика, по способу взаимодействия с окружающей действительностью шутки можно разделить на два вида⁵. В обществах с устоявшимися традициями и стабильной социальной структурой (например, викторианская Англия или Россия XIX века) функция юмора состоит в том, чтобы вносить в упорядоченный образ жизни безвредную долю хаоса и абсурда. И, наоборот, в тех случаях, когда само общество пребывает в состоянии хаоса и безумия, он становится одним из средств привнесения в него гармонии и порядка. Со времен Аристотеля известно, что с отрицательными сторонами жизни и с негативным мироощущением преимущественно связана комедия. Комические образы благодаря своей внутренней противоречивости становятся адекватной моделью хаоса, то есть вводят его в воспринимаемые человеческим сознанием рамки. Комическое формирует парадигму освоения и осмысления абсурдного мира, снабжает писателя и читателя необходимым логико-понятийным аппаратом, облегчающим выражение опыта пребывания в мире хаоса и задающим способы прочтения этого опыта. Кроме того, восприя-

тие комических образов может служить образцом для поведения в мире хаоса: для того чтобы придумать шутку или посмеяться над ней, необходимо проделать внутреннюю работу, занять активную жизненную позицию, соучаствуя в ее культурном функционировании.

Этим можно объяснить большую популярность среди жителей фронта именно юмористических произведений: «Превращая в трагифарс дикие и первобытные эмоции, фронтисмен сохранял свою человечность – каким бы грубым при этом ни становился его язык, – потому что фарс превращал жестокость в театральное представление, розыгрыш, позволяя его автору занять позицию отстраненного наблюдателя и рассмеяться в лицо собственным страхам»⁶. Например, в фольклоре фронта самым развитым жанром была небылица (*tall tale*), ее героями были полуполюгендарные персонажи (наибольшей популярностью пользовались истории о Майке Финке и Дэйви Крокете), они изобиловали жестокими сценами, гротескными образами, но, вместе с тем, излучали здоровый оптимизм и задорный патриотично-пропагандистский настрой. В этих рассказах тяготы и опасности жизни на границе дикой природы и цивилизации смягчались путем доведения их до абсурда, они были преувеличены до такой степени неправдоподобия, что не воспринимались слушателями всерьез, казались незначительными и безвредными.

В 1830-1840-е годы эта психологическая установка получает литературное оформление: «Внезапно, почти хором, разные люди по всему Югу – но в особенности в той части региона между Миссисипи и Аллеганскими горами, которая позднее будет названа Юго-западом – начали писать юмористические очерки»⁷. Авторы этих произведений (среди наиболее значимых можно назвать А. Лонгстрита, У. Томпсона, Д. Хупера, Д. Харриса, Т. Торпа) уже в силу своей профессиональной принадлежности находились на переднем крае борьбы между варварством и цивилизацией, порядком и хаосом. Кеннет Линн в книге, посвященной юго-западному юмору и творчеству Марка Твена, выделяет следующие общие черты в биографиях писателей этого региона: «Типичный юго-западный юморист был профессионалом – как правило, юристом или журналистом, реже врачом или актером. Он живо интересовался местными политическими событиями, будучи либо активистом какой-либо партии, либо кандидатом на выборную должность. Он получил сравнительно хорошее образование и много путешествовал, хотя Америку знал лучше, чем Европу. У него естественно было хорошее чувство юмора, но зачастую крайне скверный характер. ... Он был патриотом Юга, придерживался консервативных взглядов и был близок к местной аристократии в вопросах политики штата»⁸. Жизнь юмористов на Юго-западе была очень опасной, события, описанные в рассказе Марка Твена «Журналистика в Теннесси» (*Journalism in Tennessee*, 1869), были типичны для рабо-

чего дня в редакциях местных газет. В книге Кеннет Линн приводятся воспоминания журналиста Эдварда Инглса, работавшего в одной из газет штата Миссисипи до Гражданской войны: «Основатель газеты после неоднократного участия в уличных потасовках и дуэлях был убит. Из его преемников четверо были убиты на дуэлях или в уличных драках, один – редактором конкурирующего издания, один утопился, а другой, кого-то убив, сбежал в Техас, где его тоже застрелили»⁹.

Условия жизни определили основные особенности юмора Юго-запада, которые позднее распространились на весь американский юмор. Среди них выделяются следующие: специфическая игровая форма хвастовства и преувеличений; использование нестандартной речи для придания сходства с произведениями фольклора; неуважительно-презрительное отношение к любым авторитетам, выражающееся в высмеивании религиозных и политических лидеров, представителей судебной власти и правоохранительной системы; возвеличивание обычного человека и снисходительно-ироничное отношение к интеллектуалам; получение удовольствия от выстраивания абсурдных ситуаций и несерьезная трактовка таких ужасных тем, как голод, несчастные случаи и смерть¹⁰.

Миссия интеллектуала, живущего среди варварства, состояла в привнесении в мир хаоса порядка и организованности, она определила излюбленную повествовательную структуру произведений юго-западного юмора. По форме это был беспристрастный отчет никогда не теряющего самообладания и невозмутимости джентльмена (Self-reserved Gentleman), выступающего в роли рассказчика, по содержанию – набор сцен жесткости, насилия и зверства. В качестве жертв, за счет которых развлекалась публика, в них обычно фигурировали иностранцы или приезжие с востока США, не имевшие ни малейшего представления о местных нравах и обычаях. Рассказчик наблюдал за их страданиями с безопасного расстояния, присоединяясь к веселящейся публике и внося свою лепту в апологетику местного, локального патриотизма.

Рассказы Марка Твена воспроизводят основные особенности юго-западного юмора, но, вместе с тем, в них присутствуют определенные новшества, которые переводят их на качественно новый уровень полноценной литературы. Примерно так же, как и в произведениях Э. По и Г. Мелвилла, изменяются отношения между объектом насмешки и получающей удовольствие публикой, например, в «Журналистике в Теннесси»: фигуры рассказчика и беспомощной жертвы местных суровых традиций соединяются. С помощью этого приема писатель решает две задачи. Во-первых, читатель воспринимает все происходящее с точки зрения рассказчика/жертвы и готов поставить себя на его место, поэтому текст такого рода найдет свой эмоциональный отклик среди максимально широкой читательской аудитории, не ограничивающейся исключительно жите-

лями родного города автора. Во-вторых, изложение сцен насилия и жестокости с позиции жертвы переключает внимание читателя с самих сцен на формы реакции на них со стороны рассказчика, иными словами, более важным становится не то, о чем рассказывается, а то, в какую словесную и эмоционально-экспрессивную форму это облекается. В результате вульгарная зрелищность уступает место словесному мастерству автора: читатель становится свидетелем того, как писатель, не уходя от неприглядных сторон действительности, а используя их, превращает изначально внеэстетичный материал в произведение художественной литературы. Заслуга Марка Твена, чьи рассказы, по общему мнению американских исследователей литературы, стали лучшим образцом юмора Юго-запада, состояла именно в том, что он применил свой литературный талант для преодоления региональной ограниченности данной формы литературы и смог придать ей общенациональную и общечеловеческую значимость.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эта тема обыгрывается, например, в рассказе Марка Твена «Людоедство в поезде» (*Cannibalism in the cars*, 1868).

² Цит. по: Lynn K. *Mark Twain and Southwestern Humor*. Boston: Little, Brown & Company, 1959. P. 118.

³ *Ibid.* P. 25.

⁴ Цит. по: Anderson J. *Scholarship in Southwestern Humor – Past and Present* // *Mississippi Quarterly*. 1964. Vol. 17, № 2. P. 69.

⁵ Карасик В. И. Юмористическое общение: универсальное и идиокультурное // *Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности*: в 2 ч. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2004. Ч. 1. С. 131-134.

⁶ Lynn K. *Mark Twain and Southwestern Humor*. P. 28.

⁷ *Ibid.* P. 51.

⁸ *Ibid.* P. 52.

⁹ *Ibid.* P. 62.

¹⁰ Nilsen A., Nilsen D. *Encyclopedia of 20th-Century American Humor*. Phoenix, AZ.: Oryx Press, 2000. P. 125.

Журналистика в Теннесси

*«Редактор мемфисской «Лавины» деликатно намекнул корреспонденту, который посмел назвать его радикалом; «Выводя первое слово, ставя запятую и закругляя период, он уже отлично знал, что стряпает фразу, насквозь пропитанную подлостью и пахнущую ложью»,
«Биржа».*

Доктор сказал мне, что южный климат благотворно подействует на мое здоровье, поэтому я поехал в Теннесси и поступил помощником редактора в газету «Утренняя Заря и Боевой Клич округа Джонсон». Когда я пришел в редакцию, ответственный редактор сидел, раскачиваясь на трехногом стуле и задрал ноги на сосновый стол. В комнате стоял еще один сосновый стол и еще один колченогий стул, заваленные ворохом газет, бумаг и рукописей. Был, кроме того, деревянный ящик с песком, усеянный сигарными и папиросными окурками, и чугунная печка с дверцей, едва державшейся на одной верхней петле. Редактор был одет в длиннополый сюртук черного сукна и белые полотняные штаны. Сапоги на нем были модные, начищенные до блеска. Он носил манишку, большой перстень с печаткой, высокий старомодный воротничок и клетчатый шелковый шейный платок с концами навывпуск. Его костюм относился приблизительно к 1848 году. Он курил сигару и в поисках нужного слова часто запускал руку в волосы, так что порядком взлохматил свою шевелюру. Он грозно хмурился, и я решил, что он, должно быть, стряпает особенно забористую передовицу. Он велел мне взять обменные экземпляры газет, просмотреть их и, выбрав оттуда все достойное внимания, написать обзор «Дух теннессийской печати». Вот что получилось у меня:

«ДУХ ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Редакцию «Еженедельного Землетрясения», по-видимому, ввели в заблуждение относительно Баллигакской железнодорожной компании. Компания отнюдь не ставит себе целью обойти Баззардвилл стороной. Наоборот, она считает его одним из самых важных пунктов на линии и, следовательно, не намерена оставлять этот город в стороне. Мы не сомневаемся, что джентльмены из «Землетрясения» охотно исправят свою ошибку.

Джон У. Блоссом, эсквайр, талантливый редактор хиггинсвиллской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы» прибыл вчера в наш город. Он остановился у Ван-Бюрена.

Мы имели случай заметить, что наш коллега из «Утреннего Воя» ошибся, предполагая, что Ван-Вертер не был избран, но он, без сомнения, обнаружит свой промах гораздо раньше, чем наше напоминание попадет ему на глаза. Вероятно, его ввели в заблуждение неполные отчеты о выборах.

Мы с удовольствием отмечаем, что город Блэзерсвилл, по-видимому, намерен заключить контракт с джентльменами из Нью-Йорка и вымостить почти непроходимые улицы своего города никольсоновской мостовой. «Ежедневное Ура» очень энергично поддерживает это начинание и, по-видимому, верит, что оно увенчается успехом».

Я передал мою рукопись редактору для одобрения, переделки или уничтожения. Он взглянул на нее и нахмурился. Бегло просмотрев ее, он стал мрачен, как туча. Нетрудно было заметить, что здесь что-то неладно. Он вскочил с места и сказал:

– Гром и молния! Неужели вы думаете, что я так разговариваю с этими скотами? Неужели вы думаете, что моих подписчиков не стошнит от такой размазни? Дайте мне перо!

Я еще не видывал, чтобы перо с такой яростью царапало и рвало бумагу и чтобы оно так безжалостно бороздило чужие глаголы и прилагательные. Он не добрался еще и до середины рукописи, как кто-то выстрелил в него через открытое окно и слегка испортил фасон моего уха.

– Ага, – сказал он, – это мерзавец Смит из «Морального Вулкана», я его ждал вчера.

И, выхватив из-за пояса револьвер флотского образца, он выстрелил. Смит упал, сраженный пулей в бедро. Это помешало ему прицелиться как следует. Стреляя во второй раз, он искалечил постороннего. Посторонним был я. Впрочем, он отстрелил мне всего только один палец.

Затем главный редактор опять принялся править и вычеркивать. Не успел он с этим покончить, как в трубу свалилась ручная граната и печку разнесло вдребезги. Однако больших убытков от этого не произошло, если не считать, что шальным осколком мне вышибло два зуба.

– А печка-то совсем развалилась, – сказал главный редактор.

Я сказал, что, кажется, да.

– Ну, не важно. На что она в такую погоду? Я знаю, кто это сделал. Он от меня не уйдет. Послушайте, вот как надо писать такие вещи.

Я взял рукопись. Она была до того исполосована вычеркиваниями и пометками, что родная мать ее не узнала бы.

Вот что получилось у него:

«ДУХ ТЕННЕССКОЙ ПЕЧАТИ

Закоренелые лгуны из «Еженедельного Землетрясения» опять, по-видимому, стараются втереть очки нашему рыцарски-благородному народу, распуская подлую и грубую ложь относительно величайшего предприятия

девятнадцатого века – Баллигэкской железной дороги. Мысль, будто бы Баззардвилл намереваются обойти стороной, зародилась в их собственных заплесневелых мозгах, вернее – в той каше, которая заменяет им мозг. Пусть лучше возьмут свои слова обратно и подавятся ими, если хотят спасти свою подлую шкуру от плетки, которую они вполне заслужили.

Этот осел Блоссом из хиггинсвиллской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы» опять появился здесь и околачивается в нахлебниках у Ван-Бюрена.

Мы имели случай заметить, что безмозглый проходимец из «Утреннего Воя», по своей неудержимой склонности к вранью, сбрехнул, будто бы Ван-Вертер не прошел на выборах. Высокая миссия журналиста заключается в том, чтобы сеять правду, искоренять заблуждения, воспитывать, очищать и повышать тон общественной морали и нравов, стараться, чтобы люди становились более кроткими, более добродетельными, более милосердными, чтобы они становились во всех отношениях лучше, добродетельнее и счастливее; а этот гнусный негодяй компрометирует свое высокое звание тем, что сеет повсюду ложь, клевету, непристойную брань и всяческую пошлость.

Блэзерсвиллцам понадобилась вдруг никольсоновская мостовая – им куда нужнее тюрьма и приют для убогих. Кому нужна мостовая в ничтожном городишке, состоящем из двух баров, одной кузницы и этого горчичника вместо газеты, «Ежедневного Ура»? Эта ползучая гадина Бакнер, который редактирует «Ура», блеет о мостовой со своим обычным идиотизмом, а воображает, будто говорит дело».

– Вот как надо писать: с перцем и без лишних слов! А от таких слюнявых статей, как ваша, всякого тоска возьмет.

Тут в окно с грохотом влетел кирпич, посыпались осколки, и меня порядкомхватило по спине. Я посторонился; я начинал чувствовать, что я здесь лишний.

Редактор сказал:

– Это, должно быть, полковник. Я его уже третий день жду. Сию минуту он и сам явится.

Он не ошибся. Минутой позже в дверях появился полковник с револьвером армейского образца в руке.

Он сказал:

– Сэр, я, кажется, имею честь говорить с презренным трусом, который редактирует эту дрянную газетку?

– Вот именно. Садитесь, пожалуйста. Осторожнее, у этого стула не хватает ножки. Кажется, я имею честь говорить с подлым лжецом, полковником Блэзерскайтом Текумсе?

– Совершенно верно, сэр. Я пришел свести с вами небольшой счет. Если вы свободны, мы сейчас же и начнем.

– Мне еще нужно кончить статью «О поощрении морального и интеллектуального прогресса в Америке», но это не к спеху. Начинайте!

Оба пистолета грянули одновременно. Редактор потерял клочок волос, а пуля полковника засела в мясистой части моего бедра. Полковнику оцарапало левое плечо. Они опять выстрелили. На этот раз ни тот, ни другой из противников не пострадал, а на мою долю кое-что досталось – пуля в плечо. При третьем выстреле оба джентльмена были легко ранены, а мне раздробило запястье. Тут я сказал, что, пожалуй, пойду прогуляться, так как это их личное дело, и я считаю неделикатным в него вмешиваться. Однако оба джентльмена убедительно просили меня остаться и уверяли, что я нисколько им не мешаю.

Потом, перезаряжая пистолеты, они поговорили о выборах и о видах на урожай, а я начал было перевязывать свои раны. Но они, недолго мешкая, опять открыли оживленную перестрелку, и ни один выстрел не пропал даром. Пять из шести достались на мою долю. Шестой смертельно ранил полковника, который не без юмора заметил, что теперь он должен проститься с нами, так как у него есть дело в городе. Спросив адрес гробовщика, он ушел.

Редактор обернулся ко мне и сказал:

– Я жду гостей к обеду, и мне нужно закончить приготовления. Сделайте одолжение, прочтите корректуру и примите посетителей.

Я немножко поморщился, услышав о приеме посетителей, но не нашелся, что ответить, – я был совершенно оглушен перестрелкой и никак не мог прийти в себя.

Он продолжал:

– Джонс будет здесь в три – отстегайте его плетью, Гиллспай, вероятно, зайдет раньше – вышвырните его из окна, Фергюссон заглянет к четверем – застрелите его. На сегодня это, кажется, все. Если выберется свободное время, напишите о полиции статейку позабористее – всыпьте главному инспектору, пускай почешется. Плетки лежат под столом, оружие в ящике, пуля и порох вон там в углу, бинты и корпия в верхних ящиках шкафа. Если с вами что-нибудь случится, зайдите к Ланцету – это хирург, он живет этажом ниже. Мы печатаем его объявления бесплатно.

Он ушел. Я содрогнулся. После этого прошло всего каких-нибудь три часа, но мне пришлось столько пережить, что всякое спокойствие, всякая веселость оставили меня навсегда. Гиллспай зашел и выбросил меня из окна. Джонс тоже явился без опоздания, и только я было приготовился отстегать его, как он перехватил у меня плетку. В схватке с незнакомцем, который не значился в расписании, я потерял свой скальп. Другой незнакомец, по фамилии Томпсон, оставил от меня одно воспоминание. Наконец, загнанный в угол и осажденный разъяренной толпой редакторов, политиканов, жучков и головорезов, которые орали, бранились и размахивали оружием над моей головой так, что воздух искрился и мерцал от сверкающей стали, я уже готовился расстаться со своим местом в редакции, как явился мой шеф, окруженный толпой восторженных поклонников и друзей. Началась такая свалка и резня, каких не в состоянии описать человеческое перо, хотя бы оно было и стальное. Люди стреляли, кололи, рубили,

взрывали, выбрасывали друг друга из окна. Пронесся буйный вихрь кощунственной брани, блеснули беспорядочные вспышки воинственного танца – и все кончилось. Через пять минут наступила тишина, и мы остались вдвоем с истекающим кровью редактором, обозревая поле битвы, усеянное кровавыми останками.

Он сказал:

– Вам здесь понравится, когда вы немножко привыкнете.

Я сказал:

– Я должен буду перед вами извиниться; может быть, через некоторое время я и научился бы писать так, как вам нравится; я уверен, что при некоторой практике я привык бы к газетному языку. Но, говоря по чистой совести, такая энергичная манера выражаться имеет свои неудобства – человеку постоянно мешают работать. Вы это и сами понимаете. Энергический стиль, несомненно, имеет целью возвысить душу читателя, но я не люблю обращать на себя внимание, а здесь это неизбежно. Я не могу писать спокойно, когда меня то и дело прерывают, как это было сегодня. Мне очень нравится эта должность, не нравится только одно – оставаться одному и принимать посетителей. Эти впечатления для меня новы, согласен, и даже увлекательны в некотором роде, но они имеют несколько односторонний характер. Джентльмен стреляет через окно в вас, а попадает в меня; бомбу бросают в трубу ради того, чтобы доставить удовольствие вам, а печной дверцей вышибает зубы мне; приятель заходит для того, чтобы обменяться комплиментами с вами, а портит кожу мне, так изрешетив ее пулями, что теперь ни один принцип журналистики в ней не удержится; вы уходите обедать, а Джонс является ко мне с плеткой, Гиллспай выбрасывает меня из окна, Томпсон раздевает меня догола, совершенно посторонний человек с непринужденностью старого знакомого сдирает с меня скальп, и через какие-нибудь пять минут проходимцы со всей округи являются сюда в военной раскраске и загоняют мне душу в пятки своими томагавками. Верьте слову, я никогда в жизни не проводил время так оживленно, как сегодня. Вы мне очень нравитесь, мне нравится ваша спокойная, невозмутимая манера объясняться с посетителями, но я, видите ли, к этому не привык. Южане слишком экспансивны, слишком щедро расточают гостеприимство посторонним людям. Те страницы, которые я написал сегодня и которые вы оживили рукой мастера, влив в мои холодные фразы пылкий дух теннессийской журналистики, разбудят еще одно осиное гнездо. Вся эта свора редакторов явится сюда, – они явятся голодные и захотят кем-нибудь позавтракать. Я должен с вами проститься. Я уклоняюсь от чести присутствовать на этом пиршестве. Я приехал на Юг для поправки здоровья и уеду за тем же, ни минуты не задерживаясь. Журналистика в Теннесси слишком живое дело – оно не по мне.

Мы расстались, выразив друг другу взаимные сожаления, и я тут же перебрался в больницу.

Перевод Н. Дарузес

Публикуется по: Твен М. Собрание сочинений: в 12 т. М.: ГИХЛ, 1961. Т. 10.

Journalism in Tennessee

The editor of *the Memphis Avalanche* swoops thus mildly down upon a correspondent who posted him as a Radical: "While he was writing the first word, the middle, dotting his i's, crossing his t's, and punching his period, he knew he was concocting a sentence that was saturated with infamy and reeking with falsehood." – *Exchange*.

I was told by the physician that a Southern climate would improve my health, and so I went down to Tennessee, and got a berth on the *Morning Glory and Johnson County War-Whoop* as associate editor. When I went on duty I found the chief editor sitting tilted back in a three-legged chair with his feet on a pine table. There was another pine table in the room and another afflicted chair, and both were half buried under newspapers and scraps and sheets of manuscript. There was a wooden box of sand, sprinkled with cigar stubs and "old soldiers," and a stove with a door hanging by its upper hinge. The chief editor had a long-tailed black cloth frock-coat on, and white linen pants. His boots were small and neatly blacked. He wore a ruffled shirt, a large seal-ring, a standing collar of obsolete pattern, and a checkered neckerchief with the ends hanging down. Date of costume about 1848. He was smoking a cigar, and trying to think of a word, and in pawing his hair he had rumped his locks a good deal. He was scowling fearfully, and I judged that he was concocting a particularly knotty editorial. He told me to take the exchanges and skim through them and write up the "Spirit of the Tennessee Press," condensing into the article all of their contents that seemed of interest.

I wrote as follows:

"SPIRIT OF THE TENNESSEE PRESS.

"The editors of the *Semi-Weekly Earthquake* evidently labor under a misapprehension with regard to the Dallyhack railroad. It is not the object of the company to leave Buzzardville off to one side. On the contrary, they consider it one of the most important points along the line, and consequently can have no desire to slight it. The gentlemen of the *Earthquake* will, of course, take pleasure in making the correction.

"John W. Blossom, Esq., the able editor of the *Higginsville Thunderbolt and Battle Cry of Freedom*, arrived in the city yesterday. He is stopping at the Van Buren House.

"We observe that our contemporary of the *Mud Springs Morning Howl* has fallen into the error of supposing that the election of Van Werter is not an established fact, but he will have discovered his mistake before this reminder reaches him, no doubt. He was doubtless misled by incomplete election returns.

"It is pleasant to note that the city of Blathersville is endeavoring to contract with some New York gentlemen to pave its well-nigh impassable streets with the Nicholson pavement. But it is difficult to accomplish a desire like this

since Memphis got some New Yorkers to do a like service for her and then declined to pay for it. The *Daily Hurrah* urges the measure with ability, and seems confident of ultimate success.

“We are pained to learn that Col. Bascom, chief editor of the *Dying Shriek for Liberty*, fell in the street a few evenings since and broke his leg. He has lately been suffering with debility, caused by overwork and anxiety on account of sickness in his family, and it is supposed that he fainted from the exertion of walking too much in the sun.”

I passed my manuscript over to the chief editor for acceptance, alteration, or destruction. He glanced at it and his face clouded. He ran his eye down the pages, and his countenance grew portentous. It was easy to see that something was wrong. Presently he sprang up and said:

“Thunder and lightning! Do you suppose I am going to speak of those cattle that way? Do you suppose my subscribers are going to stand such gruel as that? Give me the pen!”

I never saw a pen scrape and scratch its way so viciously, or plow through another man’s verbs and adjectives so relentlessly. While he was in the midst of his work, somebody shot at him through the open window, and marred the symmetry of my ear.

“Ah,” said he, “that is that scoundrel Smith, of the Moral Volcano – he was due yesterday.” And he snatched a navy revolver from his belt and fired – Smith dropped, shot in the thigh. The shot spoiled Smith’s aim, who was just taking a second chance and he crippled a stranger. It was me. Merely a finger shot off.

Then the chief editor went on with his erasure; and interlineations. Just as he finished them a hand grenade came down the stove-pipe, and the explosion shivered the stove into a thousand fragments. However, it did no further damage, except that a vagrant piece knocked a couple of my teeth out.

“That stove is utterly ruined,” said the chief editor.

I said I believed it was.

“Well, no matter – don’t want it this kind of weather. I know the man that did it. I’ll get him. Now, here is the way this stuff ought to be written.”

I took the manuscript. It was scarred with erasures and interlineations till its mother wouldn’t have known it if it had had one. It now read as follows:

“SPIRIT OF THE TENNESSEE PRESS.

“The inveterate liars of the *Semi-Weekly Earthquake* are evidently endeavoring to palm off upon a noble and chivalrous people another of their vile and brutal falsehoods with regard to that most glorious conception of the nineteenth century, the Ballyhack railroad. The idea that Buzzardville was to be left off at one side originated in their own fulsome brains – or rather in the settlings which *they* regard as brains. They had better swallow this lie if they want to save their abandoned reptile carcasses the cowhiding they so richly deserve.

“That ass, Blossom, of the Higginsville *Thunderbolt and Battle Cry of Freedom*, is down here again sponging at the Van Buren.

“We observe that the besotted blackguard of the Mud Springs *Morning Howl* is giving out, with his usual propensity for lying, that Van Werter is not elected. The heaven-born mission of journalism is to disseminate truth – to eradicate error – to educate, refine, and elevate the tone of public morals and manners, and make all men more gentle, more virtuous, more charitable, and in all ways better, and holier, and happier – and yet this black-hearted villain, this hell-spawned miscreant, prostitutes his great office persistently to the dissemination of falsehood, calumny, vituperation and degrading vulgarity. His paper is notoriously unfit to take into the people’s homes, and ought to be banished to the gambling hells and brothels where the mass of reeking pollution which does duty as its editor, lives and moves, and has his being.

Blathersville wants a Nicholson pavement – it wants a jail and a poorhouse more. The idea of a pavement in a one-horse town with two gin-mills, a blacksmith shop, and that mustard-plaster of a newspaper, the *Daily Hurrah!* Better borrow of Memphis, where the article is cheap. The crawling insect, Buckner, who edits the *Hurrah*, is braying about his business with his customary imbecility, and imagining that he is talking sense. Such foul, mephitic scum as verminous Buckner, are a disgrace to journalism.

“That degraded ruffian Bascom, of the *Dying Shriek for Liberty*, fell down and broke his leg yesterday – pity it wasn’t his neck. He says it was ‘debility caused by overwork and anxiety!’ It was debility caused by trying to lug six gallons of forty-rod whisky around town when his hide is only gauged for four, and anxiety about where he was going to bum another six. He ‘fainted from the exertion of walking too much in the sun!’ And well he might say that – but if he would walk *straight* he would get just as far and not have to walk half as much. For years the pure air of this town has been rendered perilous by the deadly breath of this perambulating pestilence, this pulpy bloat, this steaming, animated tank of mendacity, gin and profanity, this Bascom! Perish all such from out the sacred and majestic mission of journalism!”

“Now *that* is the way to write – peppery and to the point. Mush-and-milk journalism gives me the fan-tods.”

About this time a brick came through the window with a splintering crash, and gave me a considerable of a jolt in the back. I moved out of range – I began to feel in the way. The chief said:

“That was the Colonel, likely. I’ve been expecting him for two days. He will be up now right away.”

He was correct. The “Colonel” appeared in the door a moment afterward with a dragoon revolver in his hand. He said:

“Sir, have I the honor of addressing the white-livered poltroon who edits this mangy sheet?”

“You have – be seated, sir – be careful of the chair, one of its legs is gone. I believe I have the honor of addressing the blatant, black-hearted scoundrel, Colonel Blatherskite Tecumseh?”

“Right, Sir. I have a little account to settle with you. If you are at leisure we will begin.”

“I have an article on the “Encouraging Progress of Moral and Intellectual Development in America” to finish, but there is no hurry. Begin.”

Both pistols rang out their fierce clamor at the same instant. The chief lost a lock of his hair, and the Colonel’s bullet ended its career in the fleshy part of my thigh. The Colonel’s left shoulder was clipped a little. They fired again. Both missed their men this time, but I got my share, a shot in the arm. At the third fire both gentlemen were wounded slightly, and I had a knuckle chipped. I then said, I believed I would go out and take a walk, as this was a private matter, and I had a delicacy about participating in it further. But both gentlemen begged me to keep my seat, and assured me that I was not in the way. I had thought differently, up to this time.

They then talked about the elections and the crops while they reloaded, and I fell to tying up my wounds. But presently they opened fire again with animation, and every shot took effect – but it is proper to remark that five out of the six fell to my share. The sixth one mortally wounded the Colonel, who remarked, with fine humor, that he would have to say good morning now, as he had business uptown. He then inquired the way to the undertaker’s and left. The chief turned to me and said:

“I am expecting company to dinner, and shall have to get ready. It will be a favor to me if you will read proof and attend to the customers.”

I winced a little at the idea of attending to the customers, but I was too bewildered by the fusillade that was still ringing in my ears to think of anything to say. He continued:

“Jones will be here at three – cowhide him. Gillespie will call earlier, perhaps – throw him out of the window. Ferguson will be along about four – kill him. That is all for today, I believe. If you have any odd time, you may write a blistering article on the police – give the chief inspector rats. The cowhides are under the table; weapons in the drawer-ammunition there in the corner-lint and bandages up there in the pigeonholes. In case of accident, go to Lancet, the surgeon, downstairs. He advertises – we take it out in trade.”

He was gone. I shuddered. At the end of the next three hours I had been through perils so awful that all peace of mind and all cheerfulness were gone from me. Gillespie had called and thrown *me* out of the window. Jones arrived promptly, and when I got ready to do the cowhiding he took the job off my hands. In an encounter with a stranger, not in the bill of fare, I had lost my scalp. Another stranger, by the name of Thompson, left me a mere wreck and ruin of chaotic rags. And at last, at bay in the corner, and beset by an infuriated mob of editors, blacklegs, politicians, and desperadoes, who raved and swore and flourished their weapons about my head till the air shimmered with glancing flashes of steel, I was in the act of resigning my berth on the paper when the chief arrived, and with him a rabble of charmed and enthusiastic friends. Then ensued a scene of riot and carnage such as no human pen, or

steel one either, could describe. People were shot, probed, dismembered, blown up, thrown out of the window. There was a brief tornado of murky blasphemy, with a confused and frantic war-dance glimmering through it, and then all was over. In five minutes there was silence, and the gory chief and I sat alone and surveyed the sanguinary ruin that strewed the floor around us.

He said:

“You’ll like this place when you get used to it.”

I said: “I’ll have to get you to excuse me; I think maybe I might write to suit you after a while; as soon as I had had some practice and learned the language I am confident I could. But, to speak the plain truth, that sort of energy of expression has its inconveniences, and a man is liable to interruption. You see that, yourself. Vigorous writing is calculated to elevate the public, no doubt, but then I do not like to attract so much attention as it calls forth. I can’t write with comfort when I am interrupted so much as I have been today. I like this berth well enough, but I don’t like to be left here to wait on the customers. The experiences are novel, I grant you, and entertaining, too, after a fashion, but they are not judiciously distributed. A gentleman shoots at you through the window and cripples *me*; a bombshell comes down the stovepipe for your gratification and sends the stove door down *my* throat; a friend drops in to swap compliments with you, and freckles *me* with bullet-holes till my skin won’t hold my principles; you go to dinner, and Jones comes with his cowhide, Gillespie throws me out of the window, Thompson tears all my clothes off, and an entire stranger takes my scalp with the easy freedom of an old acquaintance; and in less than five minutes all the blackguards in the country arrive in their war-paint, and proceed to scare the rest of me to death with their tomahawks. Take it altogether, I never had such a spirited time in all my life as I have had today. No; I like you, and I like your calm unruffled way of explaining things to the customers, but you see I am not used to it. The Southern heart is too impulsive; Southern hospitality is too lavish with the stranger. The paragraphs which I have written today, and into whose cold sentences your masterly hand has infused the fervent spirit of Tennessean journalism, will wake up another nest of hornets. All that mob of editors will come – and they will come hungry, too, and want somebody for breakfast. I shall have to bid you adieu. I decline to be present at these festivities. I came South for my health, I will go back on the same errand, and suddenly. Tennessean journalism is too stirring for me.” After which we parted with mutual regret, and I took apartments at the hospital.

1869

Публикуется по: Twain M. Collected tales, sketches, speeches, & essays. N. Y.: Literary Classics of the United States, 1992.

Questions

1. What did the narrator come to the South for?

2. How was he met by the chief editor?
3. What first task did he receive from the chief editor?
4. How did the chief editor teach the journalist to write?
5. How did the Colonel make his appearance? How did he leave?
6. How many times did the Colonel reload his gun in the course of the “conversation”?
7. What decision did the journalist make after the day spent in the Southern newspaper?

Paraphrase or explain

1. “Vigorous writing is calculated to elevate the public, no doubt, but then I do not like to attract so much attention as it calls forth”.
2. “I can’t write with comfort when I am interrupted so much as I have been today”.
3. “The experiences are novel, I grant you, and entertaining, too, after a fashion, but they are not judiciously distributed”.
4. “I never had such a spirited time in all my life as I have had today.”
5. “I like your calm unruffled way of explaining things to the customers, but you see, I am not used to it.”
6. “The Southern heart is too impulsive, Southern hospitality is too lavish with the stranger.”

Discussion points

- Compare the original version of the article written by the journalist and the corrected version and name all the changes that were made by the chief editor. Which of the variants is: a) more neutral; b) rougher; c) contains more facts; d) contains more negative attitudes? Who of the people described in the article is criticized by the author?
- How is the chief editor’s attitude expressed to:

- the editors of the *Semi-Weekly Earthquake*;
 - the Ballyhack railroad;
 - the people of the Buzzardville;
 - Mr. Blossom;
 - Van Verter;
 - Mr. Buckner.
- Speak on the names of the newspapers. Do they contribute to the absurdity of the story?
 - What mission of journalism does the chief editor see? How does it go along with his real practice?
 - Speak about the nature of irony and humor in the story. To do this, make up a list of discrepancies: what is meant and what is done; what is said and what is meant.

Translation exercises

1. How are the names of newspapers translated into Russian?
2. Study the elements that make the humorous and ironical implication of the story. Analyze how they are rendered in translation. Which moments can be attributed to the category of “black humor situations”? Make two tables differentiating irony and humor.

Original text	Translation	Linguistic means

Глава 5

«Черный юмор» и социально-политические проблемы: иллюзии и страхи Великой депрессии в романе Н. Уэста «Целый миллион»

На протяжении всей истории своего существования американская культура отличалась одной особенностью – на самые острые политические, экономические, социальные и психологические кризисы она реагировала всплеском юмористических и сатирических произведений, и чем тяжелее была ситуация в стране, тем более популярными становились разного рода комические жанры. Из горнила очень тяжелой для Америки Войны за независимость вышел фольклорный персонаж янки и Дядя Сэм, фронтир стал школой не только демократии, но и американского чувства юмора, Гражданская война 1861-1865 годов стала звездным часом американских писателей-сатириков Артемуса Уорда, Петролеума Нейсби и Орфеуса Керра.

В XX столетии кризисом такого рода, грандиозным переломным этапом в развитии Америки была Великая депрессия: «...Депрессия сломала и исковеркала судьбы миллионов людей по всему миру, породила тиранов и героев и навсегда изменила наше представление о том, каким должно быть современное правительство. ...Незабываемые человеческие трагедии, происходившие в то время, заставили нас иначе относиться к себе и как к американцам, и как к представителям человеческого рода»¹. Причем главная опасность этого кризиса, с точки зрения современников, заключалась не столько в резком ухудшении материального положения большей части населения, сколько в социально-психологическом шоке, который испытала нация, проповедовавшая философию успеха. В своей знаменитой речи, произнесенной после победы на президентских выборах, Франклин Рузвельт сказал, что американцам нужно бояться только одного – самого страха, и эти слова будут часто повторяться в течение всего десятилетия. В исследованиях социологов приводились ужасающие примеры этапов необратимой душевной деградации человека, который длительное время оставался без работы. Поэтому существенную роль в выведении Америки из кризиса наряду с активной экономической политикой правительства суждено было сыграть не менее активной культурной жизни этого периода – средствам массовой информации (газетам и завоевывающему в это время популярность радио), кинематографу и литературе. Одним из самых действенных антикризисных средств, к которым прибегают деятели американской культуры и шоу-бизнеса, становится юмор: «Об огромной популярности юмора в тридцатые годы свидетельствуют многочисленные документы. Такие комики, как Филдс, Бернс и Аллен, Джек Бенни и братья Маркс, веселили многотысячную аудиторию радио-

слушателей и кинозрителей»². В американских газетах и журналах появляется плеяда талантливых юмористов и сатириков: Р. Бенчли, О. Нэш, Э. Уайт, Д. Тэрбер, Д. Паркер, С. Перельман.

При этом юмор литературных произведений по своим функциям и принципам общения автора с читателями в значительной степени отличался от его проявлений в аудиовизуальных видах искусства: он не утешал и не развлекал, он, как и в случае с юмором фронта, не столько заставлял забывать о трудностях, сколько позволял иначе к ним относиться и помогал их преодолевать. Типичный сюжет карикатур того времени, посвященных американской мечте, – иммигрант рассказывает о своей счастливой жизни в Новом Свете: «Когда я приехал в Америку, в кармане у меня не было ни одного цента. Прошло десять лет, и у меня теперь в кармане есть один цент». Юмор не уводил в мир прекрасных грез, напротив, он обозначал острые противоречия между приятными иллюзиями и жестокой действительностью, проясняя реальное положение дел. «...Заставляющий вздрагивать, пропитанный горечью смех от отчаяния становится опознавательным знаком многих писателей в период Депрессии...»³.

Одним из наиболее ярких писателей, который посвятил свой талант разоблачению разного рода иллюзий и стереотипов времен Великой депрессии, по праву считается Натанаэл Уэст (1903-1940). Произведения выходца из русско-еврейской семьи (его настоящее имя Nathan Weinstein), переселившейся с территории современной Литвы в Нью-Йорк в начале XX века, получили высокую оценку со стороны Ф. С. Фицджеральда и Э. Уилсона, но подлинная популярность пришла к нему уже после смерти. Творчество Уэста – четыре коротких романа: «Видения Бальсо Снелла» (*The dream life of Balso Snell*, 1931), «Подруга скорбящих» (*Miss Lonelyhearts*, 1933), «Целый миллион, или Расчленение Лемюэля Питкина» (*A cool million, or The dismantling of Lemuel Pitkin*, 1934), «День саранчи» (*The day of the locust*, 1939) – было заново открыто в бурные 1960-е годы, период активного пересмотра традиционных американских ценностей. Он удостоился благосклонных откликов со стороны таких разных литераторов, как критик-авангардист Лесли Фидлер и католическая писательница Ф. О'Коннор. Исследователь романов Уэста в начале 1970-х годов объяснял появившийся к ним интерес в десятилетие радикализма тем, что «они представляли собой радикальную форму напряженного художественного поиска спасения нашей культуры и нашей духовности»⁴.

Как и большинство представителей послевоенного поколения писателей-эмигрантов, Уэст значительный отрезок своей жизни провел в Париже. Среди своих литературных наставников он называл исключительно французские имена: Г. Флобер, Ж.-К. Гюисманс, А. Франс, А. Рембо, Ш. Бодлер, Г. Аполлинер, Ж. Кокто, М. Пруст. Но наибольшее воздействие на его творчество оказали

сюрреалисты, именно у главного их теоретика Андре Бретона Уэст воспринимает концепцию «черного юмора» как особую мировоззренческую позицию. Таким образом, Уэст был первым писателем Америки, который перешел от стихийного и фрагментарного применения к сознательному использованию средств «черного юмора». Своим творческим методом он провозгласил моделирование «состояние безумия через преувеличение нормы». И, как свидетельствуют критики, именно сюрреалистичный «черный юмор», перенесенный на американскую почву, оказался наиболее адекватным средством воплощения эмоционального состояния общества в США времен Великой депрессии, общества, охваченного страхами, злобой, безумными фантазиями.

Характеризуя эмоционально-стилистическую окраску художественного мира романов Уэста, критики прибегают к следующим выражениям: «мрачный комизм», «глубочайший пессимизм», «юмор, приводящий в ужас», «преувеличенные до неправдоподобия поступки персонажей», «жестокое безразличие, легко перерастающее в безумие или насилие», «нигилизм» и «отчаяние». Однако, по мнению самого Уэста, все это не плод большого воображения, а приметы эпохи. В одной из газетных статей с примечательным заголовком «Заметки о насилии» (Notes on violence, 1932) он анализирует содержание публикаций современной прессы в США и приходит к выводу о предрасположенности членов американского общества к немотивированному насилию и неадекватным формам поведения. Именно социальная направленность творчества писателя объясняет все вышеупомянутые характеристики его произведений.

Согласно единодушному мнению критиков «все книги Уэста отмечены глубоким пониманием жизни общества как процесса взаимодействия коллективных сил, огромной силой художественного проникновения в социальную действительность, чувством ее гротескного устройства и разработанным стилем, который в точности соответствует этому материалу»⁵; «в своих произведениях Уэст изучал изнанку свободы и демократии – мечты, превращающиеся в кошмары, или то, что он сам называл «тайной внутренней жизнью масс»⁶. Например, в последнем его романе «День саранчи» действие происходит в Голливуде, описывается технологическая и нравственная изнанка работы фабрики грез. Но самым показательным в этом отношении является роман «Целый миллион».

В условиях ухудшения экономической обстановки в любом обществе распространяются две тенденции: оживают дремавшие в глубинах коллективного бессознательного, ранее подавляемые извне, дремучие предрассудки и наблюдается рост насилия. Как правило, они бывают взаимосвязаны: «Вместе с возрастающей безработицей и экономической неопределенностью расцветают этнические стереотипы, которые очень быстро становятся способом объяснения всего

непонятного и сложного. <...> В киножурналах постоянно появлялись будоражившие чувства почтенной публики картины, изображавшие проявления расовой нетерпимости и фанатизма... На Юге столь частых случаев линчевания негров не было со времен Гражданской войны»⁷. Чем напряженнее ситуация, тем выше потребность в простых и понятных решениях сложных и запутанных проблем.

Формой существования стереотипов и предрассудков можно считать массовую культуру, к которой Уэст на протяжении всей своей литературной карьеры проявлял самый живой интерес: «Общеизвестно его пародийное подражание кинофильмам, страничкам юмора в популярных журналах и газетах, десятицентовым романам и другим формам популярной культуры»⁸. Роман «Целый миллион» представляет собой пародию на слащаво-сентиментальные приторно-наивные произведения третьестепенного, но крайне плодовитого (им написано более ста романов, правда, каждый был почти точной копией другого) и хорошо продававшегося в свое время писателя Хорэйшо Эджера. Он был певцом, а точнее соловьем растущей в конце XIX века экономики США, во всех его книгах молодой человек всегда добивался материального успеха, не имея за душой ничего, кроме чистой совести, нравственных качеств и добрых намерений. Эджер в самой простой, примитивной, а потому очень доступной форме выразил утопическую веру буржуазного общества в то, что добродетель всегда достойно вознаграждается, и у каждого есть шанс достичь успеха. В современной России она более известна в виде переложения в форме книг по популярной психологии Дейла Карнеги.

Эти взгляды уже в XIX веке никто не принимал всерьез – Марк Твен высмеял ее в «Рассказе о дурном мальчике» и «Рассказе о хорошем мальчике», а в XX веке их несостоятельность стала очевидной. Именно в силу своей очевидности и наивности этот тип сюжета, перевернутый наизнанку, лег в основу повествования в романе Уэста: главный герой, молодой человек по имени Лемюзль Питкин, у которого тоже нет ничего кроме наивности, неопытности и доброго сердца, ничего не получает в награду за эти ценные качества, зато по ходу развития событий он теряет зубы, глаз, палец на руке, с него снимают скальп и отрезают ногу.

Но разоблачение наивных и несоответствующих действительности представлений о мире не ограничивается инверсией понятия «американская мечта». В данном произведении автор применяет особый способ обозначения искусственности и оторванности от жизни тех или иных социальных конструктов: в тексте они сопоставляются не с реальностью, а с другим не менее искусственным и схематичным социальным конструктом, в итоге люди попадают в мир страхов, кошмаров и абсурда, который придуман ими же самими. Лучший

способ доказать, что расхожий стереотип – это на самом деле всего лишь стереотип, необходимо преувеличить его и довести до абсурда, а затем сопоставить его с другими не менее абсурдными предубеждениями, поэтому все содержание романа «Целый миллион» можно рассматривать как набор экономических, этнических, расовых и гендерных стереотипов, содержащих в себе нечто несоразмерное, непропорциональное и гротескное. Например, индейский вождь, ратующий за опрощение и примитивный образ жизни, закончил Гарвард, а агент Коминтерна, ведущий подрывную антиамериканскую деятельность, одет как капиталист на советских карикатурах. На уровне языка этот же принцип реализован в использовании поговорок, речевых штампов и клише.

Пагубность пребывания человека в плену стереотипов и предрассудков Уэст видел в том, что он превращается из самостоятельной личности в послушную марионетку, находящуюся во власти демагогов, авантюристов и лжепророков⁹. Это частный случай проявления процессов отчуждения и превращения различных сфер жизни человека в неодушевленные детали социальных механизмов, объект коммерции и эксплуатации.

Так, например, злключения Лемюэля Питкина начинаются с того, что одному богатому человеку понравился старенький дом, в котором он жил со своей матерью, но это здание ему нужно было не для жилья, а для коллекции старинных архитектурных сооружений, дом Питкина оказался подходящим недостающим образцом. В итоге домашний очаг и неприкосновенность жилища превратились сначала в товар, а позднее в музейный экспонат и объект наблюдения.

Один из персонажей романа «Целый миллион», китаец Ву Фонг, содержит публичный дом, в котором комната и одежда каждой из обитательниц соответствовала стилю той страны, из которой она приехала: «Так, у француженки Марии комнаты были в стиле эпохи Директории. Комнаты пухленькой Селесты (француженок было две по причине их большой популярности) – в стиле Людовика XIV. У испанки Кончиты стоял рояль с небрежно брошенной на него шалью, а также кресло в чехле из лошадиной шкуры, застегнутом на большие пуговицы, и с оленьими рогами вместо подлокотников. <...> Нет смысла описывать обстановку прочих пятидесяти с лишним комнат. Достаточно сказать, что они были отделаны с большим вкусом и знанием истории каждой страны»¹⁰. Понятия «нация», «национальная культура» и «национальная идентичность» вырождаются в стереотипные представления и, вовлекаясь в товарно-денежные отношения, превращаются в набор вещей, лишь поверхностно имитирующих их присутствие в данном помещении.

Когда мода изменилась и лучше стали расходиться товары отечественного производства, заведение Ву Фонга было преобразовано. Теперь каждая комната и ее обитательница представляли какой-либо регион США: «*Мери Джадкинс*

(Джаггтаун, штат Аризона). Стены ее жилища были обшиты грубыми дубовыми досками, а щели замазаны глиной. На полу грязь – не искусственная, а самая настоящая. На Мери было платье из домотканой материи и грубые мужские ботинки. Матрац на ее кровати был набит кукурузными стеблями, а покрывалом служила шкура буйвола. *Патриция Ван Руйс* (Гранмерси-парк, Манхаттан, Нью-Йорк). Ее апартаменты были в стиле «бидермайер». Окна в шторах из белого бархата (до тридцати ярдов на окно), в гостиной люстра из восьмисот хрустальных подвесок. Патриция была одета в стиле героинь раннего Гибсона. <... > *Мисс Кобина Уиггс* (Вудсток, штат Коннектикут). Ее апартаменты являли собой нечто среднее между раздевалкой спортклуба и конструкторским бюро. На полу валялись части аэроплана, циркули, угольники, клюшки для гольфа, книги, бутылки из-под джина, а также картины современных художников. У Кобины были очень широкие плечи, очень узкие бедра и очень длинные ноги. На ней был комбинезон авиатора в обтяжку из серебристой ткани, к поясу был прикреплен шлем»¹¹. То есть искусственный стереотип «Америка» был искусственно расчленен на более мелкие, но не менее искусственные стереотипные представления о различных областях Америки, этот процесс может продолжаться до бесконечности, ни на йоту не приближаясь к их подлинной сущности и самобытности.

И кульминацией этого процесса овеществления и механизации человеческого существования становится сам Лемюэль Питкин, который в силу своей неопытности и наивности шел на поводу навязанных ему представлений, теряя части своего тела, заменяя их протезами и суррогатными материалами, поэтапно превращаясь в нечто среднее между роботом и куклой. В этом состоит главное предостережение автора.

Разрушая штампы и стереотипы, автор «Целого миллиона» не выдвигал какой-либо собственной положительной программы – в данном контексте это превратилось бы лишь в добавление еще одного бессодержательного лозунга к множеству уже имеющихся в избытке. Но сам гротескный коллаж, составленный из популистских демагогических речей и дешевых пропагандистских трюков, служил своеобразной прививкой от радикализма, возвращая рядового американца из мира химер и фантомов на твердую почву здравого смысла и социальной ответственности, тем самым, в конечном итоге, восстанавливая дух традиционных американских ценностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Gates R. American Literary Humor during the Great Depression. Westport, CT.: Greenwood Press, 1999. P. IV.

² Ibid. P. XV.

³ Ibid. P. 8.

⁴ Malin I. Nathanael West's novels. Carbondale, Il.: Southern Illinois University Press, 1972. P. 8.

⁵ Цит. по: Nathanael West //Encyclopedia of World Biography //http://www.bookrags.com

⁶ Цит. по: <http://www.kirjisto.sci.fi/nwest.htm>.

⁷ Gates R. American Literary Humor during the Great Depression. P. 60, 61.

⁸ Irr C. The suburb of dissent: cultural politics in the United States and Canada during the 1930s. Durham, NC.: Duke University Press, 1988. P. 193.

⁹ В 1930-е годы в США политическая и интеллектуальная элита всерьез опасались развития событий по образцу Германии. И эти тревоги имели под собой реальные основания.

¹⁰ Уэст Н. День саранчи: роман, повести. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 139.

¹¹ Там же. С. 164, 165.

Целый миллион, или Расчленение Лемюэля Питкина

Фрагменты из романа

26

Вождя звали Израиль Сатинпенни. Он учился в Гарварде и ненавидел белых всей душой. Он мечтал поднять индейцев на восстание и прогнать бледнолицых в те страны, откуда они пришли, но пока из его планов мало что получалось. Его люди утратили былую воинственность. Наглое нападение на Джека Ворона было шансом, который Сатинпенни не желал упускать.

Когда индейцы собрались вокруг его палатки, он появился во всех регалиях и начал свою речь:

— Краснокожие! Пришло время заявить во всеуслышание об ужасах и кошмарах цивилизации бледнолицых.

Наши отцы помнят, что это была прекрасная страна, где человек если слышал стук, то это билось его сердце, а не тикал будильник, он вдыхал удивительные ароматы цветов, а не винные пары. Надо ли говорить о ручьях, что не знали плена водопроводной трубы! Об оленях, которые никогда не пробовали сена. О диких утках, которые не были окольцованы.

Утратив все это, мы получили от белого человека его цивилизацию: сифилис и радио, туберкулез и кино. Мы приняли цивилизацию, ибо он сам в нее верил. Но раз теперь он стал серьезно сомневаться в ней, почему же мы должны продолжать в нее верить? Его последний дар нам - сомнения, всеразъедающий скепсис. Он сгноил наши земли во имя прогресса. А теперь распад затронул и его самого. Вонь от его испуга бьет в ноздри великого бога Маниту.

Чем же белый человек умнее краснокожего? Мы жили здесь с незапамятных времен, и все было прекрасно. Пришел бледнолицый и в своей бесконечной мудрости загрязнил небосвод дымом, а реки – отбросами. Что же он умел делать в своей мудрости? Я вам скажу. Он делает хитрые зажигалки. Отличные авторучки. Бумажные пакеты, дверные ручки, кожаные сумки. Он покорила силы земли, воздуха, воды, чтобы они крутили колеса, а те, в свою очередь, крутили другие колеса, а те – третьи... Колеса крутились вовсю, пока нас не завалили туалетной бумагой, авторучками, раскрашенными шкатулками для булавок, брелоками для ключей и часов.

Пока бледнолицый мог совладать с вещами, которые производил, мы, краснокожие, благоговели перед его умением прятать свою блевотину. Но теперь все потайные уголки земного шара забиты ею до отказа. Теперь даже Большой Каньон не в состоянии вместить все бритвенные лезвия, что изготовил белый человек. Теперь, о воины, плотина прорвана, и его затопило тем, что он смастерил.

Он здорово захламил наш материк. Но разве пытается он убрать мусор? Нет, он старается, не покладая рук, навалить еще больше. Его волнует лишь одно: как сделать так, чтобы в стране производилось больше шкатулок для булавок, брелоков и кожаных сумок.

Поймите меня правильно, друзья. Я не философ-руссоист! Я знаю, что часы нельзя заставить идти назад. Но я знаю и другое. Можно остановить часы. Можно, наконец, их разбить!

Время настало. Повсюду нищета и насилие, страдания и богохульство. Ворота Бедлама отворились, и по нашей земле шагают боги Мапео и Сураниу.

Пришел день отмщения. Закатилась звезда бледнолицего, и он это прекрасно знает. Шпенглер говорит об этом. Валери говорит об этом. Тысячи мудрецов из стана бледнолицых заявляют об этом во всеуслышание.

Братья! Пора наступить бледнолицему на горло, сорвать с него латы. Надо действовать, пока он слаб и немощен, пока он изнемогает под грудой произведенного им хлама...

На поляне остался только мальчик-индеец. Ему было велено поджечь хижину. К счастью, у него не оказалось спичек, и как ни пытался мальчуган развести огонь с помощью двух палочек, у него ничего не вышло. Он старательно тер палочки друг о друга, но только сам согрелся.

Оглашая воздух ругательствами, неприличествующими его юным летам, он бросил палочки и решил искупаться в реке.

28

– Я прекрасно помню годы вашего президентства, мистер Уиппл, – говорил Кочерге Сильванус Снодграсс. – Для меня будет большой честью принять в свою труппу вас и вашего юного друга, которого я также знаю и весьма ценю.

– Спасибо, – в один голос отвечали Лем и мистер Уиппл.

– Сегодня вы будете учить роли, а завтра выступите в нашем представлении.

Вышеописанная беседа состоялась благодаря протекции Джека Ворона. Увидев, в каком бедственном положении оказались его друзья, он предложил им оставить их собственное шоу и присоединиться к «Кунсткамере американских кошмаров».

Не успели Лем и Кочерга Уиппл покинуть кабинет Сильвануса Снодграсса, как открылась внутренняя дверь и туда вошел некий субъект. Если бы друзья увидели его, то сильно бы удивились. Более того, они бы перестали радоваться своей новой работе.

Это был не кто иной, как толстяк в пальто с бархатным воротником, агент 6348-ХМ, известный в определенных кругах как товарищ З. Появление его в кабинете Снодграсса объяснялось очень просто: «Кунсткамера американских

кошмаров» была вовсе не музеем монстров, призванным потешать публику. Это был центр антиамериканской пропаганды. Его финансировали те самые круги, на службе у которых состоял толстяк.

Снодграсс также стал одним из их агентов, ввиду невозможности зарабатывать на жизнь своими «поэмами». Как и многие другие поэты, он винил в своих неудачах не отсутствие таланта, но соотечественников. Его жажда революционных преобразований на самом деле была жаждой мести. Более того, утратив веру в себя, он счел своим святым долгом привить комплекс неполноценности всему американскому народу.

Как и значилось на афише, в кунсткамере были монстры одушевленные и неодушевленные. Сначала давайте познакомимся с последними, среди которых были произведения массового искусства, а также те предметы, которые вызывали гнев вождя Сатинпенни.

«Разве это могло быть простым совпадением?» – вопрошал впоследствии мистер Уиппл.

Проход, что вел в главный зал экспозиции, был украшен гипсовыми статуями. Наибольшее впечатление среди них производили Венера Милосская с будильником в районе диафрагмы, копия пауэровской «Греческой рабыни» с эластичными бинтами на руках и ногах и Геркулес, носивший грыжевой бандаж.

В центре главного зала красовался гигантский геморрой, освещавшийся изнутри электрическими лампочками, которые то гасли, то загорались, создавая ощущение пульсирующей боли.

Впрочем, кошмары Снодграсса не были связаны исключительно с медициной. Вдоль стен стояли столы, на них демонстрировались всевозможные предметы, замечательные тем, что материалы, из которых они изготовлены, были ловко закамуфлированы. Бумага выглядела как дерево, дерево как резина, резина как сталь, сталь как сыр, сыр как стекло, дерево как резина, резина как сталь.

На других столах были разложены инструменты двойного, тройного, а то и множественного назначения. Среди наиболее примечательных назовем точилки для карандашей, одновременно выполнявшие роль инструмента для очистки уха от серы, и консервные ножи-расчески. Кроме того, там было немало предметов, истинное назначение которых оказывалось не так просто разгадать. Посетитель видел цветочные горшки, которые на самом деле оказывались виктролами (фонографы или патефоны фирмы «Victrola»), револьверы, внутри которых были конфеты, и конфеты, в которых были пуговицы.

«Одушевленная» часть шоу проводилась на сцене оперного театра и называлась «Американский карнавал, или Проклятие Колумбу». Представление состояло из серии сценок, где показывалось, как преследуют квакеров, обманывают и убивают индейцев, продают в рабство негров, а детей истязают непосильным трудом.

Чтобы зрители уяснили связь между изображенным на сцене и показанным на выставке, Снодграсс произносил речь, где пытался расставить все по местам. Его аргументация, однако, не выглядела особенно убедительной.

Кульминацией «карнавала» была маленькая пьеска, которую я постараюсь припомнить.

Поднимается занавес, и зрители видят уютную гостиную типичного американского дома. У камина – старая седовласая женщина. Она вяжет, а три маленьких сына ее недавно скончавшейся дочери тихо играют на полу. Из радиоприемника в углу доносится приятный мелодичный голос.

Радио. Неутомимая Финансовая компания Уолл-стрита желает дорогим радиослушателям счастья, здоровья и богатства. Богатства особенно. Вдовы, сироты и калеки, получаете ли вы хорошие проценты с вашего капитала? Приносят ли деньги, оставленные вашими умершими родственниками, тот комфорт, которого хотели для вас дорогие покойники? Пишите или звоните...

В этот момент на сцене гаснет свет. Когда сцена снова освещается, мы слышим тот же голос, только теперь он исходит от лощеного молодого коммерсанта. Он обращается к бабушке. У зрителей создается впечатление, что перед ними змея и птичка. Разумеется, птичка в данном случае – старая дама.

Лощеный коммерсант. Дорогая мадам! В Южной Америке есть прекрасная плодородная страна Игуания. Это замечательная страна, богатая полезными ископаемыми и нефтью. За пять тысяч долларов – да, мадам, я настоятельно рекомендую вам продать ваши облигации «Либерти» – вы получите десять акций «Золотая Игуания», которые принесут вам семнадцать процентов годовых. Акции обеспечиваются всеми естественными природными ресурсами Игуании...

Бабушка. Но я...

Лощеный коммерсант. Не теряйте времени зря, так как у нас осталось совсем немного акций «Золотая Игуания». Я предлагаю вам акции специального выпуска для вдов и сирот. Мы сочли необходимым пойти на такую акцию, ибо в противном случае крупные банки и корпорации скупили бы все на корню.

Бабушка. Но я...

Три внука. Гу-гу-гу.

Лощеный коммерсант. Подумайте о детях, мадам. Скоро им поступать в колледж. Тогда им понадобятся костюмы от братьев Брукс, банджо и меховые шубы, чтобы не отличаться от своих сверстников. Как вы себя почувствуете, когда из-за теперешнего упрямства будете вынуждены отказывать им во всем этом?

Снова падает занавес. Когда он вновь поднимается, перед нами оживленная улица. Бабушка лежит в сточной канаве, а под головой у нее вместо подушки – плита тротуара. Рядом валяются трое мертвых внуков. Они, очевидно, скончались от голода и холода.

Бабушка (*слабым голосом*). Хлеба... Умираем... Хлеба...

Прохожие не обращают на нее ни малейшего внимания, и она умирает.

Легкий ветерок шаловливо играет лохмотьями, в которые одеты четыре трупа. Внезапно он подхватывает и подбрасывает ввысь несколько листов бумаги с золотым тиснением. Один из них падает под ноги двум джентльменам в

шелковых цилиндрах, на жилетах у них вышит огромный знак доллара. Это миллионеры.

Первый миллионер (*подбирая листок*). Послушай, Билл, это же одна из твоих акций! «Золотая Игуания!» (*Хохочет.*)

Второй миллионер (*тоже хохочет*). Ну да! Специальный выпуск для вдов и сирот. Я пустил их в оборот в двадцать восьмом году, и продавались они, что твои горячие пирожки. (*Он рассматривает акцию со всех сторон, не скрывая восхищения.*) Вот что я скажу тебе, Джордж: хорошая полиграфия всегда окупается.

От души хохоча, миллионеры продолжают свой путь. Чуть было не споткнувшись о трупы, они чертыхаются и удаляются, ругая муниципальные службы за отсутствие чистоты и порядка на улицах.

29

«Кунсткамера американских кошмаров» посетила Детройт примерно через месяц после того, как к ней присоединились наши друзья. Именно в Детройте Лем и задал мистеру Уипплу несколько вопросов про спектакль, который очень его смущал, – особенно та сцена, где миллионеры ступают по трупам детей-сирот.

– Прежде всего, – отвечал мистер Уиппл, – бабушку никто не заставлял приобретать акции. Во-вторых, все это следует воспринимать как чистую комедию, потому что у нас никто не умирает на улицах. Власти этого не допустят.

– Но вы, кажется, не против капиталистов, – робко напомнил Лем.

– Далеко не против всех, – последовал ответ. – Надо видеть различие между плохими капиталистами и хорошими капиталистами, между паразитами и созидателями. Я против паразитического международного капитала, но за созидательных американских капиталистов вроде Генри Форда.

– Но по трупам детей ступают лишь плохие капиталисты!

– Даже если это и так, – возразил Кочерга, – лично я против того, чтобы показывать зрителям такие сцены. Это создает напряжение между классами.

– Ясно, – сказал Лем.

– Ты должен уяснить вот что, – продолжал мистер Уиппл. – Капитал и Труд обязаны научиться сотрудничать во имя общего блага. Им пора прекратить примитивную борьбу за высокие заработки, с одной стороны, и баснословные прибыли, с другой. Они должны понять, что единственная достойная война – война с общими врагами Америки: Англией, Японией, Россией, Римом и Иерусалимом. Помни, друг мой, что война классов – это гражданская война, она уничтожит Америку.

– Может, нам надо попробовать уговорить мистера Снодграсса прекратить спектакль? – наивно осведомился Лем.

– Нет, – возразил Кочерга. – Если мы скажем ему об этом, он сразу же нас уволит. Лучше подождем благоприятного момента, а потом разоблачим и его, и его балаган. Мы в Детройте, где живет множество евреев, католиков и членов

профсоюзов. Если я не ошибаюсь, вскоре мы направимся на юг. Когда мы окажемся в истинно американском городе, тогда и будем действовать.

Мистер Уиппл не ошибся. Дав несколько представлений в городах Среднего Запада, Снодграсс повез свою труппу по Миссисипи на юг. Было решено остановиться на один день в городе Бьюла.

– Теперь настал наш час, – прошептал на ухо Лему мистер Уиппл, приглядевшись к местным жителям. – Следуй за мной.

Наш герой двинулся за мистером Уипплом, и тот привел его к парикмахерской, владельцем которой был человек по имени Кили Джефферсон, неистовый южанин старого закала. Мистер Уиппл отвел хозяина в сторону, и они начали шептаться. Джефферсон согласился созвать сходку горожан, чтобы Кочерга Уиппл мог обратиться к ним с речью.

К пяти часам вечера все местное население, исключая негров, евреев и католиков, собралось у знаменитого дерева, на каждой из раскидистых ветвей которого в свое время было повешено по крайней мере по одному негру. Горожане стояли плотным кольцом, попивая кока-колу и обмениваясь шуточками. И хотя каждый третий из них захватил с собой веревку или ружье, они скрывали серьезность намерений за напускным весельем.

Мистер Джефферсон залез на ящик, чтобы представить толпе мистера Уиппла.

– Сограждане, южане, протестанты, американцы! – начал он. – Мы собрались здесь, чтобы послушать мистера Кочергу Уиппла, одного из тех немногих янки, кто заслуживает веры и уважения. Он не из негролюбив, он плевать хотел на еврейскую культуру и всегда может разглядеть, куда тянется длинная итальянская рука Папы. Мистер Уиппл!..

Мистер Джефферсон слез с ящика, уступив место Кочерге, который выждал, когда стихнет приветственный гул, положил руку на сердце и возвестил:

– Я люблю Юг. Люблю потому, что южанки прекрасны и целомудренны, южане храбры в бою и галантны с женщинами, а южные земли плодородны. Но есть кое-что, что я люблю даже больше, чем Юг, – это моя страна. Соединенные Штаты Америки.

Это заявление вызвало в толпе еще больший энтузиазм. Кочерга поднял руку, призывая к вниманию, но прошло добрых пять минут, прежде чем страсти улеглись, и он смог продолжать.

– Спасибо, – крикнул он, весьма тронутый таким воодушевлением. – Я знаю, что это говорят ваши сердца – бесстрашные сердца. Я бесконечно признателен, ибо вы приветствуете не меня, но мою любимую родину.

Однако сейчас не время цветистых речей. Сейчас время действовать! К нам затесался враг, который изнутри подтачивает наши институты и угрожает нашей свободе. Его оружие не свинец и не сталь, но вредная пропаганда. Он пытается натравить брата на брата, имущих на неимущих и так далее.

Сегодня вы стоите под этим прекрасным и славным деревом как свободные люди, но завтра вы окажетесь в рабстве у большевиков и социалистов. Ваши возлюбленные и ваши жены станут общей собственностью похотливых

чужестранцев. У вас отберут ваши магазины и выгонят с родных ферм. Взамен вам швырнут сухую большевистскую корку.

Неужели дух Джубала Эрли и Френсиса Мариона настолько угас, что вы можете лишь скулить и пресмыкаться, словно нашкодившие псы перед хозяином? Неужели вы забыли Джефферсона Дэвиса?

Нет?

Тогда пусть те из вас, кто помнит своих предков, ударят по грязному конспиратору Сильванусу Снодграссу, по гадюке, что согрели мы на своей груди. Пусть те...

Но не успел мистер Уиппл закончить свое обращение, как его слушатели стали разбегаться в разные стороны с криками: «Линчевать его!» – хотя три четверти собравшихся понятия не имели, кого именно. Однако это их совершенно не беспокоило. Отсутствие точной информации они сочли скорее преимуществом, нежели недостатком, поскольку это давало им большую свободу в выборе жертвы.

Наиболее осведомленные ринулись к местной опере, где расположилась «Кунсткамера американских кошмаров». Но мистера Снодграсса и след пропал. Его вовремя предупредили, и он, не долго думая, задал стрекача. Но поскольку было просто необходимо кого-то повесить, толпа накинула петлю на шею Джека Ворона из-за его смуглой кожи. Затем они подпалили театр.

Часть слушателей Кочерги, в основном люди пожилые, почему-то пришла к выводу, что Юг снова откололся от Союза. Они подняли над зданием местного суда флаг Конфедерации и приготовились защищать его до последней капли крови.

Другие, более практичные горожане, ринулись грабить банки, магазины и поспешили освободить из тюрьмы тех своих родных и близких, кому выпало несчастье туда попасть.

Время шло, и бунт принимал все большие размеры. На улицах стоились баррикады. То здесь, то там мелькали шесты с насаженными на них головами негров. Еврейского коммивояжера распяли на двери гостиничного номера. Экономка местного католического священника была изнасилована.

Перевод С. Белова

Публикуется по: Уэст Н. День саранчи: Роман, повести. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001.

From A Cool Million

The Dismantling of Lemuel Pitkin

“John D. Rockefeller would give a cool million to have a stomach like yours.”

OLD SAYING

XXVI

The chief's name was Israel Satinpenny. He had been to Harvard and hated the white man with undying venom. For many years now, he had been trying to get the Indian nations to rise and drive the palefaces back to the countries from which they had come, but so far he had had little success. His people had grown soft and lost their war-like ways. Perhaps, with the wanton wounding of Jake Raven, his chance had come.

When the warriors had all gathered around his tent, he appeared in full war regalia and began a harangue.

“Red Men!” he thundered. “The time has come to protest in the name of the Indian Peoples and to cry out against that abomination of abominations, the paleface.

“In our father's memory this was a fair, sweet land, where a man could hear his heart beat without wondering if what he heard wasn't an alarm clock, where a man could fill his nose with pleasant flower odors without finding that they came from a bottle. Need I speak of springs that had never known the tyranny of iron pipes? Of deer that had never tasted hay? Of wild ducks that had never been banded by the U. S. Department of Conservation?

“In return for the loss of these things, we accepted the white man's civilization, syphilis and the radio, tuberculosis and the cinema. We accepted his civilization because he himself believed in it. But now that he has begun to doubt, why should we continue to accept? His final gift to us is doubt, a soul-corroding doubt. He rotted this land in the name of progress and now it is he himself who is rotting. The stench of his fear stinks in the nostrils of the great god Manitou.

“In what way is the white man wiser than the red? We lived here from time immemorial and everything was sweet and fresh. The paleface came and in his wisdom filled the sky with smoke and the rivers with refuse. What, in his wisdom, was he doing? I'll tell you. He was making clever cigarette lighters. He was making superb fountain pens. He was making paper bags, door knobs, leatherette satchels. All the powers of water, air and earth he made to turn his wheels within wheels within wheels within wheels. They turned, sure enough, and the land was flooded with toilet paper, painted boxes to keep pins in, key rings, watch fobs, leatherette satchels.

“When the paleface controlled the things he manufactured, we red men could only wonder at and praise his ability to hide his vomit. But now all the secret places of the earth are full. Now even the Grand Canyon will no longer hold razor blades. Now the dam, O warriors, has broken and he is up to his neck in the articles of his manufacture.

He has loused the continent up good. But is he trying to de-louse it? No, all his efforts go to keep on lousing up the joint. All that worries him is how he can go on making little painted boxes for pins, watch fobs, leatherette satchels.

“Don’t mistake me, Indians. I’m no Rousseauistic philosopher. I know that you can’t put the clock back. But there is one thing you can do. You can stop that clock. You can smash that clock.

“The time is ripe. Riot and profaneness, poverty and violence are everywhere. The gates of pandemonium are open and through the land stalk the gods Mapeeo and Suraniou.

“The day of vengeance is here. The star of the paleface is sinking and he knows it. Spengler has said so; Valery has said so; thousands of his wise men proclaim it.

“O brothers, this is the time to run upon his neck and the bosses of his armor. While he is sick and fainting, while he is dying of a surfeit of shoddy.”

An Indian boy remained behind with instructions to fire the cabin. Fortunately, he had no matches and tried to do it with two sticks, but no matter how hard he rubbed them together he alone grew warm.

With a curse unbecoming one of his few years, he left off to go swimming in the creek, first looting Lem’s bloody head of its store teeth and glass eye.

XXVIII

“I remember your administration very well,” said Sylvanus Snodgrasse to Mr. Whipple. “It will be an honor to have you and your young friend, whom I also know and admire in my employ.”

“Thank you,” said both Shagpoke and Lem together.

“You will spend today rehearsing your roles and tomorrow you will appear in the pageant.”

It was through the good offices of Jake Raven that the above interview was made possible. Realizing how poor they were, he had suggested that the two friends abandon their own little show and obtain positions in the one with he was traveling.

As soon as Shagpoke and Lem left the manager’s office, an inner door opened and through it entered a certain man. If they had seen him and had known who he was, they would have been greatly surprised. Moreover, they would not have been quite so happy over their new jobs.

This stranger was none other than the fat man in the Chesterfield overcoat, Operative 6384XM or Comrade Z as known at a different address. His presence in Snodgrasse's office is explained by the fact that the "Chamber of American Horrors, Animate and Inanimate Hideosities," although it appeared to be a museum, was in reality a bureau for disseminating propaganda of the most subversive nature. It had been created and financed to this end by the same groups that employed the fat man.

Snodgrasse had become one of their agents because of his inability to sell his "poems." Like many another "poet," he blamed his literary failure on the American public instead of on his own lack of talent and his desire for revolution was really a desire for revenge. Furthermore, having lost faith in himself, he thought it his duty to undermine the nation's faith in itself.

As its name promised, the show was divided into two parts, "animate" and "inanimate." Let us first briefly consider the latter, which consisted of innumerable objects culled from the popular art of the country and of an equally large number of manufactured articles of the kind detested so heartily by Chief Satinpenny.

("Can this be a coincidence?" Mr. Whipple was later to ask.)

The hall which led to the main room of the "inanimate" exhibit was lined with sculptures in plaster. Among the most striking of these was a Venus de Milo with a clock in her abdomen, a copy of Powers' "Greek Slave" with elastic bandages on all her joints, a Hercules wearing a small, compact truss.

In the center of the principal salon was a gigantic hemorrhoid that was lit from within by electric lights. To give the effect of throbbing pain, these lights went on and off.

All was not medical, however. Along the walls were tables on which were displayed collections of objects whose distinction lay in the great skill with which their materials had been disguised. Paper had been made to look like wood, wood like rubber, rubber like steel, steel like cheese, cheese like glass, and, finally, glass like paper.

Other tables carried instruments whose purposes were dual and sometimes triple or even sextuple. Among the most ingenious were pencil sharpeners that could also be used as ear picks, can openers as hair brushes. Then, too, there was a large variety of objects whose real uses had been cleverly camouflaged. The visitor saw flower pots that were really victrolas, revolvers that held candy, candy that held collar buttons and so forth.

The "animate" part of the show took place in the auditorium of the opera house. It was called "The Pageant of America or A Curse on Columbus," and consisted of a series of short sketches in which Quakers were shown being branded, Indians brutalized and cheated, negroes sold, children sweated to death. Snodgrasse tried to make obvious the relationship between these sketches and the "inanimate" exhibit by a little speech in which he claimed that the former had resulted in the latter. His arguments were not very convincing, however.

The "pageant" culminated in a small playlet which I will attempt to set down from memory. When the curtain rises, the audience sees the comfortable parlor of a typical American home. An old, white-haired grandmother is knitting near the fire

while the three small sons of her dead daughter play together on the floor. From a radio in the corner comes a rich, melodic voice.

Radio: “The Indefatigable Investment Company of Wall Street wishes its unseen audience all happiness, health and wealth, especially the latter. Widows, orphans, cripples, are you getting a large enough return on your capital? Is your money left by your dear departed ones bringing you all that they desired you to have in the way of comforts? Write or telephone. . . .”

Here the stage becomes dark for a few seconds. When the lights are bright again, we hear the same voice, but see that this time it comes from a sleek, young salesman. He is talking to the old grandmother. The impression given is that of a snake and a bird. The old lady is the bird of course.

Sleek Salesman: “Dear Madam, in South America lies the fair, fertile land of Iguania. It is a marvelous country, rich in minerals and oil. For five thousand dollars – yes, Madam. I’m advising you to sell all your Liberty Bonds – you will get ten of our Gold Iguanians, which yield seventeen percentum per annum. These bonds are secured by a first mortgage on all the natural resources of Iguania.”

Grandmother: “But I. . . .”

Sleek Salesman: “You will have to act fast, as we have only a limited number of Gold Iguanians left. The ones I am offering you are part of a series set aside by our company especially for widows and orphans. It was necessary for us to do this because otherwise the big banks and mortgage companies would have snatched up the entire issue.”

Grandmother: “But I. . . .”

The Three Small Sons: “Goo, goo. . . .”

Sleek Salesman: “Think of these kiddies, Madam. Soon they will be ready for college. They will want Brooks suits and banjos and fur coats like the other boys. How will you feel when you have to refuse them these things because of your stubbornness?”

Here the curtain falls for a change of scene. It rises again on a busy street. The old grandmother is seen lying in the gutter with her head pillowed against the curb. Around her are arranged her three grandchildren, all very evidently dead of starvation.

Grandmother (feebly to the people who hurry past): “We are starving. Bread . . . Bread. . . .”

No one pays any attention to her and she dies. An idle breeze plays mischievously with the rags draping the four corpses. Suddenly it whirls aloft several sheets of highly engraved paper; one of which is blown across the path of two gentlemen in silk hats, on whose vests huge dollar signs are embroidered. They are evidently millionaires.

First Millionaire (picking up engraved paper): “Hey, Bill, isn’t this one of your Iguanian Gold Bonds?” (He laughs.)

Second Millionaire (echoing his companion’s laughter): “Sure enough. That’s from the special issue for widows and orphans. I got them out in 1928 and they sold

like hot cakes. (He turns the bond over in his hands, admiring it.) "I'll tell you one thing, George, it certainly pays to do a good printing job."

Laughing heartily, the two millionaires move along the street. In their way lie the four dead bodies and they almost trip over them. They exit cursing the street cleaning department for its negligence.

XXIX

The "Chamber of American Horrors, Animate and Inanimate Hideosities," reached Detroit about a month after the two friends had joined it. It was while they were playing there that Lem questioned Mr. Whipple about the show. He was especially disturbed by the scene in which millionaires stepped on the dead children.

"In the first place," Mr. Whipple said, in reply to Lem's questions, "the grandmother didn't have to buy the bonds unless she wanted to. Secondly, the whole piece is made ridiculous by the fact that no one can die in the streets. The authorities won't stand for it."

"But," said Lem, "I thought you were against the capitalists?"

"Not all capitalists," answered Shagpoke. "The distinction must be made between bad capitalists and good capitalists, between the parasites and the creators. I am against the parasitical international bankers, but not the creative American capitalists, like Henry Ford for example."

"Are not capitalists who step on the faces of dead children bad?"

"Even if they are," replied Shagpoke, "it is very wrong to show the public scenes of that sort. I object to them because they tend to foment bad feeling between the classes."

"I see," said Lem.

"What I am getting at," Mr. Whipple went on, "is that Capital and Labor must be taught to work together for the general good of the country. Both must be made to drop the materialistic struggle for higher wages on the one hand and bigger profits on the other. Both must be made to realize that the only struggle worthy of Americans is the idealistic one of their country against its enemies, England, Japan, Russia, Rome and Jerusalem. Always remember, my boy, that class war is civil war, and will destroy us."

"Shouldn't we then try to dissuade Mr. Snodgrasse from continuing with his show?" asked Lem innocently.

"No," replied Shagpoke. "If we try to he will mere get rid of us. Rather must we bide our time until a good opportunity presents itself, then denounce him for what he is, and his show likewise. Here, in Detroit, there are too many Jews, Catholics and members of unions. Unless I am greatly mistaken, however, we will shortly turn south. When we get to some really American town, we will act."

Mr. Whipple was right in his surmise. After playing a few more mid-western cities, Snodgrasse headed his company south along the Mississippi River, finally arriving in the town Beulah for a one-night stand.

“Now is the time for us to act,” announced Mr. Whipple in a hoarse whisper to Lem, when he had obtained a good look at the inhabitants of Beulah. “Follow me.”

Our hero accompanied Shagpoke to the town barber shop, which was run by one Keely Jefferson, a fervent southerner of the old school. Mr. Whipple took the master barber to one side. After a whispered colloquy, he agreed to arrange a meeting of the town’s citizens for Shagpoke to address.

By five o’clock that same evening, all the inhabitants of Beulah, who were not colored, Jewish or Catholic, assembled under a famous tree from whose every branch a negro had dangled at one time or other. They stood together, almost a thousand strong, drinking Coca-Colas and joking with their friends. Although every third citizen carried either a rope or a gun, their cheerful manner belied the seriousness of the occasion.

Mr. Jefferson mounted a box to introduce Mr. Whipple.

“Fellow townsmen, Southerners, Protestants, Americans,” he began. “You have been called here to listen to the words of Shagpoke Whipple, one of the few Yanks whom we of the South can trust and respect. He ain’t no nigger-lover, he don’t give a damn for Jewish culture, and he knows the fine Italian hand of the pope when he sees it. Mr. Whipple. . . .”

Shagpoke mounted the box which Mr. Jefferson vacated and waited for the cheering to subside. He began by placing his hand on his heart. “I love the South,” he announced. “I love her because her women are beautiful and chaste, her men brave and gallant, and her fields warm and fruitful. But there is one thing that I love more than the South . . . my country, these United States.”

The cheers which greeted this avowal were even wilder and hoarser than those that had gone before it. Mr. Whipple held up his hand for silence, but it was fully five minutes before his audience would let him continue.

“Thank you,” he cried happily, much moved by the enthusiasm of his hearers. “I know that your shouts rise from – bottom of your honest, fearless hearts. And I am grateful because I also know that you are cheering, not me, but the land we love so well.

“However, this is not a time or place for flowery speeches, this is a time for action. There is an enemy in our midst, who, by boring from within, undermines our institutions and threatens our freedom. Neither hot lead nor cold steel are his weapons, but insidious propaganda. He strives by it to set brother against brother, those who have not against those who have.

“You stand here now, under this heroic tree, like the free men that you are, but tomorrow you will become the slaves of Socialists and Bolsheviks. Your sweethearts and wives will become the common property of foreigners to maul and mouth at their leisure. Your shops will be torn from you and you will be driven from your farms. In return you will be thrown a stinking, slave’s crust with Russian labels.

“Is the spirit of Jubal Early and Francis Marion then so dead that you can only crouch and howl like hound dogs? Have you forgotten Jefferson Davis?

“No?

“Then let those of you who remember your ancestors strike down Sylvanus Snodgrasse, that foul conspirator, that viper in the bosom of the body politic. Let those. . . .”

Before Mr. Whipple had quite finished his little talk, the crowd ran off in all directions, shouting “Lynch him! Lynch him!” although a good three-quarters of its members did not know whom it was they were supposed to lynch. This fact did not bother them, however. They considered their lack of knowledge an advantage rather than a hindrance, for it gave them a great deal of leeway in their choice of a victim.

Those of the mob who were better informed made for the opera house where the “Chamber of American Horrors” was quartered. Snodgrasse, however, was nowhere to be found. He had been warned and had taken to his heels. Feeling that they ought to hang somebody, the crowd put a rope around Jake Raven’s neck because of his dark complexion. They then fired the building.

Another section of Shagpoke’s audience, made up mostly of older men, had somehow gotten the impression that the South had again seceded from the Union. Perhaps this had come about through their hearing Shagpoke mention the names of Jubal Early, Francis Marion and Jefferson Davis. They ran up the Confederate flag on the courthouse pole, and prepared to die in its defense.

Other, more practical-minded citizens, proceeded to rob the bank and loot the principal stores, and to free all their relatives who had the misfortune to be in jail.

As time went on, the riot grew more general in character. Barricades were thrown up in the streets. The heads of negroes were paraded on poles. A Jewish drummer was nailed to the door of his hotel room. The housekeeper of the local Catholic priest was raped.

Публикуется по: West N. Novels and other writings. N. Y.: Literary Classics of the United States, 1997.

Questions

1. What had Israel Satinpenny been trying to do for many years? What was the goal of his life?
2. What speech did he make when the warriors had gathered around his tent?
3. What things were lost when Native Americans accepted the white man’s civilization?
4. How did Satinpenny answer his own question “In what way is the white man wiser than the red?”

5. What horrors were depicted in the “Chamber of American Horrors, Animate and Inanimate Hideosities.”
6. What inanimate exhibits were displayed in the “museum”?
7. What was the climax of the play that was shown in the animate part of the “display”?
8. What audience did Mr. Jefferson want to address in the “Southern” fragment of the selection?

Paraphrase or explain

1. “The day of vengeance is here. The star of the paleface is sinking and he knows it.”
2. “Furthermore, having lost faith in himself, he thought it his duty to undermine the nation’s faith in itself.”
3. “Then, too, there was a large variety of objects whose real uses had been cleverly camouflaged.”
4. “...It is very wrong to show the public scenes of that sort. I object to them because they tend to foment bad feeling between the classes.”
5. “Although every third citizen carried either a rope or a gun, their cheerful manner belied the seriousness of the vision.”
6. “They considered their lack of knowledge an advantage rather than a hindrance, for it gave them a great deal of leeway in their choice of a victim.”
7. “Feeling that they ought to hang somebody, the crowd put a rope around Jake Raven’s neck, because of his dark complexion.”

Discussion points

- Speak on the animate part of the show. Make a summary of the play that was shown in the museum. What words or elements of the plot sound grotesque and are exaggerated beyond the limits of an ordinary satire?

- What features of American social life are being ridiculed? Write out all remarks and sentences about the life of the society.
- Speak on Detroit interview with Mr. Whipple.
- Speak about the Southern episode of the story. How is the mob of town people characterized?

Translation exercises

1. Study the role of exaggeration in the story. Write out sentences that contain such examples. See how they are rendered in translation. Say what translation strategies are applied in order to express the same meaning in the language of translation.
2. What micro situations of the fragment can be considered the situations of black humor? How are they rendered in translation?

Глава 6

«Черный юмор» и семейные отношения: женские образы в рассказах Д. Тэрбера

С момента возникновения и на протяжении всей истории своего развития американская литература откровенно недолюбливала женщин. Можно привести целый ряд красочных и показательных примеров, иллюстрирующих радикальное различие в данном вопросе между писателями США и Европы. В новелле романтика Вашингтона Ирвинга «Рип Ван Винкль», стоящей у истоков американской литературы, смерть сварливой жены главного героя представлена как освобождение от ига гораздо более тяжкого, чем гнет английского короля. Прodelки Тома Сойера, издевающегося над своей тетушкой, заслуживают искреннее одобрение со стороны автора и уже более ста лет вызывают доброжелательный смех читателей. Причем в другом романе, «Приключения Гекльберри Финна», когда Том Сойер устраивает веселую игру из освобождения негра Джима, от доброжелательности не остается и следа. А Геку Финну, счастливо избавившемуся от бесчеловечной тирании, царившей в доме вдовы Дуглас, – его там заставляли носить такие чистые рубашки, что даже противно – автор явно симпатизирует. Следует отметить, что во всех приведенных примерах фигурируют персонажи и произведения, считающиеся судьбоносными для развития американской литературы и знаковыми событиями в культуре США.

На страницах книг XX столетия образ женщины становится все более зловещим и внушающим страх. Достаточно вспомнить Старшую сестру из культового романа Кена Кизи «Над гнездом кукушки», которая наводит ужас на всех обитателей психиатрической лечебницы, воплощая в себе угрозу всему живому, нормальному и человеческому. Одним из наиболее выдающихся американских писателей XX века, посвятившим данной теме значительную часть своего творчества, был автор юмористических рассказов и карикатур Джеймс Тэрбер (James Thurber, 1894-1961), киноверсия его рассказа «Месть делопроизводителя» (The catbird seat, 1942) получила название «Война полов» (Battle of sexes, режиссер Чарльз Крайтон, 1960).

Творческая деятельность Тэрбера была связана с журналом «Нью-Йоркер», который начал выходить с 1925 года и в качестве своей целевой аудитории рассматривал рядового обитателя каменных джунглей американского мегаполиса. По утверждению американских исследователей, содержание журнала ознаменовало собой появление нового типа юмора: если в XIX веке он был проникнут энергичным и жизнеутверждающим духом пионеров, то в XX он стал выражением скорее беспомощности и постоянного чувства дискомфорта, вы-

званным столкновением человека с окружающим миром. Суть конфликта, который лежал в основе большинства произведений «Нью-Йоркера», заключалась в том, что в усложнившейся социальной действительности господствуют силы, которые несут в себе скрытую угрозу нормальному человеческому существованию. В отличие от фронта, где опасности были явными и проявлялись в экстремальных ситуациях, угрозы нового общества были тщательно замаскированы, но их постоянное присутствие подспудно ощущалось в будничных обстоятельствах, например, в сфере семейно-бытовых отношений. Поэтому типичным героем рассказов Тэрбера становится так называемый маленький человек (похожий на персонажей комедий Чарли Чаплина), истерзанный и потрепанный жизнью в Соединенных Штатах XX века, бурундук в мире ястребов, беркутов и коршунов, лишь изредка отвечающий на удары судьбы остроумными и находчивыми трюками.

В рассказах Тэрбера зло, царящее в мире, материализуется в образе женщины: «Пойманный в ловушки машин и замысловатых устройств, из-за которых человек постоянно чувствует себя недоумком и теряет психическое здоровье, в мире огромных организаций и тирании общественного мнения, из-за которого он теряет собственную индивидуальность, и – самое страшное – в мире агрессивных женщин, терзающих мужское самолюбие, человек в качестве защитной меры вынужден уходить в подполье»¹.

При этом ненависть Тэрбера вызывает не слабый пол сам по себе, а женщины, представляющие собой социальный конструкт – конечный продукт сборочной линии цеха по производству стандартизированных типов поведения, культивируемых механизированным обществом всеобщей деиндивидуализации. В этом качестве представительница прекрасной половины человечества становится проводником сил агрессии, враждебно настроенных по отношению к человеку, к его личному пространству, она образует канал, через который пагубное воздействие общества проникает в повседневную жизнь, пробивая бреши в стенах «моего дома – моей крепости». В басне «Беркут и бурундуки» (*The shrike and the chipmunks*, 1940) именно самка, ориентирующаяся на общественное мнение, пытается подогнать совместную супружескую жизнь под стандартный шаблон, что, в конечном итоге, приводит и мужа, и жену к гибели. В басне «Единорог в саду» (*The unicorn in the garden*, 1940) именно жена для решения своих внутрисемейных проблем привлекает социальных посредников, вызывая психиатра² и полицейского. А в рассказе «Месть делопроизводителя» социальная активность женщины угрожает стабильному и упорядоченному существованию главного героя, который рискует лишиться своего уютного рабочего места, представлявшего для него большую ценность, чем родной дом. С точки зрения американского писателя, нет ничего более ужасного, чем «сильная, жадная до

власти женщина, которая в штыки принимает любые формы подлинного творчества и не имеет ни малейшего понятия об особенностях мужской психологии»³.

В середине XX века женщины получили возможность вести себя подобным образом из-за изменившегося соотношения сил в войне полов. Одним из последствий бурного социально-экономического развития в индустриально развитых странах становится все более активное вовлечение женщин в производственные процессы (в США с наибольшей интенсивностью это происходило во время двух мировых войн и Великой депрессии). В результате женщины начинают захватывать, а зачастую и доминировать, в тех сферах, которые традиционно считались исключительно мужской прерогативой. Вместе с социальными функциями перенимаются и не самые лучшие черты мужского поведения: в рассказах Тэрбера самка бурундука печется о престиже, жена валяется в постели, пока ее муж готовит завтрак, миссис Барроу пьет виски, курит сигареты и увлекается бейсболом.

Писатели США с тревогой наблюдали за этими процессами: «Обеспокоенность проблемой полной смены положения представителей противоположных полов в обществе – с доминированием женщин и подавлением мужчин – одна из наиболее впечатляющих характеристик современной американской прозы: эта тема поставленного с ног на голову мира звучит в ней с особой отчетливостью, начиная с Генри Джеймса и продолжая книгами Дос Пассоса, Уиллы Кэсер, Фрэнка Норриса и Эдит Уортон»⁴. Уже Марк Твен считал изменившуюся систему отношений мужчин и женщин показателем глубокого духовного кризиса и «дезинтеграции всей системы традиционных ценностей»⁵. В самом деле, в Америке социальная активность женщин всегда сопровождала крайне неприятные политические и экономические процессы – в XX веке она становилась непременным спутником (а может и союзником) войн и экономических кризисов, то есть всегда проявлялась на крайне негативном эмоциональном фоне. Поэтому в рассказах Тэрбера взаимоотношения мужчин и женщин принимают форму борьбы за власть, соперничества, имеющего своей целью унижение или полное уничтожение противника.

У мужчин осталось очень мало средств, чтобы противостоять женскому натиску: дом, семья, бизнес, и даже спорт стали сферами влияния слабого пола. Единственным инструментом, владея которым мужчина продолжает сохранять свое неоспоримое преимущество перед женщиной, остается воображение⁶. «Для мужчин последним убежищем, в котором они чувствуют себя полноценными хозяевами, остаются мечты и романтические поступки. ...Мужчины более склонны к внезапной блажи, непредсказуемым случайным поступкам, чем их никогда не сворачивающие с пути благоразумия и шаблонного мышления

спутницы жизни»⁷. Склонность к оригинальным выходкам и нестандартным решениям присуща любому мужчине, даже скучный делопроизводитель в рассказе Тэрбера, всю свою жизнь приучавший себя жить в точном соответствии с распорядком и неукоснительно следовать заранее разработанным планам, столкнувшись с мужеподобной женщиной, неожиданно совершает, может быть, единственный раз в своей жизни, незапланированный поступок и побеждает своего врага. Именно творчество и фантазии супругов становятся источником раздражения жен в рассказах о бурундуках и единороге, и именно непонимание особой природы творчества становится причиной катастрофы в каждом из произведений.

Мастерство Тэрбера в разработке темы взаимоотношений мужчин и женщин оказалось непревзойденным, по общему мнению критики, его творчество, соединившее в себе традиции Марка Твена и Генри Джеймса, является одним из лучших образцов юмористической литературы в США: он входит во все современные антологии и учебники для американских школьников и студентов. Так же как Фолкнер, который, не выходя за границы маленького округа штата Миссисипи, выразил отношения мира и человека, Тэрбер через повседневную семейную жизнь обычного американца осветил нравственные проблемы всего современного общества. Неслучайно его произведения заслужили высокую оценку таких мэтров модернизма, как Т. С. Элиот и Э. Хемингуэй, ведь в них нашел свое выражение традиционный для Америки и основополагающий для модернистского искусства призыв во чтобы то ни стало сохранить свою индивидуальность с помощью творчества и изобретательности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Holmes Ch. Introduction // Thurber: A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974. P. 4.

² В то время в США в моде были книги по популярной психологии, которые давали очень простые способы решения сложных проблем межличностных отношений. Этот вид бульварной литературы был еще одним способом проникновения общества в неприкосновенное пространство личной жизни человека, еще одним посредником, вмешивающимся в отношения членов семьи. Поэтому тема психиатрии и психологии часто появляется в произведениях Тэрбера.

³ Triesch M. Men and animals: James Thurber and the conversion of a literary genre // Studies in short fiction. 1966. Vol. 3, № 3.

⁴ Lynn K. Mark Twain and Southwestern Humor. Boston: Little, Brown & Company, 1959. P. 272.

⁵ Ibid.

⁶ В одном из самых известных рассказов Тэрбера «Тайная жизнь Уолтера Митти» (The secret life of Walter Mitty, 1939), сюжет построен на противопоставлении повседневной жизни бедолаги, который часами томится в ожидании своей жены, совершающей покупки или посещающей парикмахера, и миром его фантазий, в которых он предстает в роли мужественного участника опасных, но увлекательных приключений: например, летчика, ведущего свой самолет сквозь бурю, хирурга, выполняющего очень сложную операцию или приговоренного к расстрелу человека, выкуривающего свою последнюю в жизни сигарету перед строем вражеских солдат.

⁷ Gates R. American Literary Humor during the Great Depression. Westport, CT.: Greenwood Press, 1999. P. 54.

Беркут и бурундуки

Жили-были два бурундука, самец-муж и самка-жена. Муж считал, что выкладывать из заготавливаемых на зиму орехов узоры гораздо интереснее, чем просто сваливать их в кучу и смотреть, какой большой она получается. А жена утверждала, что чем больше куча, тем лучше. Она ворчала, что если бы ее беспомощный муж не занимался своими ореховыми художествами, в их большой норе нашлось бы место для такой большой кучи орехов, которая сделала бы их самыми богатыми бурундуками в лесу. Но муж не разрешал жене разрушать свои творения, тогда она разозлилась и ушла от него. «Ты обязательно пропадешь в когтях беркута», – сказала она на прощание, – «потому что ты совершенно беспомощный и не можешь следить за собой». Она оказалась права, всего лишь через три дня после того, как его бросила жена, бурундуку нужно было идти на банкет, но он не смог найти ни запонок, ни рубашки, ни подтяжек. Поэтому он так и не смог пойти на этот прием, но, как оказалось, это было к лучшему, потому что на тех бурундуков, которые пришли, там напала ласка, и всех перекусила.

На следующий день над норой бурундука долго кружил беркут, пытаясь поймать его. Пробраться вовнутрь он не смог, вход был завален грязной одеждой и невымытой посудой. «Ну, ничего, вот после завтрака он выйдет на прогулку, тут-то я его и схвачу», – подумал беркут. Но бурундук весь день провалялся в постели и встал к завтраку, когда уже было совсем темно. Потом он действительно пошел прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом перед тем, как приступить к разработке нового вида орехового узора. Долго ждавший этого момента беркут ринулся вниз, но из-за наступившей темноты он промахнулся, врезался в дерево, разбил себе голову и умер на месте.

Через несколько дней вернулась жена бурундука и увидела, какой ужасный беспорядок воцарился в их доме. Она подошла к кровати и растолкала бездельничающего супруга. «Что бы ты делал без меня?» – возмутилась она. «Наверное, жил бы себе как прежде», – ответил ей муж. «Да ты бы не протянул и пяти дней», – сказала ему жена. Она подмела пол, вымыла посуду, отправила белье в прачечную и заставила своего мужа подняться с кровати, умыться и одеться: «Вредно весь день валяться в постели, если хочешь быть здоровым, тебе нужны физические упражнения», – заявила она и потащила его с собой на прогулку – была прекрасная погода, ярко светило солнце, поэтому их без особого труда смог поймать и съесть брат беркута, погибшего накануне, беркут по прозвищу Стремительный полет.

Мораль: кто рано ложится и рано встает, тот будет здоровым, богатым и мертвым.

Перевод А. Лаврентьева

Перевод выполнен по изданию: Thurber J. Writings and Drawings. N. Y., Literary Classics of the United States, 1996.

The Shrike and the Chipmunks

Once upon a time there were two chipmunks, a male and a female. The male chipmunk thought that arranging nuts in artistic patterns was more fun than just piling them up to see how many you could pile up. The female was all for piling up as many as you could. She told her husband that if he gave up making designs with the nuts there would be room in their large cave for a great many more and he would soon become the wealthiest chipmunk in the woods. But he would not let her interfere with his designs, so she flew into a rage and left him. “The shrike will get you,” she said, “because you are helpless and cannot look after yourself.” To be sure the female chipmunk had not been gone three nights before the male had to dress for a banquet and could not find his studs or shirt or suspenders. So he couldn’t go to the banquet but that was just as well, because all the chipmunks who did go were attacked and killed by a weasel.

The next day the shrike began hanging around outside the chipmunk’s cave, waiting to catch him. The shrike couldn’t get in because the doorway was clogged up with soiled laundry dry and dirty dishes. “He will come out for a walk after breakfast and I will get him then,” thought the shrike. But the chipmunk slept all day and did not get up and have breakfast until after dark. Then he came out for a breath of air before beginning work on a new design. The shrike swooped down – to snatch up the chipmunk, but could not see very well on account of the dark, so he batted his head against an alder branch and was killed.

A few days later the female chipmunk returned and saw the awful mess the house was in. She went to the bed and shook her husband. “What would you do without me?” she demanded. “Just go on living, I guess,” he said. “You wouldn’t last five days,” she told him. She swept the house and did the dishes and sent out the laundry, and then she made the chipmunk get up and wash and dress. “You can’t be healthy if you lie in bed all day and never get any exercise,” she told him. So she took him for a walk in the bright sunlight and they were both caught and killed by the shrike’s brother, a shrike named Stoop.

Moral: Early to rise and early to bed makes a male healthy and wealthy and dead.

Публикуется по: Thurber J. Writings and Drawings. N. Y., Literary Classics of the United States, 1996.

Questions

1. What did the male chipmunk think about gathering nuts?
2. How different from his point of view was the position of the female chipmunk?

3. Why did the female chipmunk flow into rage and left her husband?
4. Why couldn't male chipmunk go the banquet?
5. What saved the male chipmunk from the weasel?
6. Why was the male chipmunk saved from the shrike the following day? What helped him to survive?
7. Why were the chipmunks killed?
8. What is the moral of the story?

Discussion points

- The genre of the story is a fable, or rather, its parody. Say, if all the elements of the traditional fable are present in this story:
 - anthropomorphism (correspondence with stereotyped human characters);
 - the building of suspense over a perceived right and wrong type of behavior;
 - corresponding climax;
 - a moral at the end.

Analyze the functioning of all these elements of the story.

- Speak about the female chipmunk as the bearer of ironically treated common sense in the story.
- Compare the moral of the story with the original quotation from Benjamin Franklin “Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.”
- What is the humor of the story? Could the end and the moral of the story be expected? What is it based on? How is the correct order of the modern society inverted in the story?

Translation exercises

1. Speak on the translation of permanent equivalents in the story. Give all the examples.

2. What elements of the story may seem difficult for translation? How were these difficulties overcome?

Единорог в саду

Однажды солнечным утром за завтраком один человек, на мгновение оторвав свой взгляд от тарелки с яичницей, увидел в своем саду белого единорога, мирно жующего розы. Мужчина поспешил в спальню к своей еще не проснувшейся жене и разбудил ее, громко сказав: «У нас в саду единорог. Он ест розы». Жена недовольно приоткрыла один глаз и сердито посмотрела на своего мужа. «Единорог – это мифическое животное», – ответила она и, отвернувшись, опять заснула. Мужчина на цыпочках спустился по лестнице и вышел в сад. Единорог все еще был там, теперь он бродил среди тюльпанов. «Иди сюда, единорог», – позвал его мужчина, протягивая сорванную лилию. Единорог с важным видом пережевал ее. Воодушевленный тем, что в его саду оказался настоящий единорог, мужчина вернулся в спальню, чтобы поделиться своей радостью с женой. «Послушай, – сказал он, – единорог съел лилию». Жена проснулась, села в постели, смерив его ледяным взглядом. «Ты псих, – сказала она. – И я отправлю тебя в психушку». Мужчина, которому никогда не нравились слова «псих» и «психушка», а тем более не нравилось слышать эти слова ранним солнечным утром, когда к нему в сад забрел настоящий единорог, на секунду задумался. «Мы еще посмотрим», – сказал муж. Он шагнул к двери, пробормотав напоследок: «А ведь у него на лбу золотой рог». Потом мужчина вернулся в сад, чтобы еще раз посмотреть на единорога; но тот уже исчез. Удобно расположившись среди благоухающих роз, мужчина погрузился в безмятежный сон.

Как только муж вышел из дома, жена вскочила с кровати и очень быстро оделась, никогда в жизни она еще не одевалась так быстро. Женщина была очень взволнована, глаза ее сияли от злорадства. Сначала она позвонила в полицию, потом – психиатру и сказала, чтобы они быстрее приехали к ней со смирительной рубашкой. Прибывшие по ее звонку полицейский и психиатр, войдя в дом и присев на стулья, стали внимательно ее рассматривать. «Мой муж, – сказала женщина, – сегодня утром увидел единорога». Полицейский и психиатр переглянулись. «Он сказал мне, что единорог съел лилию в нашем саду», – продолжала она. Психиатр и полицейский опять переглянулись. «Он сказал мне, что на лбу у него золотой рог», – закончила она. По знаку психиатра они с полицейским вскочили со стульев и схватили жену. Им пришлось изрядно потрудиться, чтобы справиться с этой женщиной, так как она оказывала на удивление упорное сопротивление, но в конце концов они все-таки ее успокоили (связали). Как раз в тот момент, когда на жену натягивали смирительную рубашку, в комнату вошел ее муж.

«Вы говорили своей жене, что видели единорога?» – спросил полицейский. «Конечно, нет – ответил муж, – ведь единорог – это мифическое животное». «Так я и предполагал, – сказал психиатр. – Уведите ее. Мне очень

жаль, сэр, но ваша жена, по всей видимости, свихнулась». Потом он с помощью полицейского, не обращая внимания на женские выкрики и проклятья, забрал ее с собой и поместил в соответствующее заведение. А муж после этого жил долго и счастливо.

Мораль: не спеши называть психом того, кого ты еще не успел упрятать в психушку.

Перевод А. Лаврентьева

Перевод выполнен по изданию: Thurber J. Writings and Drawings. N. Y., Literary Classics of the United States, 1996.

James Thurber

The Unicorn in the Garden

Once upon a sunny morning a man who sat in a breakfast nook looked up from his scrambled eggs to see a white unicorn with a golden horn quietly cropping the roses in the garden. The man went up to the bedroom where his wife was still asleep and woke her. "There's a unicorn in the garden," he said. "Eating roses." She opened one unfriendly eye and looked at him. "The unicorn is a mythical beast," she said, and turned her back on him. The man walked slowly downstairs and out into the garden. The unicorn was still there; he was now browsing among the tulips. "Here, unicorn," said the man, and he pulled up a lily and gave it to him. The unicorn ate it gravely. With a high heart, because there was a unicorn in his garden, the man went upstairs and roused his wife again. "The unicorn," he said, "ate a lily." His wife sat up in bed and looked at him, coldly. "You are a booby," she said, "and I am going to have you put in the booby-hatch." The man, who had never liked the words "booby" and "booby-hatch," and who liked them even less on a shining morning when there was a unicorn in the garden, thought for a moment. "We'll see about that," he said. He walked over to the door. "He has a golden horn in the middle of his forehead," he told her. Then he went back to the garden to watch the unicorn; but the unicorn had gone away. The man sat down among the roses and went to sleep.

As soon as the husband had gone out of the house, the wife got up and dressed as fast as she could. She was very excited and there was a gloat in her eye. She telephoned the police and she telephoned a psychiatrist; she told them to hurry to her house and bring a strait-jacket. When the police and the psychiatrist arrived they sat down in chairs and looked at her, with great interest. "My husband," she said, "saw a unicorn this morning." The police looked at the psychiatrist and psychiatrist looked at the police. "He told me it ate a lily," she said. The psychiatrist looked at the police and the police looked at the psychiatrist. "He told me it had a golden horn in the mid-

dle of its forehead,” she said. At a solemn signal from the psychiatrist, the police leaped from their chairs and seized the wife. They had a hard time subduing her, for she put up a terrific struggle, but they finally subdued her. Just as they got her into the strait-jacket, the husband came back into the house.

“Did you tell your wife you saw a unicorn?” asked the police. “Of course not,” said the husband. “The unicorn is a mythical beast.” “That’s all I wanted to know,” said the psychiatrist. “Take her away. I’m sorry, sir, but your wife is as crazy as a jay bird.” So they took her away, cursing and screaming, and shut her up in an institution. The husband lived happily ever after.

Moral: Don’t count your boobies until they are hatched.

Публикуется по: Thurber J. Writings and Drawings. N. Y., Literary Classics of the United States, 1996.

Questions

1. What was the Unicorn doing in the garden?
2. Which type of flowers did the Unicorn not eat?
3. In this story, what is a Unicorn?
4. Did the husband like that they had a Unicorn in their garden?
5. What did the wife intend to do to the man?
6. When the police officer and the psychiatrist were trading looks, what were they thinking about, in your opinion?
7. Who was really crazy?
8. Why did the man live happily ever after?
9. Who lied in the story?

Discussion points

- Define the genre of the story.
- Speak about the tone of the passage. Is it angry, sad, confusing, or ironic?
- Which of the characters is the embodiment of peaceful fantasy and which – harsh realism?

- Speak about the moral of the story. Whose victory does it acknowledge? Compare it with the proverb “Don’t count your chickens before they are hatched”. Explain the meaning of the moral in your own words.
- What is the humor of the story? Could the end and the moral of the story be expected? How is the correct order of the modern society inverted in the story?

Translation exercises

1. Study the vocabulary of the story. There are many colloquial and slang words. How are they rendered in translation?
2. What elements of the story may seem difficult for translation? How were these difficulties overcome?

Месть делопроизводителя

В понедельник вечером мистер Мартин зашел купить пачку сигарет «Камел» в один из самых людных табачных магазинов на Бродвее. В это позднее время в магазине было почти пусто – всего семь или восемь покупателей. Продавец даже не взглянул на мистера Мартина, когда тот положил сигареты в карман пальто и вышел. Если бы в этот момент в магазине находился кто-нибудь из служащих фирмы «FS», он был бы поражен – каждый знал, что мистер Мартин не курит, и вообще никогда в жизни не держал во рту сигареты. Но никого из них не было.

Ровно неделю назад мистер Мартин принял твердое решение стереть в порошок миссис Юлджин Барроу. Слово «стереть» нравилось ему: оно звучало так, словно означало не что иное как просто исправление ошибки в данном случае ошибки мистера Фитвайлера. Всю прошлую неделю мистер Мартин каждый вечер обдумывал в деталях свой план. Сейчас, по дороге домой, он снова перебирал его в памяти. В сотый раз он с опаской подумал о возможной случайности, которая могла его подстергать. Его план был оригинален и смел, хотя риск был немалый. Вряд ли кто мог бы заподозрить в исполнителе этого дьявольского замысла мистера Эрвина Мартина, осторожного и пунктуального начальника отдела делопроизводства фирмы «FS». о котором однажды сам мистер Фитвайлер сказал: «Человеку свойственно ошибаться, Мартину – никогда». Чтобы разоблачить мистера Мартина, его нужно было поймать с поличным.

Дома, за стаканом теплого молока, мистер Мартин снова тщательно пересмотрел дело миссис Юлджин Барроу, как уже проделывал это семь вечеров. Он начал с ее появления в фирме «FS». Ее голос, напоминающий кваканье лягушки, и смех, похожий на рев осла, впервые осквернили стены «FS» 7 марта 1951 года (что касается дат, то мистер Мартин цепко держал их в памяти). Старый Робертс, заведующий подбором кадров, представил ее как только что назначенного особого консультанта мистера Фитвайлера, президента фирмы. Мистер Мартин невзлюбил ее с самого начала, но не показал виду. Протянув узкую сухую ладонь, он ощупал миссис Барроу пытливым взглядом и едва заметно скривил губы в улыбке.

– Так... – протянула она, взглянув на его заваленный бумагами стол. – Тащите вола из канавы.

Мистер Мартин даже поежился при воспоминании об этом. Впрочем, он должен быть объективным – думать не о личной антипатии, а о преступлениях, которые она совершает в роли личного консультанта президента фирмы. Но это было нелегко, так как сейчас он сам представлял одновременно и обвинение и защиту. Недостатки этой женщины так громко заявляли о себе, что мистер Мартин не мог оставаться абсолютно объективным. Вот уже почти два года, как она тиранит его. В коридорах, в лифте, даже в его отделе она, пританцовывая, как цирковая лошадь, выкрикивает бессмысленные фразы: «Тащите вола из канавы.

Бросаете горох о стену. Кричите в пустой бочонок. Шарите по дну бочонка с маринованными грибами. Сидите в гнезде с дроздами».

Джо Харти, один из двух помощников мистера Мартина, объяснил ему, что означает вся эта чепуха.

– Она, наверное, болеет за Доджеров. – сказал он. – Когда матчи этой команды ведет радиоккомментатор Рад Барбер, он так и сыплет такими словечками – нахватался их у себя на Юге.

Джо даже объяснил некоторые из этих выражений. «Бросать горох о стену» – означало буйствовать, а «Сидеть в гнезде с дроздами» – быть в очень выгодном положении.

Мистеру Мартину стоило больших усилий отогнать от себя эти мысли. Они преследовали его, приводили в отчаяние, но он был слишком уравновешен, чтобы решиться на убийство из-за подобных пустяков. Вновь и вновь анализируя обвинение против миссис Барроу, мистер Мартин с удовлетворением отметил, что он, к счастью, до сих пор ничем не выражал своего отношения к ней. Внешне он всегда был корректен и подчеркнуто вежлив с миссис Барроу.

– По-моему, она вам даже нравится, – однажды объявила мисс Шеппард, одна из его подчиненных.

Пожав плечами, он только улыбнулся в ответ.

...Молоточек судьи в воображении Мартина постучал по столу, привлекая внимание аудитории, и слушание дела возобновилось. Миссис Юлджин Барроу обвинялась в злоумышленных, наглых и упорных попытках подорвать основы фирмы «FS». Поэтому детальный разбор ее головокружительной карьеры являлся прямой задачей судебного следствия.

Историю появления миссис Барроу в числе сотрудников фирмы рассказала мистеру Мартину мисс Шеппард, отличавшаяся способностью впитывать в себя самые свежие новости и мгновенно передавать их сослуживцам. По ее словам, миссис Барроу впервые встретила с президентом фирмы на одном из приемов, сопровождавшемся чрезмерными возлияниями. Она самоотверженно спасла его от какого-то пьяного верзилы, который принял мистера Фитвайлера за популярного тренера футбольной команды, уже давно оставившего спорт. Каким-то образом миссис Барроу ухитрилась околдовать президента фирмы «FS», и в конце вечера он был совершенно пленен ею. Старейший джентльмен неожиданно вообразил, что перед ним женщина редких качеств, абсолютно незаменимая как для него самого, так и для фирмы. Через неделю она стала его особым консультантом.

С тех пор все пошло вверх дном. Когда были уволены мисс Тайсон, мистер Брандедж и мистер Бартлет, а мистер Монсон, чтобы избежать позора, сам прислал по почте заявление об отставке, старый Робертс, наконец, осмелился поговорить с президентом фирмы. Робертс намекнул, что дела фирмы несколько ухудшились, и спросил, не думает ли мистер Фитвайлер, что было бы лучше вернуться к старым порядкам. Нет, мистер Фитвайлер этого не думал. Он глубоко верил в прогрессивные идеи миссис Барроу. «Нам нужно только время, только время – больше ничего», – твердо заявил он.

Мистер Мартин подверг подробному анализу все нововведения миссис Барроу. Начав с постукиваний молоточком по карнизам, она дошла до того, что стала рубить топором самые устои фирмы.

Наконец мистер Мартин добрался до второго ноября 1952 года, то есть до прошлого понедельника. Ровно неделю назад, в три часа дня, миссис Барроу ворвалась в его отдел.

– Вот это да! – кричала она. – Что вы здесь шарите по дну бочонка с маринованными грибами!

Мистер Мартин молча покосился на нее из-под зеленого козырька, защищавшего его глаза от света. Миссис Барроу забежала по комнате, обшаривая все закоулки своими выпученными глазами.

– Для чего у вас здесь столько ящиков? – вдруг спросила она. Сердце мистера Мартина бешено застучало.

– Все эти шкафы, – ответил он, стараясь говорить спокойно, – абсолютно необходимы для правильного функционирования фирмы «FS».

– Ха-ха! Не бросайте горох о стену! – заржала она, направляясь к выходу. У двери она еще раз выкрикнула: – Ну и натаскали же вы сюда барахла!

Сомнений не оставалось: на этот раз жребий пал на детище мистера Мартина. Топор уже занесен, удар может обрушиться каждую минуту. Еще ничего не случилось, еще от мистера Фитвайлера не пришла официальная записка на синей бумаге с нелепыми распоряжениями, написанными под диктовку этой бесстыжей особы, но сомневаться в неизбежности этого не приходилось. Нужно действовать быстро и решительно.

...Не выпуская из рук стакана с молоком, мистер Мартин поднялся.

– Господа присяжные заседатели, – обратился он к самому себе, – это чудовище заслуживает смертной казни.

Следующий день ничем не отличался от предыдущего. Мистер Мартин только чаще обычного протирал очки да однажды заточил и без того острый карандаш. Но этого не заметила даже мисс Шеппард. Свою жертву он видел только раз, когда та пронеслась мимо него по коридору, покровительственно бросив: «Хелло!»

В пять тридцать он, как обычно, отправился домой, где его ждал традиционный стакан молока. Мистер Мартин никогда не употреблял более крепких напитков. Покойный Сам Шлоссер (буква S в фирме «FS») несколько лет назад на собрании работников фирмы расхваливал мистера Мартина за умеренный образ жизни.

– Наш лучший работник, никогда не пьет и не курит, – отмечал он. – Результаты говорят сами за себя.

Мистер Фитвайлер, сидевший тут же, наклонил голову в знак одобрения.

Вспоминая этот радостный день, мистер Мартин направился к ресторану Штрафта на Пятой авеню, неподалеку от Сорок Шестой стрит. Он появился, как всегда, в восемь часов. Ровно без четверти девять он закончил обед чтением финансового раздела газеты «Сан». После обеда мистер Мартин любил прогуляться. На этот раз он не спеша двинулся по Пятой авеню. Руки его в перчатках

были горячи и влажны, но лоб оставался холодным. Мистер Мартин переложил пачку «Камела» в карман пиджака, подумав при этом: «Не слишком ли много хлопот с ними?»

Миссис Барроу курила только «Лакис», поэтому, после приведения приговора в исполнение, он хотел сделать несколько затяжек и оставить свой окурочек в пепельнице рядом с окурками «Лакиса», испачканными губной помадой. Этим он заметет следы. Но, может, этого не стоит делать. Чего доброго, он еще закашляется, и на это уйдет несколько драгоценных минут.

Хотя мистеру Мартину не приходилось видеть дом на Двенадцатой стрит, где жила миссис Барроу, он имел совершенно ясное представление о нем – она всем прожужжала уши своей уютной квартирой на втором этаже четырехэтажного кирпичного дома. Портье там нет.

Лавируя между прохожими, мистер Мартин обнаружил, что будет на месте еще до половины десятого. Сначала он собирался от Штрафта пойти в противоположном направлении, а затем повернуть обратно с таким расчетом, чтобы быть у дома миссис Барроу не ранее десяти. В это время почти никто не выходит из дома, а те, кто ушел, еще не возвращаются. Однако это не гармонировало с простотой его замысла, и он отказался от этой мысли. Да и кто мог знать, когда кому-нибудь из жильцов вздумается выйти из дома или вернуться. Полностью избежать риска все равно невозможно. Если же он наткнется на кого-нибудь у подъезда, то этот план придется отложить на неопределенное время. То же самое придется сделать, если она будет не одна. В этом случае он объяснит, что случайно проходил здесь и, вспомнив эту очаровательную квартирку, решил зайти в гости.

Восемнадцать минут десятого мистер Мартин свернул на Двенадцатую стрит. Его обогнал мужчина, затем встретилась парочка, погруженная в беседу. Когда же он приблизился к дому, вокруг не было ни души. Он взбежал по ступенькам и, очутившись на лестничной площадке, резко надавил кнопку звонка, над которым была прибита табличка: «Миссис Юлджин Барроу». Автоматически открываемая дверь распахнулась. Мистер Мартин быстро вошел внутрь и захлопнул дверь. Плафон, свисающий с потолка па цепочке, казалось, светил слишком ярко. Справа, в глубине коридора, послышался стук каблуков. Мистер Мартин устремился туда.

– Боже, вот это сюрприз! – завопила миссис Барроу. Ее смех пулеметной очередью раскатился по квартире.

Задев ее плечом, мистер Мартин, как центр-форвард, ворвался в комнату.

– Эй, вы, не толкайтесь! – выкрикнула она, закрывая за собой дверь.

Они оказались в гостиной, освещенной сотней ламп – так, по крайней мере, показалось мистеру Мартину.

– За вами кто-нибудь гонится? Что вы прыгаете, как козел?

Мистер Мартин не мог проронить ни слова. Сердце готово было выскочить у него из груди.

– Я... – с трудом выдавил он из себя.

Продолжая шумно удивляться, миссис Барроу помогла ему снять пальто.

– Нет, нет, сюда. Позвольте мне самому, – запротестовал мистер Мартин и положил пальто на стул у двери.

– Шляпу, перчатки – тоже, – скомандовала она. – Вы в гостях у дамы.

Мистер Мартин положил шляпу на пальто, но перчаток не снял.

– Я проходил мимо и увидел... Вы одна в квартире? Она еще громче расхохоталась:

– Конечно. Но вы бледны, как простыня, чудак вы этакий. Что с вами случилось? Хотите выпить?

Она направилась к двери, в другой конец комнаты.

– Виски с содовой подойдет? Да, я совсем забыла: вы же трезвенник!

Она явно забавлялась его видом.

Мистер Мартин наконец взял себя в руки.

– Нет, бокал виски с содовой я все же выпью, – услышал он собственный голос, звучавший как будто издалека.

Из кухни доносились взрывы смеха. Мистер Мартин быстро окинул взглядом гостиную в поисках подходящего орудия. Он был уверен, что здесь что-нибудь найдется. У камина стояли щипцы и кочерга. Но ни то, ни другое не годилось. Мистер Мартин прошелся по комнате и на письменном столе увидел нож для разрезания бумаги с рукояткой, украшенной замысловатым орнаментом. Достаточно ли он острый? Мистер Мартин потянулся за ножом и опрокинул модный стаканчик с карандашами, который со звоном упал на пол.

– Эй, что вы там бросаете горох о стену! – донеслось из кухни. Мистер Мартин принужденно засмеялся. Он взял нож. Нет, слишком тупой, никуда не годится.

Когда миссис Барроу появилась с двумя бокалами, он уже окончательно осознал всю нелепость своего плана. Сигареты в кармане, виски, приготовленное для него – это было слишком, неправдоподобно. Более того, это было просто невозможно. И вдруг где-то в глубине сознания зашевелился росток слабой, еще не оформившейся мысли.

– Да снимите же, ради бога, перчатки, – взмолилась миссис Барроу.

– Я никогда не снимаю перчаток в помещении, – возразил он. Несколько секунд назад пришедшая ему в голову мысль росла, наполняя все его существо.

Миссис Барроу поставила бокалы на низенький кофейный столик у тахты.

– Идите сюда, странное создание, – приказала она, усаживаясь. Мистер Мартин присел к ней. Достать сигарету из пачки было нелегко, но он справился. Смеясь, миссис Барроу зажгла спичку.

– Ну, знаете, это просто великолепно! – воскликнула она, подавая ему бокал. – Вы – с виски и сигаретой!

Мистер Мартин пустил облако дыма, не слишком неуклюже, и отпил из бокала.

– Что уж там притворяться, я всегда пью и курю, – произнес он, лихо чокнувшись с хозяйкой.

– Выпьем за старого болтуна Фитвайлера, – прибавил он и сделал еще глоток.

Напиток был отвратительный, но он даже не поморщился.

– Послушайте, мистер Мартин, – прервала его миссис Барроу, – вы оскорбляете нашего босса.

Ее тон и манеры мгновенно изменились. Она сразу же превратилась в особого консультанта президента «FS».

– Я готовлю бомбу, от которой старый козел взлетит ко всем чертям! – хвастался мистер Мартин.

Он выпил совсем немного, да и напиток оказался некрепким. Дело было совсем не в этом.

– Вы что, пользуетесь наркотиками? – холодно спросила миссис Барроу.

– Да, я выкурил сигарету с героином, – ответил мистер Мартин. – В тот день, когда я отправлю старого болвана ко всем чертям, я так накурюсь, что в глазах потемнеет.

– Мистер Мартин! – закричала хозяйка, вскакивая с тахты. – С меня достаточно! Немедленно убирайтесь вон!

Мистер Мартин неторопливо отхлебнул из бокала. Он ткнул окурок сигареты в пепельницу и положил на столик пачку «Камела». Только тогда он поднялся на ноги. Миссис Барроу гневно взирала на него. Подойдя к двери, мистер Мартин спокойно надел пальто и шляпу.

– Никому ни слова, – прошептал он, приложив палец к губам.

– Ах, вот как! – вот все, что смогла вымолвить миссис Барроу. Мистер Мартин взялся за ручку двери.

– Я сижу в гнезде дрозда, – озорно проговорил он и, высунув язык, исчез. Никто не видел, как он выходил из подъезда.

Мистер Мартин вернулся домой задолго до одиннадцати. Никто не видел, как он открывал дверь своей квартиры. Предварительно почистив зубы, он выпил два стакана молока. Настроение у него было приподнятое. Но не оттого, что он немного выпил, он был совершенно трезв – от долгой прогулки виски выветрилось у него из головы. Мистер Мартин лег в постель и перед сном немного почитал журнал. В двенадцать он уже крепко спал.

На следующее утро мистер Мартин пришел на службу, как обычно, в половине девятого. Без четверти девять миссис Барроу, которая никогда не являлась раньше десяти, вихрем ворвалась в его отдел.

– Я иду прямо к мистеру Фитвайлеру! – закричала она. – И если он пошлет за полицией, то будет прав!

Мистер Мартин поднял на нее изумленные глаза.

– Простите, вы о чем?

Миссис Барроу фыркнула и вылетела в коридор. Мисс Шеппард и Джо Харти удивленно переглянулись.

– Что это сегодня со старой ведьмой? – спросила мисс Шеппард.

– Понятия не имею, – ответил мистер Мартин, снова склонившись над бумагами.

Сотрудники посмотрели сначала на него, потом друг на друга. Мисс Шеппард встала и вышла в коридор. У закрытой двери кабинета мистера Фитвайлера она замедлила шаги. Из-за двери доносились вопли миссис Барроу, но смеха слышно не было. Мисс Шеппард не могла разобрать слои и вернулась в отдел.

Спустя три четверти часа миссис Барроу покинула кабинет президента фирмы и удалилась к себе в комнату, громко хлопнув дверью.

Только через полчаса мистер Фитвайлер вызвал мистера Мартина.

Заведующий отделом делопроизводства, как всегда, в отглаженном костюме, выжидательно склонился перед огромным столом президента фирмы. Мистер Фитвайлер был бледен и заметно нервничал. Он снял очки и, не переставая, вертел их в руках. В горле у него заклокотало.

– Мартин, – начал он, вы служите у нас уже более двадцати лет...

– Двадцать два года, сэр, – осторожно поправил его заведующий отделом.

– И за все это время, – продолжал президент фирмы, – ваша работа и ваше... поведение были всегда, образцовыми.

– Надеюсь, сэр, – ответил мистер Мартин.

– Вы ведь не пьете и не курите, правда?

– Совершенно верно, сэр.

– Можете ли вы рассказать мне, – мистер Фитвайлер протер очки, – что вы делали вчера вечером после работы?

Мистер Мартин позволил себе несколько секунд помолчать с удивленным видом.

– Конечно, сэр, – ответил он. — Я пошел домой, потом — к Штрафту обедать. Оттуда – опять домой. Я лег спать рано, сэр, и перед сном немного почитал журнал. В одиннадцать я уже спал.

– Да... – многозначительно протянул мистер Фитвайлер.

Он немного помолчал, подыскивая слова, которые собирался сказать заведующему делопроизводством.

– Миссис Барроу, – наконец произнес он с трудом, – много работала, Мартин, даже слишком много. Должен с прискорбием сообщить, что нервы ее не выдержали. Нервное расстройство приняло у нее форму мании преследования, усугубленной навязчивыми галлюцинациями.

– Крайне сожалею об этом, сэр, – с состраданием произнес мистер Мартин.

– Миссис Барроу, – продолжал президент фирмы, – вообразила себе, что вчера вечером вы были у нее в гостях и вели себя... неподобающим образом.

Он поднял руку, предупреждая возглас протеста со стороны мистера Мартина.

– Люди, страдающие подобными психическими заболеваниями, обычно избирают самое невинное и неподходящее лицо в качестве своего преследователя. Но неспециалисту в этом очень трудно разобраться, Мартин, очень трудно. Я только что звонил своему психиатру, доктору Фитчу. Он, конечно, не выска-

зался категорически, но привел достаточно общих соображений, подтверждающих мое подозрение. Когда миссис Барроу сегодня утром закончила свой... рассказ, я предложил ей самой поговорить с доктором Фитчем, так как сразу заподозрил, что здесь что-то неладно. Но она, как это ни странно, пришла в ярость и потребовала... то есть попросила, чтобы я дал вам хороший нагоняй. Вы, вероятно, не знаете. Мартин, что миссис Барроу собиралась реорганизовать ваш отдел, то есть... представить план реорганизации на мое утверждение... на мое утверждение, конечно. Поэтому ее голова было в первую очередь занята вами. Но все-таки в этом вопросе следует полагаться на мнение доктора Фитча. Короче говоря, Мартин, я опасаюсь, что наша фирма больше не сможет пользоваться услугами миссис Барроу.

– Я беспредельно опечален этим, сэр, – сочувственно произнес мистер Мартин.

В этот миг дверь кабинета стремительно распахнулась, словно в коридоре взорвалась бомба, и миссис Барроу пулей влетела в комнату.

– А! Эта грязная крыса все отрицает! – завизжала она. – Но это ему так не пройдет!

Мистер Мартин встал и незаметно подвинулся к креслу мистера Фитвайлера.

– Вы пили и курили у меня! Вы это прекрасно знаете! Обозвали мистера Фитвайлера старым болтуном и клялись, что выбросите его ко всем чертям, когда одуреете от своего героина! – Она умолкла, чтобы перевести дыхание, и вдруг в ее выпученных глазах вспыхнул новый огонек. – Не будь вы таким жалким ничтожеством, – крикнула она, – я решила бы, что вы все это придумали заранее! Поэтому вы даже высунули язык, сказав, что сидите в гнезде дрозда, так как знали, что мне никто не поверит, если я начну рассказывать. О боже, да ведь он в самом деле все это подстроил!

Истерически завопив, она снова пришла в бешенство и вдруг набросилась на мистера Фитвайлера:

– А вы, старый дурак, разве не видите, как ловко он провел нас? Не видите, какую игру он затеял?

Но мистер Фитвайлер уже давно незаметно нажимал все кнопки на столе, и вскоре в комнату начали вбегать служащие фирмы «FS».

– Стоктон, вы с Фишбейном отвезете миссис Барроу домой, – приказал мистер Фитвайлер. – Миссис Пауэлл, вы поедете вместе с ними.

Стоктон, который ранее играл в университетской сборной команде, преградил путь миссис Барроу, как только она бросилась на мистера Мартина. Но ему потребовалась помощь Фишбейна, чтобы вытолкнуть ее в коридор, переполненный стенографистками и рассыльными. Миссис Барроу продолжала изрыгать проклятия в адрес мистера Мартина. Постепенно все стихло.

– Я крайне сожалею о случившемся, – произнес президент фирмы, – и прошу вас, Мартин, забыть об этом неприятном инциденте.

– Слушаюсь, сэр, – ответил мистер Мартин, пятясь к двери в ожидании начальственного «У меня — всё».

Он вышел, плотно прикрыл за собой дверь и быстрыми легкими шагами направился по коридору. Войдя в свой отдел, он перешел на обычную походку и, остановившись у картотеки, спокойно выдвинул ящик под индексом «W-20».

Перевод А. Берга, В. Обухова

Публикуется по: Тэрбер Д. Месть делопроизводителя // Дон. 1967. №1.

The Catbird Seat

Mister Martin bought the pack of Camels on Monday night in the most crowded cigar store on Broadway. It was theater time and seven or eight men were buying cigarettes. The clerk didn't even glance at Mr. Martin, who put the pack in his overcoat pocket and went out. If any of the staff at F & S had seen him buy the cigarettes, they would have been astonished, for it was generally known that Mr. Martin did not smoke, and never had. No one saw him.

It was just a week to the day since Mr. Martin had decided to rub out Mrs. Ulgine Barrows. The term "rub out" pleased him because it suggested nothing more than the correction of an error – in this case an error of Mr. Fitweiler. Mr. Martin had spent each night of the past week working out his plan and examining it. As he walked home now he went over it again. For the hundredth time he resented the clement of imprecision, the margin of guesswork that entered into the business. The project as he had worked it out was casual and bold, the risks were considerable. Something might go wrong anywhere along the line. And therein lay the cunning of his scheme. No one would ever see in it the cautious, painstaking hand of Erwin Martin, head of the filing department at F & S, of whom Mr. Fitweiler had once said, "Man is fallible but Martin isn't." No one would see his hand, that is, unless it were caught in the act.

Sitting in his apartment, drinking a glass of milk, Mr. Martin reviewed his case against Mrs. Ulgine Barrows, as he had every night for seven nights. He began at the beginning. Her quacking voice and braying laugh had first profaned the halls of F & S on March 7, 1941 (Mr. Martin had a head for dates). Old Roberts, the personnel chief, had introduced her as the newly appointed special adviser to the president of the firm, Mr. Fitweiler. The woman had appalled Mr. Martin instantly, but he hadn't shown it. He had given her his dry hand, a look of studious concentration, and a faint smile. "Well," she had said, looking at the papers on his desk, "are you lifting the oxcart out of the ditch?" As Mr. Martin recalled that moment, over his milk, he squirmed slightly. He must keep his mind on her crimes as a special adviser, not on her peccadillos as a personality. This he found difficult to do, in spite of entering an objection and sustaining it. The faults of the woman as a woman kept chattering on in his mind like an unruly witness. She had, for almost two years now, baited him. In the halls, in the elevator, even in his own office, into which she romped now and then like a circus horse, she was constantly shouting these silly questions at him. "Are you lifting the oxcart out of the ditch? Are you tearing up the pea patch? Are you hollering down the rain barrel? Are you scraping around the bottom of the pickle barrel? Are you sitting in the catbird seat?"

It was Joey Hart, one of Mr. Martin's two assistants, who had explained what the gibberish meant. "She must be a Dodger fan," he had said. "Red Barber announces the Dodger games over the radio and he uses those expressions – picked 'em up down South." Joey had gone on to explain one or two. "Tearing up the pea patch"

meant going on a rampage; “sitting in the catbird seat” meant sitting pretty, like a batter with three balls and no strikes on him. Mr. Martin dismissed all this with an effort. It had been annoying, it had driven him near to distraction, but he was too solid a man to be moved to murder by anything so childish. It was fortunate, he reflected as he passed on to the important charges against Mrs. Barrows, that he had stood up under it so well. He had maintained always an outward appearance of polite tolerance. “Why, I even believe you like the woman,” Miss Paired, his other assistant, had once said to him. He had simply smiled.

A gavel rapped in Mr. Martin’s mind and the case proper was resumed. Mrs. Ulgine Barrows stood charged with willful, blatant, and persistent attempts to destroy the efficiency and system of F & S. It was competent, material, and relevant to review her advent and rise to power. Mr. Martin had got the story from Miss Paired, who seemed always able to find things out. According to her, Mrs. Barrows had met Mr. Fitweiler at a party, where she had rescued him from the embraces of a powerfully built drunken man who had mistaken the president of F & S for a famous retired Middle Western football coach. She had led him to a sofa and somehow worked upon him a monstrous magic. The aging gentleman had jumped to the conclusion there and then that this was a woman of singular attainments, equipped to bring out the best in him and in the firm. A week later he had introduced her into F & S as his special adviser. On that day confusion got its foot in the door. After Miss Tyson, Mr. Brundage, and Mr. Bartlett had been fired and Mr. Munson had taken his hat and stalked out, mailing in his resignation later, old Roberts had been emboldened to speak to Mr. Fitweiler. He mentioned that Mr. Munson’s department had been “a little disrupted” and hadn’t they perhaps better resume the old system there? Mr. Fitweiler had said certainly not. He had the greatest faith in Mrs. Barrow’s ideas. “They require a little seasoning, a little seasoning, is all,” he had added. Mr. Roberts had given it up. Mr. Martin reviewed in detail all the changes wrought by Mrs. Barrows. She had begun chipping at the cornices of the firm’s edifice and now she was swinging at the foundation stones with a pickaxe.

Mr. Martin came now, in his summing up, to the afternoon of Monday, November 2, 1942 – just one week ago. On that day, at 3 p.m., Mrs. Barrows had bounced into his office. “Boo!” she had yelled. “Are you scraping around the bottom of the pickle barrel?” Mr. Martin had looked at her from under his green eyeshade, saying nothing. She had begun to wander about the office, taking it in with her great, popping eyes. “Do you really need *all* these filing cabinets?” she had demanded suddenly. Mr. Martin’s heart had jumped. “Each of these files,” he had said, keeping his voice even, “plays an indispensable part in the system of F & S.” She had brayed at him, “Well, don’t tear up the pea patch!” and gone to the door. From there she had bawled, “But you sure have got a lot of fine scrap in here!” Mr. Martin could no longer doubt that the finger was on his beloved department. Her pickaxe was on the upswing, poised for the first blow. It had not come yet; he had received no blue memo from the enchanted Mr. Fitweiler bearing nonsensical instructions deriving from the obscene woman. But there was no doubt in Mr. Martin’s mind that one would be forthcoming. He must act quickly. Already a precious week had gone by.

Mr. Martin stood up in his living room, still holding his milk glass. "Gentlemen of the jury," he said to himself, "I demand the death penalty for this horrible person."

The next day Mr. Martin followed his routine, as usual. He polished his glasses more often and once sharpened an already sharp pencil, but not even Miss Paired noticed. Only once did he catch sight of his victim; she swept past him in the hall with a patronizing "Hi!" At five-thirty he walked home, as usual, and had a glass of milk, as usual. He had never drunk anything stronger in his life – unless you could count ginger ale. The late Sam Schlosser, the S of F & S, had praised Mr. Martin at a staff meeting several years before for his temperate habits. "Our most efficient worker neither drinks nor smokes," he had said. "The results speak for themselves." Mr. Fitweiler had sat by, nodding approval.

Mr. Martin was still thinking about that red-letter day as he walked over to the Schrafft's on Fifth Avenue near Forty-sixth Street. He got there, as he always did, at eight o'clock. He finished his dinner and the financial page of the *Sun* at a quarter to nine, as he always did. It was his custom after dinner to take a walk. This time he walked down Fifth Avenue at a casual pace. His gloved hands felt moist and warm, his forehead cold. He transferred the Camels from his overcoat to a jacket pocket. He wondered, as he did so, if they did not represent an unnecessary note of strain. Mrs. Barrows smoked only Luckies. It was his idea to puff a few puffs on a Camel (after the rubbing-out), stub it out in the ashtray holding her lipstick-stained Luckies, and thus drag a small red herring across the trail. Perhaps it was not a good idea. It would take time. He might even choke, too loudly.

Mr. Martin had never seen the house on West Twelfth Street where Mrs. Harrows lived, but he had a clear enough picture of it. Fortunately, she had bragged to everybody about her ducky first-floor apartment in the perfectly darling three-story red-brick. There would be no doorman or other attendants; just the tenants of the second and third floors. As he walked along, Mr. Martin realized that he would get there before nine-thirty. He had considered walking north on Fifth Avenue from Schrafft's to a point from which it would take him until ten o'clock to reach the house. At that hour people were less likely to be coming in or going out. But the procedure would have made an awkward loop in the straight thread of his casualness, and he had abandoned it. It was impossible to figure when people would be entering or leaving the house, anyway. There was a great risk at any hour. If he ran into anybody, he would simply have to place the rubbing-out of Ulgine Barrows in the inactive file forever. The same thing would hold true if there were someone in her apartment. In that case he would just say that he had been passing by, recognized her charming house and thought to drop in.

It was eighteen minutes after nine when Mr. Martin turned into Twelfth Street. A man passed him, and a man and a woman talking. There was no one within fifty paces when he came to the house, halfway down the block. He was up the steps and in the small vestibule in no time, pressing the bell under the card that said "Mrs. Ulgine Barrows." When the clicking in the lock started, he jumped forward against the door. He got inside fast, closing the door behind him. A bulb in a lantern hung from the hall ceiling on a chain seemed to give a monstrously bright light. There was

nobody on the stair, which went up ahead of him along the left wall. A door opened down the hall in the wall on the right. He went toward it swiftly, on tiptoe.

“Well, for God’s sake, look who’s here!” bawled Mrs. Barrows, and her braying laugh rang out like the report of a shotgun. He rushed past her like a football tackle, bumping her. “Hey, quit shoving!” she said, closing the door behind them. They were in her living room, which seemed to Mr. Martin to be lighted by a hundred lamps. “What’s after you?” she said. “You’re as jumpy as a goat.” He found he was unable to speak. His heart was wheezing in his throat. “I – yes,” he finally brought out. She was jabbering and laughing as she started to help him off with his coat. “No, no,” he said. “I’ll put it here.” He took it off and put it on a chair near the door. “Your hat and gloves, too,” she said. “You’re in a lady’s house.” He put his hat on top of the coat. Mrs. Barrows seemed larger than he had thought. He kept his gloves on. “I was passing by,” he said. “I recognized – is there anyone here?” She laughed louder than ever. “No,” she said, “we’re all alone. You’re as white as a sheet, you funny man. Whatever *has* come over you? I’ll mix you a toddy.” She started toward a door across the room. “Scotch-and-soda be all right? But say, you don’t drink, do you?” She turned and gave him her amused look. Mr. Martin pulled himself together. “Scotch-and-soda will be all right,” he heard himself say. He could hear her laughing in the kitchen.

Mr. Martin looked quickly around the living room for the weapon. He had counted on finding one there. There were andirons and a poker and something in a corner that looked like an Indian club. None of them would do. It couldn’t be that way. He began to pace around. He came to a desk. On it lay a metal paper knife with an ornate handle. Would it be sharp enough? He reached for it and knocked over a small brass jar. Stamps spilled out of it and it fell to the floor with a clatter. “Hey,” Mrs. Barrows yelled from the kitchen, “are you rearing up the pea patch?” Mr. Martin gave a strange laugh. Picking up the knife, he tried its point against his left wrist. It was blunt. It wouldn’t do.

When Mrs. Barrows reappeared, carrying two highballs, Mr. Martin, standing there with his gloves on, became acutely conscious of the fantasy he had wrought. Cigarettes in his pocket, a drink prepared for him – it was all too grossly improbable. It was more than that; it was impossible. Somewhere in the back of his mind a vague idea stirred, sprouted. “For heaven’s sake, take off those gloves,” said Mrs. Harrows. “I always wear them in the house,” said Mr. Martin. The idea began to bloom, strange and wonderful. She put the glasses on a coffee table in front of a sofa and sat on the sofa. “Come over here, you odd little man,” she said. Mr. Martin went over and sat beside her. It was difficult getting a cigarette out of the pack of Camels, but he managed it. She held a match for him, laughing. “Well,” she said, handing him his drink, “this is perfectly marvelous. You with a drink and a cigarette.”

Mr. Martin puffed, not too awkwardly, and took a gulp of the highball. “I drink and smoke all the time,” he said. He clinked his glass against hers. “Here’s nuts to that old windbag, Fitweiler,” he said, and gulped again. The stuff tasted awful, but he made no grimace. “Really, Mr. Martin,” she said, her voice and posture changing, “you are insulting our employer.” Mrs. Barrows was now all special adviser to the

president. "I am preparing a bomb," said Mr. Martin, "which will blow the old goat higher than hell." He had only had a little of the drink, which was not strong. It couldn't be that. "Do you take dope or something?" Mrs. Barrows asked coldly. "Heroin," said Mr. Martin. "I'll be coked to the gills when I bump that old buzzard off." "Mr. Martin!" she shouted, getting to her feet. "That will be all of that. You must go at once." Mr. Martin took another swallow of his drink. He tapped his cigarette out in the ashtray and put the pack of Camels on the coffee table. Then he got up. She stood glaring at him. He walked over and put on his hat and coat. "Not a word about this," he said, and laid an index finger against his lips. All Mrs. Barrows could bring out was "Really!" Mr. Martin put his hand on the doorknob. "I'm sitting in the catbird seat," he said. He stuck his tongue out at her and left. Nobody saw him go.

Mr. Martin got to his apartment, walking, well before eleven. No one saw him go in. He had two glasses of milk after brushing his teeth, and he felt elated. It wasn't tipsiness, because he hadn't been tipsy. Anyway, the walk had worn off all effects of the whisky. He got in bed and read a magazine for a while. He was asleep before midnight.

Mr. Martin got to the office at eight-thirty the next morning, as usual. At a quarter to nine, Ulgine Barrows, who had never before arrived at work before ten, swept into his office. "I'm reporting to Mr. Fitweiler now!" she shouted. "If he turns you over to the police, it's no more than you deserve!" Mr. Martin gave her a look of shocked surprise. "I beg your pardon?" he said. Mrs. Barrows snorted and bounced out of the room, leaving Miss Paired and Joey Hart staring after her. "What's the matter with that old devil now?" asked Miss Paired. "I have no idea," said Mr. Martin, resuming his work. The other two looked at him and then at each other. Miss Paired got up and went out. She walked slowly past the closed door of Mr. Fitweiler's office. Mrs. Barrows was yelling inside, but she was not braying. Miss Paired could not hear what the woman was saying. She went back to her desk.

Forty-five minutes later, Mrs. Barrows left the president's office and went into her own, shutting the door. It wasn't until half an hour later that Mr. Fitweiler sent for Mr. Martin. The head of the filing department, neat, quiet, attentive, stood in front of the old man's desk. Mr. Fitweiler was pale and nervous. He took his glasses off and twiddled them. He made a small, bruffing sound in his throat, "Martin," he said, "you have been with us more than twenty years." "Twenty-two, sir," said Mr. Martin. "In that time," pursued the president, "your work and your-uh-manner have been exemplary." "I trust so, sir," said Mr. Martin. "I have understood, Martin," said Mr. Fitweiler, "that you have never taken a drink or smoked," "That is correct, sir," said Mr. Martin. "Ah, yes." Mr. Fitweiler polished his glasses. "You may describe what you did after leaving the office yesterday, Martin," he said. Mr. Martin allowed less than a second for his bewildered pause. "Certainly, sir," he said, "I walked home. Then I went to Schrafft's for dinner. Afterward I walked home again. I went to bed early, sir, and read a magazine for a while. I was asleep before eleven." "Ah, yes," said Mr. Fitweiler again. He was silent for a moment, searching for the proper words to say to the head of the filing department. "Mrs. Harrows," he said finally, "Mrs.

Harrows has worked hard, Martin, very hard. It grieves me to report that she has suffered a severe breakdown. It has taken the form of a persecution complex accompanied by distressing hallucinations.” “I am very sorry, sir,” said Mr. Martin. “Mrs. Harrows is under the delusion,” continued Mr. Fitweiler, “that you visited her last evening and behaved yourself in an-uh-unseemly manner.” He raised his hand to silence Mr. Martin’s little pained outcry. “It is the nature of these psychological diseases,” Mr. Fitweiler said, “to fix upon the least likely and most innocent party as the-uh-source of persecution. These matters are not for the lay mind to grasp, Martin. I’ve just had my psychiatrist, Dr. Fitch, on the phone. He would not, of course, commit himself, but he made enough generalizations to substantiate my suspicions. I suggested to Mrs. Harrows when she had completed her-uh-story to me this morning, that she visit Dr. Fitch, for I suspected a condition at once. She flew, I regret to say, into a rage, and demanded-uh-requested that I call you on the carpet. You may not know, Martin, but Mrs. Barrows had planned a reorganization of your department – subject to my approval, of course, subject to my approval. This brought you, rather than anyone else, to her mind – but again that is a phenomenon for Dr. Fitch and not for us. So, Martin, I am afraid Mrs. Harrows’ usefulness here is at an end.” “I am dreadfully sorry, sir,” said Mr. Martin.

It was at this point that the door to the office blew open with the suddenness of a gas-main explosion and Mrs. Barrows catapulted through it. “Is the little rat denying it?” she screamed. “He can’t get away with that!” Mr. Martin got up and moved discreetly to a point beside Mr. Fitweiler’s chair. “You drank and smoked at my apartment,” she bawled at Mr. Martin, “and you know it! You called Mr. Fitweiler an old windbag and said you were going to blow him up when you got coked to the gills on your heroin!” She stopped yelling to catch her breath and a new glint came into her popping eyes. “If you weren’t such a drab, ordinary little man,” she said, “I’d think you’d planned it all. Sticking your tongue out, saying you were sitting in the catbird seat, because you thought no one would believe me when I told it! My God, it’s really too perfect!” She brayed loudly and hysterically, and the fury was on her again. She glared at Mr. Fitweiler. “Can’t you see how he has tricked us, you old fool? Can’t you see his little game?” But Mr. Fitweiler had been surreptitiously pressing all the buttons under the top of his desk and employees of F & S began pouring into the room. “Stockton,” said Mr. Fitweiler, “you and Fishbein will take Mrs. Harrows to her home. Mrs. Powell, you will go with them.” Stockton, who had played a little football in high school, blocked Mrs. Barrows as she made for Mr. Martin. It took him and Fishbein together to force her out of the door into the hall, crowded with stenographers and office boys. She was still screaming imprecations at Mr. Martin, tangled and contradictory imprecations. The hubbub finally died out down the corridor.

“I regret that this has happened,” said Mr. Fitweiler. “I shall ask you to dismiss it from your mind, Martin.” “Yes, sir,” said Mr. Martin, anticipating his chief’s “That will be all” by moving to the door. “I will dismiss it.” He went out and shut the door, and his step was light and quick in the hall. When he entered his department he had slowed down to his customary gait, and he walked quietly across the room to the W20 file, wearing a look of studious concentration.

Публикуется по: Thurber J. Writings and Drawing. N. Y., Literary Classics of the United States, 1996.

Questions

1. Why did Mr. Martin like the word “rub out”?
2. What are the details of the “case against Mrs. Ulgine Barrows”?
3. Who told Mr. Martin the story of Mrs. Barrows?
4. Where did she meet with Mr. Fitweiler, the president of the firm, for the first time?
5. Why did his hands feel moist and warm and his forehead warm, when he was walking down Fifth Avenue?
6. What risks did Mr. Martin realize when he was coming up to the house of Mrs. Barrows?
7. What did Mr. Martin do and speak about at Mrs. Barrows’ place?
8. How did she behave?
9. What did Mrs. Barrows promise to do when she entered the office the following morning?
10. What was Mr. Fitweiler’s reaction?

Paraphrase or explain

1. “It was all too grossly improbable. It was more than that; it was impossible.”
2. “Somewhere in the back of his mind a vague idea stirred, sprouted.” ... “The idea began to bloom, strange and wonderful.”
3. “He would not, of course, commit himself, but he made enough generalizations to substantiate my suspicions.”
4. “Mr. Martin pulled himself together.”

5. “Mrs. Barrows had planned a reorganization of your department – subject to my approval, of course, subject to my approval.”

Discussion points

- Why is the story entitled “The Catbird Seat”? Who do these words belong to?
- How do the exact dates given in the text of the story contribute to the understanding of Mr. Martin’s character?
- Speak on Mr. Martin’s “little game”.
- Speak on the character of Mrs. Barrows, paying attention to the satirically depicted details and speech characteristics.

Translation exercises

1. Write out all characteristics of Mrs. Barrows from the original text and compare them with the translation. What details are efficiently rendered in translation? Speak on the choice of the transformations employed.

Mrs. Barrows’ speech		Transformation	
<i>Original text</i>	<i>Translation</i>	<i>Original text</i>	<i>Translation</i>

Mrs. Barrows’ behavior		Transformation	
<i>Original text</i>	<i>Translation</i>	<i>Original text</i>	<i>Translation</i>

2. What linguistic means are employed in translation? What transformations were used by the translator to retain the same pragmatic effect in translation as it was reached in the original?

3. Summarize the efficiency of the translation techniques employed in the translation of the text.

Глава 7

«Черный юмор» и нонконформизм: сатирическое изображение общества потребления в творчестве Ф. О’Коннор и Т. Сазерна

В 50-60-е годы XX века, в период, во многих отношениях ставший переломным этапом в развитии американской культуры, в литературе США появляется ряд произведений, в которых представлен писатель-неудачник – главный герой, испытывающий настоятельную, жизненно необходимую, практически определяющую вопрос его существования потребность в словесном творчестве, реализации которой мешают разного рода препятствия. В частности, это касается произведений Курта Воннегута, Джона Барта, Роберта Кувера. Характер появившейся необходимости в самовыражении и трудностей, которые в это время предстояло преодолевать писателю, связан с изменениями в социокультурной среде, происходившими во второй половине XX столетия. Особенно примечательной в этом отношении была ситуация, в которой оказывался писатель на Юге США: «Сочинительство никогда не было поощряемым видом деятельности на Юге, а писатели-юмористы, впрочем, так же как и наиболее восприимчивые серьезные писатели, выбирали из жизни Юга те ее стороны, о которых сами южане предпочли бы никогда не вспоминать. Это сочетание порождало ту категорию книг, которую на Юге склонны были считать литературой предательства. Но агрессивная среда скорее благотворна для художника, работа с этим твердым материалом оттачивает и заостряет перо писателя, развивая его талант и словесное мастерство. Зачастую атмосфера неприязни и вражды – это именно та обстановка, о которой настоящий писатель мог бы только мечтать, особенно писатель-сатирик. Фланнери О’Коннор, Юдора Уэлти и Уолкер Перси одни из самых лучших писателей середины XX века, и все они обладали комическими талантами. Все они были не только юмористами, но комизм становился неперемным и неотъемлемым свойством их произведений»¹.

Одним из показательных примеров произведений, посвященных проблемам создания и функционирования литературы, можно считать рассказ американской писательницы Фланнери О’Коннор (1925-1964) «Праздник в Партридже» (The Partridge festival, 1961).

Действие рассказа разворачивается в небольшом городке Партридже, расположенном на Юге США: тетушки главного героя мечтают о том, чтобы из их племянника, молодого человека по имени Кэлхун, «вышла вторая Маргарет Митчелл». Кэлхун действительно собирается заняться литературой, но основ-

ной причиной, побудившей его к этому, становится глубокое чувство отвращения к тому образу жизни, который ведут жители Партриджа. Главным его недостатком начинающий писатель считает слепое следование устоявшимся, общепринятым, но не имеющим глубокого духовного содержания, проникнутым фальшью и искусственностью традициям. Одна из них – так называемый праздник азалий, учрежденный прадедом Кэлхуна для оживления собственной торговли, со временем он превратился в торговую марку Партриджа, девизом которого стали слова: «Мы сеем красоту, а пожинаем деньги»².

Начинающий писатель принимает решение посвятить свое творчество разоблачению пошлости и убогости, в которой погрязли горожане. Но есть и еще одна более важная причина, заставившая его взяться за перо. Молодой человек страдает от раздвоенности: с одной стороны, он испытывает неприязнь по отношению к обывателям, с другой же стороны, Кэлхун замечает, что во многом он такой же, как и все. Например, герой О'Коннор зарабатывает на жизнь тем, что три летних месяца продает холодильники, «чтобы получить возможность остальные девять существовать естественно, возвращая свое истинное «я» бунтаря, художника, мистика»³. Но его постоянно терзает чувство вины, ведь от торговли он испытывает настоящее удовольствие: «Перед покупателями на него находило вдохновение; лицо его начинало светиться, пот катился градом, и все сложности мгновенно исчезали. Он был во власти этого влечения, неодолимого, как влечение к спиртному или к женщине...»⁴. Поэтому литература – это единственный способ подтвердить подлинность жизни бунтаря и мистика, искоренив неподвластную его воле приверженность ложным идеалам его предков.

Подобное положение типично для писателя второй половины XX века – человек стремится найти и сохранить самого себя в мире фальши и суррогатов, в этих условиях акт творчества призван удостоверить его уникальность, неповторимость, утвердить факт подлинного существования автора. Поэтому словесное самовыражение становится жизненно необходимой потребностью, в рассказе звучит цитата из Священного Писания: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными»⁵. Но в отношении творческого вдохновения продавец холодильников зачастую превосходит бунтаря, художника или мистика.

Происходит это в силу следующих причин. Любая творческая деятельность по своей сути является созданием произведений, представляющих определенную эстетическую ценность или значимость. Но понятие ценности подразумевает наличие некой системы, одним из элементов которой в конечном итоге и становится произведение, причем это определяется сравнительными, то есть относительными критериями оценки. Иными словами, никакой абсолютной и уникальной ценности у произведения искусства, как и у деятельности по его со-

зданию, быть не может. Свою значимость оно может приобрести лишь становясь частью системы.

Причем писатель, в силу явно выраженной знаковой природы своих произведений, оказывается в более невыгодном, в сравнении с представителями других видов искусства, положении. Сущность словесного творчества – оперирование знаками, в результате этих операций не появляется ничего, кроме новых комбинаций знаков. Эти комбинации несут в себе, но в гораздо более выразительной форме, те же самые недостатки, что и все прочие системы знаков, значений и ценностей, неприятие которых было изначальной причиной для творчества. Писатель, пытающийся с помощью своих произведений проникнуть в подлинную реальность, в лучшем случае сможет лишь добавить к уже существующим еще одну совокупность означающих, которая будет связана с реальностью означаемых не больше и не меньше всех прочих наборов знаков.

В рассказе О'Коннор Кэлхун увидел единомышленника в Синглтоне, одном из жителей города, отказавшемся участвовать в празднике. За этот отказ он подвергся судебному преследованию: «Во время суда ему набили на ноги колодки, а по вынесении приговора заточили в «тюрьму» вместе с козлом, осужденным ранее за такой же проступок. «Тюрьмой» служила уличная уборная, позаимствованная для этого случая»⁶. В отместку за наказание Синглтон застрелил шестерых жителей города, после чего был признан сумасшедшим и помещен в психиатрическую лечебницу. Воображение Кэлхуна героизировало Синглтона, он превратился в нонконформиста, стремившегося к сохранению своей индивидуальности. Однако когда писатель знакомится с ним, его ждет жестокое разочарование – реальный Синглтон оказался еще более убогим и пошлым, чем те, кто его осудил. Словесная конструкция, созданная в знак протеста против искусственности, оказалась еще более искусственной и не выдержала проверки реальностью.

При всем том полный отказ от литературного творчества категорически недопустим, ведь личность в конечном счете представляет собой совокупность знаков, целостность которой обеспечивается лишь постоянным активным оперированием этими знаками, в отсутствие творческой активности сознание неизбежно распадается на фрагменты и растворяется в общем хаосе массовой культуры – человек теряет самого себя.

В результате писатель попадает в ситуацию неразрешимого противоречия между необходимостью словесного творчества и ее принципиальной невозможностью в условиях разрыва связей между означаемым и означающим. Между тем это положение, а точнее поиск выхода из него стал возможен именно благодаря словесной (языковой) природе литературного творчества.

Первая трудность, с которой необходимо справиться писателю, заключается в принципиальной непознаваемости подлинной реальности с помощью слов. Однако то, что невозможно осуществить, можно обозначить словами – литература оставляет писателю возможность апофатического описания подлинной реальности посредством описания того, что не есть реальность. В тексте рассказа Фланнери О'Коннор читатель знакомится с двумя противостоящими друг другу вариантами представлений о действительности: обывателя и нонконформиста. Оба оказываются в равной степени ложными, но благодаря тому, что они взаимно уничтожают друг друга, образуются продукты распада, создающие проникнутый внутренним напряжением ценностный вакуум, который, в сущности, и есть подлинная реальность. Это напряжение становится тем эмоционально-эстетическим эффектом, который французский постструктуралист Ролан Барт называл «удовольствие от текста».

Вторая проблема, с которой сталкиваются представители литературного творчества во второй половине XX века, – отсутствие средств самовыражения, в рамках существующих систем ценностей становится практически невозможным создание чего-то принципиально нового и уникального. Однако языковая система имеет иерархическую структуру, если нельзя выразить себя на уровне повествования: звуков, слов, словосочетаний, предложений или текста произведения, то можно проявить свою индивидуальность на уровне метаповествования: стиля, направления, школы, метода, культурно-исторической эпохи. Например, американский писатель Джон Барт, на определенном этапе своего творчества оказавшийся в состоянии кризиса, обратился к жанру пародии, он написал роман «Торговец дурманом» (*The Sot-Weed Factor*, 1960), представляющий собой подражание английскому просветительскому роману. Внимательные критики среди всего прочего указали на то, что сюжет «Торговца дурманом» воспроизводит основные структурные элементы сказок и рыцарских романов. Это замечание стало отправной точкой для работы над следующим произведением, романом «Козлик Джайлз» (*Giles Goat-Boy*, 1966), который на этот раз уже был пародией на структуралистские методы изучения художественных произведений.

Характер задач, решения которых требовал творческий процесс во второй половине XX века, определил основные особенности формы создаваемых произведений.

Во-первых, литература неизбежно становится преимущественно комической – в отсутствие идеалов, при разрушении абсолютных ценностей и ниспровержении авторитетов писатель может исходить лишь из скептического и отрицательного отношения к миру, а со времен Аристотеля известно, что единствен-

ная форма искусства, позволяющая использовать в качестве своего материала нечто заведомо негативное и внеэстетичное, – это комедия.

Во-вторых, произведения изобилуют описаниями актов агрессии, насилия и жестокости. Объясняется это тем, что чем менее полноценной, цельнооформленной и поверхностной является картина мира, тем она более агрессивна по отношению к личности. Так как идеология праздника азалий, описанного в рассказе американской писательницы, это отнюдь не Нагорная проповедь, то в силу интеллектуальной и нравственной ущербности она никогда не сможет стать частью внутреннего мира человека, поэтому в поведении участников этого действия всегда будет присутствовать элемент внешнего принуждения и насилия. Главным критерием оценки человека, его сопричастности общему духу веселья является механическое следование определенным инструкциям. В городке Партридж суть праздника состоит в обязательном приобретении значка праздника азалий, соответственно личность оценивается по принципу «купил / не купил». В случае отказа человек подвергается насилию, ответной реакцией на которое становится агрессия. Эта жестокость, как правило, маскируется суррогатными положительными эмоциями, но подлинное творчество призвано разоблачать скрытую агрессию субкультуры, делать ее явной и придавать выразительность. Например, сюжет известного романа американского писателя Чака Паланика «Бойцовский клуб» (Fight club, 1996) посвящен выявлению насилия, присущего современной потребительской культуре.

В-третьих, сочетание жестокости и комизма порождает феномен «черного юмора», который возникает именно в тех случаях, когда читатель воспринимает несоответствие (степень обработанности авторским сознанием) между содержанием и методами его перевода в художественное пространство. Благодаря этому кричащему несоответствию текст приобретает дополнительные экспрессивные свойства, а читатель легко дешифрует и адекватно считывает заложенный в нем авторский замысел.

«Черный юмор» О'Коннор имел глубокие религиозные корни: в детстве она воспитывалась в католической школе, и все ее произведения основаны на христианской тематике и символике. Как указывал российский исследователь литературы и культуры С. Аверинцев, искренняя и глубокая набожность не исключает, а скорее закономерно дополняется ярко выраженным чувством юмора: «Нет и не может быть юмора без противоположности взаимосоотнесенных полюсов, без контраста между консервативными ценностями – и мятежом, между правилом – и исключением, между нормой – и прагматикой, между стабильными табу унаследованной этики – и правами конкретного, единократного, действительного; и притом необходимо, чтобы эта противоположность воспринималась достаточно остро, чтобы она вправду доводила до слез – но и до смеха,

иначе – какой уж юмор? А это значит, что человек способен к юмору в том случае и в той мере, в которой он остается способным к соблюдению заветов и запретов. Неспроста к лучшим проявлениям человеческого юмора принадлежат клерикальные анекдоты. Ведь и Франсуа Рабле был персона духовного чина. Ощущая себя в самой непосредственной близости наиконсервативнейших табу, часто погружаясь в волны густого запаха святыни, человек нередко получает особенно благоприятное расположение к юмору. И далеко не случайно обнаруживается, что качество клерикальных анекдотов состоит в прямой зависимости от реальной заинтересованности той или иной нации или группы в религиозных материях»⁷.

Подобная реальная заинтересованность была основой мировоззрения и творческим принципом О'Коннор. Американские критики свидетельствуют, что именно приверженность католицизму побуждала ее представлять мир в виде зловещего и причудливого сна: «У меня есть ощущение, что те писатели, которым открылся свет истины христианской веры, в наше время приобретают обостренную способность замечать гротескные, нелепо искаженные и неприемлемые черты в жизни людей»⁸. Она поясняет, почему с христианской точки зрения окружающая действительность вызывает одновременно скорбь и смех: «Поскольку все вокруг считают главным в своей жизни что угодно, но не Христа, то они кажутся мне гротескными карикатурами»⁹.

Но так как большая часть читателей – это тоже «все вокруг», то до них очень трудно донести этот подлинный незамутненный взгляд на существующий порядок вещей, к которому они уже привыкли и считают вполне нормальным. Поэтому читателя нужно вывести из равновесия, вызвать чувство потрясения, шокировать – это единственный способ быть замеченным в современном мире. «Нужно кричать, чтобы быть услышанным оглушенными, рисовать большими грубыми мазками и яркими красками, чтобы быть увиденным слепнувшими»¹⁰.

По этой причине сюжет большинства ее рассказов строится вокруг экстремальной ситуации, в которую попадает обычный человек, опыт пребывания в ней вызывает психологическое потрясение, сопровождающееся внезапным прозрением и осознанием собственного эгоизма, тщеславия, самообмана, алчности и других пороков и недостатков, под властью которых находилась его душа, но в чем он до этого никогда себе не признавался. Американская писательница считала свои произведения зеркалом, в котором даже слепой мог со всей ясностью и отчетливостью увидеть всю несуразность и абсурдность так называемой нормальной жизни. «Цель язвительной иронии О'Коннор совпадает с самой традиционной функцией комедии – рассеиванием иллюзий»¹¹.

Эту же цель ставил перед собой другой уроженец Юга, писатель и кинодраматург Терри Сазерн (1924-1995): «Вся повергающая в изумление разнопла-

новая творческая мощь Терри Сазерна всегда отличалась юмором, иронией, состраданием и глубочайшим презрением ко всем формам притворства, лицемерия и тирании»¹². По его собственным словам, самое главное для писателя – «способность вызывать чувство ошеломления, не шокировать, шок уже стал стершимся выражением, а именно ошеломлять. Мир не дает успокоиться. Если ты видишь что-то, что подлежит уничтожению, немедленно уничтожай»¹³.

Положение Сазерна в американской культуре XX века было двойственным. С одной стороны, он был культовой фигурой бурных шестидесятых, одним из самых отважных рыцарей в походе против истеблишмента, в который ринулась молодежь эпохи контркультуры. Его называли «свингующим маркизом де Садом», «Эдгаром По поп-арта», «молочным братом Уильяма Берроуза»¹⁴. Участники группы «Битлз», формируя собственный антиистеблишмент, поместили в ряду прочих его портрет на обложку знаменитого альбома «Sgt. Pepper».

В то же время критики указывают на его неразрывную связь с традициями американской и мировой литературы. Первые попытки попробовать свои силы в литературном творчестве он предпринял в двенадцатилетнем возрасте, переписав один из самых ужасных среди всех ужасных рассказов Э. По о Гордоне Пиме; с его точки зрения, он был недостаточно страшен. По мнению Дэвида Талли, автора книги о Сазерне, мир его повествований похож на смешение мифа и реальности в романах Готорна, и его творчество в целом соединяет традиции юмора Юго-запада США с французским декадансом и сюрреализмом¹⁵. Друг семьи Сазернов, писатель Брендан Джил, считал, что его друг продолжает традиции Марка Твена в части придумывания небылиц (tall tales) и розыгрышей¹⁶. Гор Видал называл Сазерна самым остроумным и глубоким писателем своего поколения и по силе разоблачения ограниченной мудрости и самоуспокоенного идиотизма обывателя сравнивал его роман «Магический Христиан» (The Magic Christian, 1959) с «Бюваром и Пекюше» Флобера¹⁷. Среди авторов, которые оказали на него существенное влияние, сам Сазерн упоминал имена Селина, Кафки, Уэста (он написал сценарий по роману «Целый миллион»)¹⁸.

Его сатира была такой же двоякой, а точнее обоюдоострой. В романе «Магический Христиан» эксцентричный мультимиллионер Гай Гранд устраивает серию розыгрышей, цель которых, так же как и в рассказе О'Коннор «Праздник в Партридже», разоблачить скрытые унижение, насилие и поклонение фальшивым кумирам и лжепророкам, царящие в современном потребительском обществе. Но при этом сами бунтари являются глубоко интегрированными элементами той самой системы, которую они пытаются расшатать: Кэлхун – удачливый продавец, Гранд – мультимиллионер. Американские писатели указывают на серьезную опасность превращения протеста против культа потребления и развле-

чений в переход на новый уровень потребления и поиск новых форм получения удовольствий.

Персонажи О'Коннор и Сазерна отражают конфликт поколений, наблюдавшийся в США в 1950-1960-х годах. «Эпоха изобилия, наступившая в Америке, а также обеспечивавшая его система высоко ценились тем поколением, которое пережило Великую депрессию и две мировые войны. Однако их дети, которые родились в эту эпоху, а потому не знавшие лишений, доставшихся их родителям, относились к материальному достатку скорее с безразличием, чем с благодарностью, и приобретение стиральной машины, пылесоса или холодильника уже не могло вызвать у них священного трепета»¹⁹. Это породило контркультуру, декларировавшую отказ от ценностей предыдущего поколения, но при этом ее пронизывал такой оголтелый дух индивидуализма, эгоизма и чувственных наслаждений, что уже к концу 1960-х годов «начинало казаться, что контркультура стала тем, против чего она собиралась бороться. <...> Появились странные параллели между Истеблишментом и Контркультурой – все хотели быть не таким, как все, в итоге нонконформизм стал орудием конформизма. <...> Согласно социологическим опросам общество больше всего раздражали две вещи: во-первых, война во Вьетнаме, во-вторых, акции протеста против войны во Вьетнаме»²⁰. Эта ущербность и духовное бессилие молодежных протестов не ускользнули от пронизательных американских писателей: в произведениях О'Коннор и Сазерна сатирическое разоблачение потребительского общества дополняется карикатурным изображением самих бунтарей и форм протеста против этого общества.

Когда Сазерну задали вопрос о том, какое бы он хотел создать впечатление о своих книгах у читателя, то он ответил: «Любое произведение искусства должно содержать в себе множество уровней восприятия и допускать разные истолкования. Как-то я прочитал в одной книге, где разбиралось какое-то произведение Баха, в ней музыковед, подводя итог своим рассуждениям, сказал, что эту музыку можно разбирать вдоль и поперек, но мы так и не сможем понять, веселая она или грустная. В искусстве просто невозможно отделить одно от другого»²¹. И это вполне справедливо как по отношению к творчеству О'Коннор и Сазерна, так и ко всему американскому «черному юмору».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Steadman M. Humor in literature // Encyclopedia of Southern culture. Chapel Hill, N. C.: University of North Carolina Press, 1989. P. 143.

² О'Коннор Ф. Праздник в Партридже // Гон спозаранку. Рассказы американских писателей о молодежи. М.: Молодая гвардия, 1975. С. 60.

³ Там же. С. 59.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же. С. 56.

⁷ Аверинцев С. О духе времени и чувстве юмора // Новый мир. 2000. №1. С. 138.

⁸ Цит. по: Davis B. Flannery O'Connor: Christian belief in recent fiction // XX century American literature. N. Y.: Chelsea House Publishers, 1987. P. 2867.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Butler R. What's so funny about Flannery O'Connor? // XX century American literature. N. Y.: Chelsea House Publishers, 1987. P. 2877.

¹² См.: Hill L. Interview with a Grand Guy // <http://www.altx.com/int2/terry.southern.html>

¹³ См.: Bockris V. The Mystery of Terry Southern // <http://www.gadflyonline.com/archive/JanFeb00/archive-southern.html>

¹⁴ См.: Tully D. American grotesque: Terry Southern and the Capacity to Astonish // <http://www.terrysouthern.com/academia.html>

¹⁵ Ibid.

¹⁶ MacGregor J. Film view; The hot day Terry Southern, cool and fatalistic, strode in // <http://www.nytimes.com/books/01/06/17/specials/southern-hotday.html>

¹⁷ Bockris V. The Mystery of Terry Southern // <http://www.gadflyonline.com/archive/JanFeb00/archive-southern.html>

¹⁸ См.: Hill L. Interview with a grand Guy // <http://www.altx.com/int2/terry.southern.html>

¹⁹ Reilly V. Writing the counterculture: Terry Southern as social satirist // www.terrysouthern.com/acad_vik.htm

²⁰ Ibid.

²¹ MacGregor J. Film view; The hot day Terry Southern, cool and fatalistic, strode in // <http://www.nytimes.com/books/01/06/17/specials/southern-hotday.html>

Праздник в Партридже

Кэлхун поставил свою пузатенькую машину, не доезжая дома тетушек, и вылез, опасливо озираясь по сторонам, словно побаивался, что буйное цветение азалий окажется для него губительным. У старых дам вместо скромного газона были густо, тремя террасами, посажены красные и белые азалии; они поднимались от тротуара и подступали к самым стенам их внушительного деревянного дома. Обе тетушки ждали его на веранде, одна сидела, другая стояла.

— А вот и наш малышка! — пропела тетушка Бесси так, чтобы расслышала сестра, которая находилась в двух шагах, но была глуховата. На звук ее голоса оглянулась девушка у соседнего дома, которая, положив ногу на ногу, читала под деревом. Она пристально посмотрела на Кэлхуна, потом очкастое лицо ее снова склонилось над книгой, но Кэлхун заметил на нем усмешку. Хмурясь, он проследовал на веранду, чтобы поскорей покончить с церемонией приветствий. Тетушки, должно быть, расценят его добровольный приезд в Партридж на праздник азалий как знак того, что он исправляется.

Квадратными челюстями старые дамы напоминали Джорджа Вашингтона с его вставными деревянными зубами. Они носили черные костюмы с широкими кружевными жабо, тусклые седые волосы были собраны на затылке. Кэлхун, дав каждой из них себя обнять, усталое опустил на качалку и глуповато улыбнулся. Он приехал только потому, что его воображение поразил Синглтон, но тетушке Бесси сказал по телефону, что хочет поглядеть на праздник.

Тетушка Мэтти, та, что была глуховата, прокричала:

— То-то твой прадед бы порадовался, что тебя наш праздник привлекает! Это ведь была его затея.

— Ну а что вы скажете о добавочном развлечении, которое было тут у вас недавно? — завопил он в ответ.

За десять дней до начала праздника человек по фамилии Синглтон предстал перед потешным судом на площади у муниципалитета за то, что не купил значок праздника азалий. Во время суда ему набили на ноги колодки, а по вынесении приговора заточили в «тюрьму» вместе с козлом, осужденным ранее за такой же проступок. «Тюрьмой» служила уличная уборная, позаимствованная для этого случая. Десять дней спустя Синглтон с бесшумным пистолетом проник боковым входом в муниципалитет и застрелил пятерых видных чиновников и по ошибке одного из посетителей. Ни в чем не повинный человек этот получил пулю, предназначавшуюся мэру, который в ту минуту наклонился, чтобы подтянуть язык башмака.

— Досадный случай, — сказала тетушка Мэтти. — Это портит праздничное настроение.

Кэлхун услышал, как девушка захлопнула книгу. Она приблизилась к живой изгороди и, на мгновение повернув к ним маленькое свирепое лицо на вытянутой вперед шее, направилась обратно к дому.

— Непохоже, что портит! — прокричал Кэлхун. — Я видел, когда ехал по городу — полно народу, и флаги все подняты. Мертвых Партридж похоронит, а выгоды своей не упустит.

На середине этой фразы дверь за девушкой с шумом закрылась.

Тетушка Бесси ушла в дом, но вскоре возвратилась с небольшой кожаной шкатулкой.

— Очень ты похож на нашего отца, — сказала она и придвинула свое кресло поближе к внучатому племяннику.

Кэлхун нехотя поднял крышку шкатулки — при этом на колени ему посыпалась ржавая пыль — и вынул миниатюру с изображением прадеда. Ему демонстрировали эту реликвию всякий раз, как он приезжал. Старик — круглолицый, лысый совершенно заурядного вида — сидел, уперев руки в набалдашник черной трости. Лицо его выражало наивность и решительность. «Отменный торгош», — подумал Кэлхун и передернулся.

— Интересно, что сказал бы сей почтенный муж о сегодняшнем Партридже? — проговорил он с кривой усмешкой. — Застрелено шесть граждан, а праздник в разгаре.

— Отец был человеком передовым — заметила тетушка Бесси. — Партридж не знал, пожалуй, столь дальновидного коммерсанта. Он мог оказаться среди тех видных людей, которые были убиты, или обуздали бы маньяка.

«Долго я этого не выдержу», — подумал Килхун. В газете были напечатаны фотографии Синглтона и его шести жертв. Привлекало внимание только лицо Синглтона, широкоскулое, но худое и сумрачное. Один глаз казался круглее другого, и в этом более круглом глазу Кэлхун прочел хладнокровие человека, который знает, что ему предстоят страдания, и готов выстрадать право быть самим собой. Сметливость и презрение притаились в другом глазу: но, в общем, это было измученное лицо человека, доведенного до безумия окружающим его безумием. На остальных шести лицах отпечатались тот же штамп, что и на физиономии его прадеда.

— С годами ты станешь еще больше похож на нашего батюшку, — предрекла тетушка Мэтти. — Вот и румянец у тебя такой же, да и выражение лица почти то же.

— Совершенно ничего общего, — сказал он холодно.

— Ну просто кровь с молоком, — захохотала тетушка Бесси. — Уж и животик появляется. — И она ткнула его кулаком в живот. — Сколько годочков нашему малышу?

— Двадцать три, — пробурчал он, думая о том, что долго ведь так не может продолжаться, ну, немного помучают, да и отстанут.

— А девушка у тебя есть? — спросила тетушка Мэтти.

— Нет, — ответил он устало. — Надо полагать, — продолжал он о своем, — что Синглтона считают здесь просто сумасшедшим.

– Да, — сказала тетушка Бесси. — Со странностями. Он всегда не хотел жить по правилам. Он не такой, как все мы.

– О, это страшный порок, — заметил Кэлхун.

У самого Кэлхуна глаза, правда, не разные, зато лицо такое же широкое, как у Синглтона, а главное, между ними, несомненно, есть духовное сходство.

– Раз он ненормальный, то не отвечает за свои поступки, — заметила тетушка Бесси.

Глаза у Кэлхуна загорелись. Он подался вперед, пронзая старую даму прищуренным взглядом.

– А кто же тогда истинный виновник?

– У нашего батюшки к тридцати годам на голове был один пушок, как у новорожденного, — сказала она. — А ты бы лучше, пока не поздно, подыскал себе девушку. Ха, ха! Чем ты намерен сейчас заняться?

Он вынул из кармана трубку и кисет. Их ни о чем нельзя спрашивать серьезно. Обе они добропорядочные протестантки, но у них порочное воображение.

– Собираюсь писать, — заявил он и принялся набивать трубку.

– Что ж, — сказала тетушка Бесси, — превосходно. Может, из тебя выйдет вторая Маргарет Митчелл.

– Надеюсь, ты воздашь нам должное! — прокричала тетушка Мэтти. — Не то что другие!

— Уж непременно воздам, — сказал он мрачно. — Я начал всту...

Он замолчал, сунул в рот трубку и откинулся назад. Просто смешно говорить все это им. Вынув трубку, он закончил:

— Ну, не стоит вдаваться в подробности. Вам, женщинам, это неинтересно.

Тетушка Бесси многозначительно склонила голову.

— Кэлхун, — сказала она, — нам не хотелось бы в тебе разочаровываться.

Они так разглядывали его, словно их вдруг осенило: а ведь ручная змейка, с которой они играли, может быть и ядовитая!

— И познайте истину, — произнес он, уничтожая их взглядом, — и истина сделает вас свободными.

По-видимому, то, что он цитирует священное писание, успокоило их.

– До чего же он мил с этой трубкой в зубах, — заметила тетушка Мэтти.

– Ты бы, дорогой, все-таки лучше подыскал бы себе девушку, — сказала тетушка Бесси.

Через несколько минут он сбежал от них, отнес наверх свой чемодан и снова спустился, готовый отправиться в город, чтобы взяться за работу: он надеялся расспросить местных жителей о Синглтоне. Он надеялся написать такое, что оправдает безумца. И надеялся, написав это, смягчить собственную вину, ибо раздвоенность преследовала его, как тень, казавшаяся ему темнее рядом с цельностью Синглтона.

Ведь ежегодно три летних месяца он жил у своих родителей, вместе с ними торгуя кондиционерами, лодками, холодильниками для того, чтобы полу-

читать возможность остальные девять существовать естественно, возвращая свое истинное «я» бунтаря, художника, мистика. На это время он поселялся на другом конце города в неотапливаемом доме без лифта вместе с двумя парнями, которые тоже ничего не делали. Но чувство вины за летние месяцы преследовало его всю зиму: в сущности, он мог бы прожить и без того коммерческого разгула, которому предавался летом.

Когда он заявил родителям, что презирает их идеалы, они понимающе переглянулись, — судя по тому, что им приходилось читать, это было естественно, — и отец предложил ему небольшую сумму на квартиру. Он отказался, чтобы сохранить независимость, но в глубине души знал: дело не в независимости, просто ему нравилось торговать. Перед покупателями на него находило вдохновение; лицо его начинало светиться, пот катился градом, и все сложности мгновенно исчезали. Он был во власти этого влечения неодолимого, как влечение к спиртному или к женщине; торговля так чертовски здорово ему удавалась, что фирма даже наградила его грамотой «За особые заслуги». Он заключил слово «заслуги» в кавычки и использовал грамоту как мишень для игры в перышки.

Стоило ему увидеть в газете фотографию Синглтона, этот образ вспыхнул в его воображении мрачной и укоряющей звездой освобождения. Наутро он предупредил тетюшек о своем приезде и прибыл в Партридж, проделав сто пятьдесят миль за какие-нибудь четыре часа.

Тетюшка Бесси остановила его, когда он выходил из дому:

– Возвращайся к шести, ягненок, тебя будет ждать приятный сюрприз.

– Рисовый пудинг? — спросил он. Готовили они чудовищно.

– Намного приятнее! — сказала тетюшка Бесси, закатывая глаза.

Он поспешно спустился с веранды.

Из соседнего дома снова вышла девушка с книжкой. Наверное, они знакомы. В детстве, когда он приезжал к тетюшкам в гости, те неизменно притаскивали к нему поиграть кого-нибудь из соседских недотеп: то жирную идиотку в скаутской форме, то подслеповатого мальчишку, декламировавшего библейские тексты, а как-то привели почти квадратную девицу, которая подбила ему глаз и удалилась. Слава богу, он теперь уже взрослый, и они не посмеют развлекать его. Девушка из соседнего дома не взглянула на него, и он не стал с ней заговаривать.

Выйдя на улицу, он снова поразился буйному цветению азалий. Казалось, волны их разноцветным приливом неслись по газонам, вздымаясь у белых фасадов розово-малиновыми гребешками, гребешками белыми, с каким-то еще таинственным лиловатым оттенком, крутыми желто-красными гребешками. От этого изобилия красок у него перехватило дух. Мох свисал со старых деревьев. Дома, старомодные, построенные еще до гражданской войны, были на редкость живописны. Об этих местах некогда сказал его прадед, и слова эти остались девизом города: «Мы сеем красоту, а пожинаяем деньги».

Тетюшки жили в пяти кварталах от деловой части города. Кэлхун шел быстрым шагом, и вскоре перед ним открылась торговая площадь, в центре которой было обшарпанное здание муниципалитета. Солнце беспощадно жгло кры-

ши машин, стоящих везде, где только можно. Флаги — государственные, штата и конфедерации — на каждом углу развевались на фонарях. Вокруг мельтешили люди. На тенистой улице, где жили его тетушки и где азалии были особенно хороши, он не встретил почти никого — все были здесь: глазели на жалкие витрины, вяло и почтительно проходили в здание муниципалитета, туда, где пролилась кровь.

Интересно, подумает ли хоть одни из них, что он здесь по той же причине, что и все они? Ему не терпелось, подобно Сократу, прямо на улице затеять спор о том, кто истинный виновник шести смертей, но, оглядевшись, он решил, что вряд ли кого-нибудь тут может заинтересовать подобная тема. Потом он забрел и аптеку. В ней было темно и неприятно пахло ванилью.

Он сел на высокий табурет у стойки и заказал лимонный напиток. У парня, который его обслуживал, были холеные рыжие бачки и на рубаше — значок праздника азалий, тот самый, который отказался купить Синглтон. Кэлхун сразу это заметил.

— Я вижу, вы отдали дань «тому богу»? — сказал он.

Парень, видимо, не понял, о чем речь.

— Я про значок, — сказал Кэлхун. — Значок.

Парень взглянул на значок, потом снова на Кэлхуна.

Он поставил напиток на стойку, но продолжал смотреть на Кэлхуна, словно бы подметил в посетителе какое-то забавное уродство.

— Ну как вам праздник? — спросил Кэлхун.

— Вообще все это? — переспросил парень.

— Эти славные торжества, хотя бы вот шесть смертей, — продолжал Кэлхун.

— Да, сэр, — согласился парень. — Шесть человек недрогнувшей рукой. И четверых из них я знал лично.

— Ну тогда, значит, вы тоже отчасти знаменитость, — сказал Кэлхун.

И вдруг он явственно ощутил, как притихла улица. Он повернулся к двери и увидел проезжавший мимо катафалк, за которым гуськом медленно шли машины.

— У этого отдельные похороны, — почтительно объяснил парень. — Тех пятерых, в которых тот целил, хоронили вчера. Всех разом. А этот не поспел помереть.

— Их руки обгарены кровью безвинных и виновных, — сказал Кэлхун, сверкая глазами.

— Кого это «их»? — спросил парень. — Все это один человек наделал. Его фамилия Синглтон, он чокнутый.

— Синглтон был лишь орудием, — сказал Кэлхун. — Виноват Партридж. — Он залпом выпил напиток и поставил стакан.

Парень смотрел на него как на сумасшедшего.

— Партридж никого застрелить не может, проговорил он сердито.

Кэлхун положил на стойку десять центов и вышел. Последняя машина завернула за угол. Толпа как будто поредела. Видно, при появлении катафалка

люди разбежались. Какой-то старик высунулся из соседней скобяной лавки и упорно глазел на угол, за которым скрылась процессия. Кэлхуну не терпелось поговорить. Он нерешительно подошел.

— Насколько я понимаю, это были последние похороны, — сказал он.

Старик приложил ладонь к уху.

— Похороны ни в чем не повинного человека! — прокричал Кэлхун и мотнул головой туда, где скрылся катафалк.

Старик оглушительно высморкался. Выражение лица у него было не слишком любезное.

— Единственная пуля, которая угодила куда следует, — сказал он дребезжащим голосом. — Этот Биллер просто пьяница и барахло, он и тогда был пьян.

Кэлхун нахмурился.

— Зато уж остальные пятеро — герои как на подбор, — проговорил он ехидно.

— Да, прекрасные люди, — сказал старик. — Погибли, исполняя свой долг. Мы им и похороны закатали как героям — всем пятерым — общие пышные похороны. Биллеровы-то родственнички побежали в похоронное бюро — мол, и Биллера к ним, да только тут уж мы все вмешались и не дали. Иначе это был бы позор.

«Боже правый!» — подумал Кэлхун.

— Одно доброе дело сделал Синглтон — избавил нас от Биллера, — продолжал старик. — Теперь бы еще кто-нибудь избавил нас от Синглтона. Живет себе, не тужит в Квинси, спит-ест задаром, а мы с вами за это налоги платим. Пристрелить бы его тогда на месте!

Это было так чудовищно, что Кэлхун онемел.

— А если уж решили держать его там, пускай платит за харч и квартиру, — сказал старик.

Кэлхун смерил его презрительным взглядом, повернулся и пошел. Он пересек улицу и направился к скверу перед муниципалитетом; он шел, не разбирая дороги, — лишь бы подальше от этого старого дурака, и чем скорее, тем лучше. Под деревьями стояли скамейки. Кэлхун отыскал свободную скамейку и сел. У входа в муниципалитет какие-то зеваки наслаждались видом «тюрьмы», где Синглтон был заточен вместе с козлом. Кэлхуна пронзило чувство дружеского сострадания. Ему вдруг показалось, будто его самого бросают в уборную: шелкает всякий замок, снаружи беснуется ревушая толпа, и он с ненавистью разглядывает ее сквозь прогнившие доски уборной. Козел издает неприличный звук; вот воплощение общества, к которому он прикован!

— А тут шестерых дядей убили, — слышался какой-то странный голос.

Он вздрогнул.

Маленькая белая девочка, сунув в рот бутылку кока-колы, сидела на песке у его ног и следила за ним с независимым видом. Глаза у нее были такие же зеленые, как бутылка. Она была босая, волосы белесые, прямые. Бутылка с цоканьем выскочила изо рта, и девочка сказала:

— Это сделал гадкий дядя.

Кэлхун как-то сник — так бывает, когда сталкиваешься с детской непосредственностью.

— Нет, — сказал он, — не гадкий.

Девочка сунула язык в бутылку, потом беззвучно вытащила его, продолжая смотреть па Кэлхуна.

— Люди его обидели, — объяснил он. — Они были плохие, злые. Что бы ты сделала с теми, кто тебя обидел?

— Постреляла бы всех.

— Вот и он то же самое сделал, — сумрачно сказал Кэлхун.

Она по-прежнему сидела на песке, не спуская с него глаз. Казалось, сам Партридж смотрит на него ее бездумным взглядом.

— Вы травили его и довели до безумия, — сказал Кэлхун. — Он не хотел покупать значок. Разве это преступление? Он жил здесь как посторонний, и вы не могли этого вынести. Одно из основных прав человека, — продолжал он, глядя в прозрачные глаза девочки, это право не подражать дуракам. Право быть не как все. Господи, да просто право быть самим собой!

Не спуская с него глаз, она закинула ногу на ногу.

— Он гадкий, гадкий, гадкий! — повторила она.

Кэлхун встал и, глядя прямо перед собой, пошел прочь. Гнев застлал ему глаза туманом. Было трудно различить, что творится вокруг. Две школьницы в ярких юбках и курточках метнулись ему под ноги, визжа:

— Купите билет на конкурс красоты! Вы увидите сегодня вечером, кого Партридж изберет королевой азалий!

Он отпрянул в сторону, но их хихиканье сопровождало его до самого муниципалитета и дальше. Наконец он остановился в нерешительности; перед ним была парикмахерская, видимо пустая и прохладная. Помедлив, он вошел.

Клиентов не было, парикмахер поднял голову из-за газеты. Кэлхун попросил постричь его и блаженно опустил в кресло.

Парикмахер был высокий изможденный парень, глаза у него, казалось, выцвели. Он выглядел человеком, который тоже страдал. Подвязав Кэлхуну простынку, он усадился на круглую голову клиента, словно это была тыква и он прикидывал, как ее лучше разрезать. Потом повернул его к зеркалу; оттуда на Кэлхуна глянуло круглое, совершенно заурядное и наивное лицо. Выражение его мгновенно сделалось жестким.

— И вы тоже, как все, хлебаете эти помои? — спросил Кэлхун воинственно.

— Как вы сказали? — переспросил парикмахер.

— Что, все эти дикарские ритуалы идут парикмахеру на пользу? Ну все, все, что здесь творится? — проговорил Кэлхун нетерпеливо.

— Да прошлый год сюда, на праздник, целая тысяча приехала, — отвечал парикмахер. — Ну а в этом году вроде бы и побольше, как-никак трагедия.

— Трагедия, — повторил Кэлхун, поджав губы.

— Из-за шести убийств, — пояснил парикмахер.

— Это трагедия?! — возмутился Кэлхун. — А что вы думаете о другой трагедии — о человеке, которого здешние дураки травили до тех пор, пока он шестерых не пристрелил?

— А, вы о нем, — протянул парикмахер.

— О Синглтоне, — сказал Кэлхун. — Он был вашим клиентом?

Парикмахер принялся стричь. При упоминании имени Синглтона лицо его выразило какое-то особое презрение.

— Сегодня вечером конкурс красоты, — сказал он. — А завтра концерт джаз-оркестра. В четверг после обеда будет большой парад в честь королевы...

— Вы-то знали Синглтона или нет? — перебил его Кэлхун.

— Еще бы не знать, — откликнулся парикмахер.

Дрожь пробрала Кэлхуна при одной мысли, что, быть может, Синглтон сидел в этом же самом кресле. Он отчаянно силился отыскать в своем отражении скрытое сходство с Синглтоном. И постепенно, высвеченная накалом чувств, стала проступать в его облике тайна — тайна его миссии.

— Он был клиентом вашей парикмахерской? — снова спросил Кэлхун и замер, ожидая ответа.

— Да он мне через жену родной приходится, — проговорил парикмахер сердито. — Только сюда он ни ногой. Слишком большой был жмот, чтобы стричься в парикмахерской. Сам себя стриг.

— Непростительное преступление! — заметил язвительно Кэлхун.

— Его троюродный брат женат на моей свояченице, — сказал парикмахер. — Но Синглтон на улице меня никогда не узнавал. Прохожу, бывало, совсем рядом, вот как сейчас вы сидите, а он никакого внимания. В землю глазами уткнется, будто насекомое какое выслеживает.

— Самоуглубленность, — пробормотал Кэлхун. — Конечно, он вас и не видел.

— Какое там не видел! — парикмахер неприязненно скривился. — Какое там не видел! Просто я стрижу волосы, а он купоны — вот и все. Я стрижу волосы, — повторил он, словно бы само звучание этой фразы ласкало его слух, — а он купоны.

«Типичная психология неимущего», — подумал Кэлхун.

— А что, Синглтоны были когда-то богаты? — спросил он.

— Да ведь он только наполовину Синглтон, — ответил парикмахер. — А теперь Синглтоны утверждают, будто в нем вообще ни капли Синглтоновой крови нету. Просто одна из девиц Синглтон отправилась как-то на девятимесячные каникулы, а вернувшись, привезла его с собой. Потом все Синглтоны вымерли, а деньги оставили ему. Откуда другая половина крови, кто его знает. Только, сдается мне, заграничная она.

Особенно оскорбительна была интонация.

— Кажется, я начинаю кое-что понимать, — проговорил Кэлхун.

— Теперь-то он не стрижет купоны, — сказал парикмахер.

— Да, — голос Кэлхуна зазвенел. — Теперь он страдает. Он козел отпущения. На него взвалили грехи города. Принесли его в жертву за чужую вину.

Парикмахер застыл, разинув рот. Потом сказал уже более уважительно:

— Святой отец, вы его не за того принимаете. В церковь он отродясь не ходил.

Кэлхун вспыхнул:

— Я сам не хожу в церковь! — пробормотал он.

Парикмахер замер. Он стоял, будто не зная, что делать с ножницами.

— Это был индивидуалист, — продолжал Кэлхун. — Человек, который не хотел, чтобы его подогнали под мерку тех, кто его не стоит. Нонконформист. Это был человек глубокий, но он жил среди чучел, которые в конце концов свели его с ума. Однако его безумие они обратили против себя же самих. Заметьте, они ведь не судили его. Они мгновенно переправили его в Квинси. Почему? Да потому, что суд бы выявил его полную невиновность и подлинную вину города.

Лицо парикмахера просветлело.

— Так вы юрист, да? — спросил он.

— Нет, — угрюмо ответил Кэлхун. — Я писатель!

— О! Я так и знал — уж непременно что-нибудь в этом роде! — пробормотал парикмахер. И, помолчав, добавил: — А что вы написали?

— Он не был женат? — сурово продолжал Кэлхун. — Так и жил один в Синглтоновом имении?

— Да там мало что осталось. Он ни гроша не вложил, чтобы содержать имение в порядке. А насчет жены, так за него ни одна женщина не пошла бы. Тут уж ему всегда приходилось платить. — Парикмахер похабно прищелкнул языком.

— Ну да, вы ведь своими глазами видели! — Кэлхун едва сдерживал отвращение к этому ханже.

— Не-е, просто об этом все знали, — сказал парикмахер. — Я стригу волосы, — продолжал он, — но не люблю жить по-свински. У меня и канализация, и холодильник в доме есть — кубики льда так жене в руки и скачут.

— А вот он не был материалистом, — огрызнулся Кэлхун. — Существуют на свете такие вещи, которые значили для него больше, чем канализация. Например, независимость.

— Ха! Хорош независимый! — фыркнул парикмахер. — Однажды в него чуть не ударила молнии. Так, говорят, надо было видеть, как он драпал. Взвился, ровно у него в подштанниках кишели пчелы. Ну и смеху было! И парикмахер, хлопнув себя по колену, залился смехом гиены.

— Омерзительно, — пробормотал Кэлхун.

— А еще было, — продолжал парикмахер, — кто-то подбросил дохлую кошку к нему и колодец. Тут всегда что-нибудь да учинят — просто посмотреть: и вдруг удастся заставить его малость раскошелиться. А еще...

Кэлхун стал рваться из простынки, словно из сети. Высвободившись, он сунул руку к карману, вытащил доллар и швырнул его испуганному парикмахеру. Потом бросился вон, громко хлопнув дверью в знак осуждения этому дому.

Обратный путь к тетушкам его не успокоил. Солнце уже было низко, и азалии стали темнее, а деревья шелестели, склоняясь над старыми домами. Здесь никому нет дела до Синглтона, а тот валяется на больничной койке в грязной палате Квинси. Кэлхун ощутил всю меру невиновности этого человека.

Чтобы воздать должное его страданиям, мало написать статью. Он, Кэлхун, должен написать роман, должен раскрыть механику этой вопиющей несправедливости. Занятый своими мыслями, Кэлхун прошел лишних четыре дома и тут только повернул назад.

Тетушка Бесси встретила его на крыльце и потащила в холл.

— Я ведь говорила, что у нас для тебя будет приятный сюрприз, — сказала она, подталкивая его к дверям гостиной.

На диване сидела долговая девушка в желтовато-зеленом платье.

— Ты помнишь Мэри Элизабет? — спросила тетушки Мэтти. — Помнишь ту маленькую девочку, которую ты водил однажды в кино — в один из твоих приездов?

Как он ни был зол, а все-таки узнал ту самую девицу, которая читала под деревом.

— Мэри Элизабет приехала домой на весенние каникулы, — сказала тетушка Мэтти. — Мэри Элизабет — настоящий ученый, ведь правда, Мэри Элизабет?

Мэри Элизабет нахмурилась, давая понять, что ей совершенно безразлично, считают ее ученым или нет. Взгляд ее ясно говорил, что ей все происходящее так же не по душе, как и ему.

Тетушка Мэтти, ухватившись за набалдашник палки, стала подниматься со стула.

— Мы собираемся ужинать пораньше, — сказала тетушка Бесси, — потому что Мэри Элизабет возьмет тебя на конкурс красоты, а он начинается в семь.

— Замечательно, — проговорил Кэлхун с иронией, которую они не поймут, но Мэри Элизабет, он надеялся, оценит.

За столом он не обращал на девушку ни малейшего внимания. Его пикировка с тетками отличалась намеренным цинизмом, но у старых дам не хватало соображения понять намеки, и все, что бы он ни сказал, они встречали дурацким хохотом. Дважды они назвали его ягненочком, и девица усмехнулась. В остальном по ее поведению нельзя было предположить, что ей все это приятно. Ее круглое очкастое лицо выглядело еще детским. «Инфантильна», — подумал Кэлхун.

Ужин кончился, и они уже шли на конкурс красоты, но все еще не сказали друг другу ни слова. Девушка была на несколько дюймов выше, чем он; она шагала немного впереди и, казалось, была не прочь потерять его по дороге; но, миновав два квартала, она вдруг круто остановилась и принялась рыться в большой плетеной сумке. Вынула карандаш и, взяв его в зубы, продолжала рыться. Минуту спустя со дна сумки были извлечены два билета и блокнот для стенографических записей. Вытащив все это, она закрыла сумку и двинулась дальше.

— Вы собираетесь записывать? — спросил Кэлхун подчеркнуто ироническим тоном.

Девушка огляделась по сторонам, будто силясь установить, откуда этот голос.

— Да, — ответила она, — я собираюсь записывать.

— Вам нравятся подобные развлечения? — продолжал он все так же иронически. — Они вам по душе?

— Меня от них тошнит, — сказала она. — Я намерена со всем этим разделаться одним росчерком пера.

Кэлхун тупо уставился на нее.

— Не хотелось бы портить вам удовольствие, — продолжала она, — но здесь все фальшиво, все прогнило до самого основания. — От возмущения она говорила с присвистом. — Они проституируют азалии.

Кэлхун был ошеломлен. Однако овладел собой.

— Не надо обладать гигантским умом, чтобы сделать подобный вывод, — проговорил он высокомерно. — А вот как преодолеть это духовно — здесь нужна пронизательность.

— Вы хотите сказать — в какой форме это выразить?

— В общем, это одно и то же.

Следующие два квартала они прошли молча, но вид у обоих был растерянный. Когда показался муниципалитет, они перешли улицу, а Мэри Элизабет вынула из сумки билеты и сунула их мальчишке, стоявшему у входа на территорию, отгороженную от остальной площади канатом. Там, за канатом, на траве ужи собирались люди.

— Здесь нам и торчать, пока вы будете записывать? — спросил Кэлхун.,

Девушка остановилась и повернулась к нему.

— Послушайте, Ягненочек, — сказала она, — вы можете делать все, что вам вздумается. Я пойду наверх, в кабинет моего отца, где можно работать. А вы, если угодно, можете остаться здесь и участвовать и избрании королевы азалий.

— Я пойду с вами, — сказал он, сдерживаясь. — Мне бы хотелось посмотреть на великую писательницу за работой.

— Ну, как знаете, — пожала она плечами.

Кэлхун поднялся следом за девушкой по боковой лестнице. От злости он даже не сообразил, что входит в ту самую дверь, с порога которой стрелял Синглтон. Они миновали пустой зал, похожий на сарай, и, поднявшись на следующий этаж по заплыванной табаком лестнице, попали в другой такой же. Мэри Элизабет извлекла из плетеной сумки ключ и открыла дверь отцовского кабинета. Они вошли в обшарпанную комнату, по стенам которой стояли полки со сводами законов. Девушка подтащила к окну два стула с прямыми спинками — как будто ему не под силу было это сделать, села и уставилась в окно, словно происходившее внизу сразу захватило ее.

Кэлхун сел рядом и, чтобы позлить девушку, принялся внимательно ее разглядывать. Минут пять, не меньше, пока она сидела, облокотясь о подоконник, он неотрывно глядел на нее. Он рассматривал ее так долго, что даже испугался — как бы ее лицо не отпечаталось на сетчатке его глаз. Наконец Кэлхун не выдержал.

— Какого вы мнения о Синглтоне? — спросил он резко.

Мэри Элизабет повернула голову и как будто посмотрела сквозь него.

— Тип Христа, — сказала она. Кэлхун был ошеломлен.

— То есть я имею в виду миф, — добавила она, хмурясь. — Я не христианка.

Мэри Элизабет снова принялась сосредоточенно наблюдать за происшедшим на площади. Внизу протрубил горн.

— Сейчас появятся шестнадцать девушек в купальных костюмах, — сказала она нараспев. — Вам, конечно, это будет интересно?

— Послушайте, — расвирепел Кэлхун, — зарубите себе на носу — я не интересуюсь ни этим дурацким праздником, ни этой дурацкой королевой азалий. Я здесь только потому, что сочувствую Синглтону. Я собираюсь о нем писать. Возможно, роман.

— Я намерена написать документальное исследование, — сказала Мэри Элизабет тоном, из которого явствовало, что изящная словесность ниже ее достоинства.

Они посмотрели друг на друга с откровенной и пронзительной неприязнью. Кэлхун чувствовал, что на самом деле она пустышка.

— Поскольку жанры у нас разные, — заметил он, насмешливо улыбаясь, — мы сможем сравнить наши наблюдения.

— Все очень просто, — сказала девушка. — Он козел отпущения. В то время как Партридж бросается выбирать королеву азалий, Синглтон страдает в Квинси. Он искупает...

— Я не имею в виду абстрактные наблюдения, — перебил ее Кэлхун. — Я имею в виду наблюдения конкретные. Вы когда-нибудь его видели? Как он выглядит? Романист не ограничивается абстракциями, в особенности когда они очевидны... Он...

— Сколько романов вы написали? — спросила Мэри Элизабет.

— Это будет первый, — холодно ответил Кэлхун. — Так вы его когда-нибудь видели?

— Нет, — сказала она, — мне это ни к чему. Совершенно неважно, как он выглядит: карие у него глаза или голубые — это для мыслителя не имеет значения.

— Может быть, вы боитесь его увидеть? Романист никогда не боится увидеть реальный объект.

— Я не побоюсь увидеть его, — сказала девушка сердито, — если только будет необходимость. Карие у него глаза или голубые — мне все равно.

— Дело не в том, карие у него глаза или голубые. Здесь дело серьезнее. Ваши теории могли бы обогатиться от встречи с ним. Я говорю не о цвете его глаз. И говорю об экзистенциальном столкновении с его личностью. Тайна личности, — продолжал он, — именно она интересует художника. Жизнь не терпит абстракций.

— Так почему бы вам не поехать и не посмотреть на него? — сказала она. — Что вы меня-то спрашиваете, как он выглядит? Поезжайте да посмотрите сами.

Его как оглушило.

— Поехать посмотреть самому? — переспросил он — Куда поехать?

— В Квинси, — сказала девушка, — Куда же еще?

— Мне не разрешат увидеться с ним!

Предложение показалось ему чудовищным; в тот момент он не мог понять почему, но оно потрясло его своей немыслимостью.

— Разрешат, если скажете, что вы его родственник. Это всего в двадцати милях отсюда. Что нам мешает?

У него едва не сорвалось с языка: «Я ему не родственник», но он сдержался, поняв, что чуть но предал Синглтона, и покраснел. Между ними было духовное родство.

— Поезжайте поглядите, карие у него глаза или голубые, вот вам и будет ваше это самое экзис...

— Я понял так, — сказал он, — что, если я поеду, вы тоже присоединитесь? Раз уж вам не страшно.

Девушка побледнела.

— Вы не поедете, — сказала она. — Вы не годитесь для этого самого экзис...

— Поеду, — сказал он и подумал: вот как можно заставить ее заткнуться. — А если вы не прочь поехать со мной, приходите в дом моих теток к девяти утра. Впрочем, сомневаюсь, — добавил он, — что я вас там увижу.

Она вытянула вперед свою длинную шею и внимательно посмотрела на него.

— А вот и увидите, — сказала она, — увидите.

Она снова отвернулась к окну, а Кэлхун смотрел куда-то в пустоту. Казалось, каждый решал какие-то грандиозные личные проблемы. С площади то и дело долетали хриплые крики. Музыка, аплодисменты слышались поминутно, но на это, как и друг на друга, они уже не обращали ни малейшего внимания. Наконец девушка оторвалась от окна и сказала:

— Если вы составили себе общее представление, мы можем уйти. Я лучше пойду домой почитаю.

— Общее представление у меня было еще до того, как я пришел сюда, — ответил ей Кэлхун.

Он проводил ее до дому, и, когда остался один, настроение его мгновенно поднялось и тут же снова упало. Он знал, что ему самому никогда не пришло бы в голову повидать Синглтона. Испытание будет мучительным, но в этом, быть может, и спасение. Увидев своими глазами Синглтона в беде, он будет так страдать, что раз и навсегда преодолеет свои коммерческие инстинкты. Единственное, что ему действительно здорово удавалось, — это продавать; однако он верил, что в каждом человеке заложен художник — достаточно пострадать, думал он, и ты добьешься успеха. Что касается девицы, то тут он сомневался, — поможет ей хоть каплю, если она увидит Синглтона. Был в ней эдакий отталкивающий фанатизм, столь свойственный смышленным детям — все от ума, и никаких эмоций.

Он провел беспокойную ночь — сны были отрывочные, и все про Синглтона. Приснилось ему вдруг, будто он едет в Квинси продавать Синглтону холодильник. Когда он проснулся утром, медленно и равнодушно сеял дождь. Кэл-

хун повернул голову к серому окну. Он не помнил, о чем именно был сон, но осталось ощущение, что сон был неприятный. Всплыло в памяти стертое лицо девицы. Он думал о Квинси, и ему представлялись ряды низких красных строе- ний и торчащие из зарешеченных окон всклокоченные головы. Попробовал было сосредоточиться на Синглтоне, но мысли пугливо разбегались. В Квинси ехать не хотелось. Ах да: он собирался написать роман. Но за ночь желание на- писать роман ушло, как воздух из проткнутой шины.

Пока он лежал в постели, дождик превратился в ливень. Может статья, Мэри Элизабет не придет из-за дождя или, во всяком случае, под этим предло- гом. Он решил подождать ровно до девяти и, если она к тому времени не по- явится, ехать. В Квинси он не поедет, он вернется домой. Лучше уж повидать Синглтона позже, когда, возможно, скажутся результаты лечения. Встав с посте- ли, он написал девушке записку, которую собирался передать через тетушек; в записке говорилось, что, видимо, она, поразмыслив, раздумала ехать, так как поняла, что это испытание не для нее. Записка была чрезвычайно лаконичная и заканчивалась: «Искренне Ваш...»

Она явилась без пяти девять и стояла посреди передней цилиндрическим пластиковым небесно-голубым свертком, с которого капало. Из свертка выгля- дывало только ее лицо, большой рот кривился в беспомощной улыбке. В руках у нее был мокрый бумажный пакет. Самоуверенности в ней за ночь явно поуба- вилось.

Кэлхун через силу заставлял себя быть вежливым. Тетушки, которые ду- мали, что это будет романтическая прогулка под дождем за город, поцеловали его, вышли провожать и стояли на веранде, дурачки помахивая плитками, пока он и Мэри Элизабет не уселись в машину и не уехали.

Девушка едва поместилась в машине. Она все ерзала, вертелась внутри своего плаща.

— Дождик прибил азалии, — заметила она равнодушно.

Кэлхун бесцеремонно молчал. Он хотел вычеркнуть ее из своего созна- ния, чтобы Синглтон мог снова воцариться там. Образ Синглтона никак не воз- вращался. Серый дождь полосовал землю. Когда добрались до шоссе, вдали за полями едва наметилась размытая линия лесов. Девушка сидела, подавшись вперед, глядя на стекло, по которому струился дождь.

— Если навстречу выскочит грузовик, нам конец, — сказала она, смущен- но усмехнувшись.

Кэлхун остановил машину.

— С радостью отвезу вас назад и поеду один, — заявил он.

— Я должна ехать, — сказала она хрипло, уставившись на него. — Должна его увидеть. — За стеклами очков глаза ее казались большими и подозрительно влажными. — Я должна пройти через это, — закончила она.

Он рывком тронул машину с места.

— Надо доказать себе, что можешь стоять и смотреть, как распинают человека, — продолжала она. — Надо пройти через это вместе с ним. Я думала об этом всю ночь.

—Возможно, вы обретете более реальный взгляд на жизнь, — пробормотал Кэлхун.

—Но что я чувствую, вам этого не понять. — Она отвернулась к окну.

Кэлхун пробовал думать только о Синглтоне. Он мысленно составлял его лицо, собирая отдельные черты, и всякий раз, как это ему почти удавалось, все вдруг рушилось, и он оставался ни с чем. Машину он вел молча, на отчаянной скорости, будто надеялся попасть колесом в выбоину, чтобы посмотреть, как девушка прошибет головой стекло. Время от времени она тихонько сморкалась. Они проехали миль пятнадцать, и дождь поутих, а потом совсем перестал. Деревья по обеим сторонам шоссе почернели, а поля стали насыщенно-зелеными. Кэлхун подумал — территорию больницы он узнает сразу, едва она покажется.

— Христу пришлось терпеть это всего три часа, — сказала вдруг девушка звенящим голосом, — а он останется здесь до конца жизни.

Кэлхун посмотрел на нее сердито. По ее щеке пролегла мокрая полоска. Он возмущенно отвернулся.

—Если вам это не под силу, — сказал он, — еще раз предлагаю: я отвезу вас домой и вернусь сюда один.

—Один вы не вернетесь, — сказала она, — и мы уже почти на месте. — Она высморкалась. — Пусть он знает, что кто-то на его стороне. Я хочу сказать ему об этом, чего бы мне это ни стоило.

Сквозь гнев он осознал страшную вещь: ведь ему придется что-то сказать Синглтону. Что сможет он сказать в присутствии этой девицы? Она разрушила то, что сближало их.

—Надеюсь, вы понимаете, мы едем, чтобы послушать, — взорвался он. — Я проделал весь этот путь не для того, чтобы глядеть, как вы поражаете Синглтона своей мудростью. Я приехал, чтобы выслушать его.

—Нам надо было взять магнитофон, — воскликнула она, — тогда его слова остались бы у нас на всю жизнь!

—Вы ровно ничего не смыслите, — заявил Кэлхун, — если полагаете, что к такому человеку можно приступить с магнитофоном.

—Стойте! — взвизгнула она, наклоняясь к ветровому стеклу. — Вон там!

Кэлхун, нажав ногой тормоз, испуганно поглядел вперед.

Едва приметное пятно низких зданий густой засыпью бородавок показалось на холме справа.

Кэлхун растерянно сидел за рулем, а машина, словно по своей воле, повернула и направилась к воротам. Буквы «Государственная больница Квинси» были выбиты на бетонной арке, под которой она прокатилась тоже как бы сама собой.

— «Оставь надежду всяк сюда «ходящий», — пробормотала девушка.

Им пришлось затормозить примерно через сто ярдов от въезда, чтобы пропустить толстую няньку в белом чепце, которая переводила через дорогу вереницу беспокойных больных, похожих на престарелых школьников. Какая-то женщина с торчащими зубами, в ярком полосатом платье и черной вязаной шапочке грозила кулаком, а некто лысый энергично махал руками. Иные злобно

поглядывали на машину, продолжая ковылять друг за другом по газону к другому зданию.

Потом машина покатила дальше.

— Остановите перед главным корпусом, распорядилась Мэри Элизабет.

— Нам не разрешат повидать его, — пробормотал Кэлхун.

— Конечно, если этим будете заниматься вы, — сказала она. — Остановите машину и выпустите меня. Я все устрою.

Щека ее высохла, голос был деловит, Он остановил машину, Мэри Элизабет вышла. Он наблюдал, как она входит в здание, и с мрачным удовлетворением думал, что скоро из нее вырастет настоящее чудище: ложный интеллект, ложные эмоции, максимальная работоспособность — все говорило о том, что из нее выйдет солидный и дотошный доктор философии. Еще одна вереница больных потянулась через дорогу, кто-то ткнул пальцем в его машину. Кэлхун, не глядя, чувствовал, что за ним наблюдают.

— А ну давай назад, — послышался голос няньки.

Он поднял глаза и вскрикнул. Чье-то кроткое лицо, обвязанное зеленым полотенцем, улыбалось в окне машины беззубой, но страдальчески нежной улыбкой.

— Пойдем, пойдем, голубчик, — сказала нянька, и лицо исчезло.

Кэлхун торопливо поднял стекло, и сердце у него защемило. Перед ним встало страдальческое лицо человека в колодках, чуть разные глаза, большой рот, открытый в тщетном, сдавленном крике. Оно пригрезилось ему всего лишь на миг, но когда исчезло, то пришла уверенность, что встреча с Синглтоном заставит его самого перемениться, что после этой поездки наступит какой-то странный покой, о котором он, Кэлхун, прежде и не помышлял. Минут десять он просидел с закрытыми глазами. Он знал — откровение близко — и напрягал все силы, чтобы быть к нему готовым.

Дверца вдруг распахнулась, и девушка, согнувшись, села с ним рядом. Она была бледна, с трудом переводила дыхание. В руках она держала два пропуска и показала ему вписанные туда имена: Кэлхун Синглтон — на одном и Мэри Элизабет Синглтон — на другом. Они посмотрели на пропуска, потом друг на друга. Оба, кажется, ощутили, что их общее родство с Синглтоном неизбежно предполагало и родство друг с другом. Кэлхун великодушно протянул руку. Она пожала ее.

— Он в пятом корпусе слева, — сказала она.

Они подъехали к пятому корпусу и поставили машину. Здание было такое же, как и другие, — низкое, из красного кирпича, с зарешеченными окнами — только фасад забрызган чем-то черным. Из одного окна свешивались две руки. Мэри Элизабет открыла бумажный мешок и стала вынимать из него подарки. Она привезла Синглтону коробку конфет, блок сигарет и три книги: «Так говорил Заратустра» из серии «Современная библиотека», «Восстание масс» в дешевом издании и тоненький нарядный томик стихов Хаусмана. Сигареты вместе с конфетами были переданы Кэлхуну, а сама она взяла книги. Выйдя из ма-

шины, она двинулась вперед, но на полпути к двери остановилась и, прикрыв рот рукой, пробормотала:

— Не могу!

— Ну, ну, — сказал Кэлхун мягко, слегка подтолкнул ее, и она двинулась дальше.

Они вошли в застланный линолеумом, замызганный холл; какой-то странный запах, подобно невидимому надзирателю, встретил их уже на пороге. За конторкой, напротив двери, сидела щуплая испуганная нянька; глаза у нее так и бегали, будто она ждала, что ее вот-вот стукнут в спину. Мэри Элизабет вручила ей оба зеленых пропуска. Та посмотрела и тяжело вздохнула.

— Вот туда, там подождите. — В ее усталом голосе звучало что-то обидное. — Его надо подготовить. Дают тоже эти пропуска! Откуда им знать, что здесь у нас творится?! Да и врачам наплевать. А по мне, с теми, кто не слушается, и свидание давать не надо.

— Мы его родственники, — сказал Кэлхун. — Мы имеем полное право с ним видеться.

Нянька беззвучно захохотала и вышла, что-то ворча себе под нос.

Кэлхун снова подтолкнул девушку, они вошли в приемную и сели рядом на огромный черный кожаный диван, против которого, на расстоянии пяти футов, стоял точно такой же. Больше в комнате ничего не было, только в углу приютился шаткий стол, и на нем — белая пустая ваза. Зарешеченное окно отбрасывало к их ногам квадраты тусклого света. Казалось, вокруг дарит напряженное безмолвие, хотя в доме было совсем не тихо. Где-то вдали не смолкали стенания — звук был слабый, унылый, как уханье совы; с другого конца здания слышались взрывы смеха. А рядом за стеной, с регулярностью механизма, тишину неотступно и монотонно нарушали проклятия. Каждый звук, казалось, существовал сам по себе.

Молодые люди сидели рядом, словно в ожидании чего-то очень для обоих важного — женитьбы или надвигающейся смерти. Казалось, они уже соединены — так предрешено заранее. В один и тот же миг они сделали произвольное движение, будто собирались бежать, но было слишком поздно. Тяжелые шаги послышались где-то у самой двери, и механически повторявшиеся проклятия обрушились на них.

Синглтон повис на двух здоровенных санитарях, как паук. Ноги он поднял высоко над полом, заставив санитаров себя нести. От него-то и исходили проклятия. Он был в больничном халате, завязанном сзади, на ногах — черные ботинки с вынутыми шнурками. Черная шляпа — не такая, как носят в деревне, а черный котелок — придавала ему вид гангстера из кинофильма. Санитары подошли к незанятому дивану сзади и через спинку бросили на него Синглтона; потом, не выпуская его из рук, одновременно с разных сторон обошли диван и, расплывшись в улыбке, сели по бокам Синглтона. Их можно было принять за близнецов: хоть один был блондин, а другой лысый, выглядели они совершенно одинаково — воплощением добродушной глупости.

Между тем Синглтон, буравя Кэлхуна зелеными, слегка разными глазами, завопил:

— Чо те надо? Выкладывай! Мне время дорого.

Глаза были почти те же, как на фотографии в газете, только в их пронзительном мерцании было что-то злобное.

Кэлхун сидел как загипнотизированный. Минуту спустя Мэри Элизабет проговорила медленно, хриплым, чуть слышным голосом:

— Мы пришли сказать, что понимаем вас.

Синглтон перевел пристальный взгляд на нее, и вдруг глаза его застыли, как глаза жабы, заметившей добычу. Казалось, шея у него раздулась.

—А-а-а! — протянул он, словно бы заглотив нечто приятное. — И-и-и!

— Не заводись, папаша, — сказал лысый.

— Дай-ка посидеть с ней. — И Синглтон выдернул руку, но санитар тут же снова схватил его за рукав. — Она знает, чего ей надо.

— Дай ему посидеть с ней, — сказал блондин. — Это его племянница.

— Нет, — сказал лысый. — Держи его. Чего доброго, скинет халат. Ты ж его знаешь.

Но другой уже выпустил руку Синглтона, и тот подался вперед, к Мэри Элизабет, пытаясь вырваться. Глаза девушки застыли. Синглтон зазывно посвистывал сквозь зубы.

— Ну-ну, папаша, — сказал блондин.

— Не всякой девушке такое везение, — пыхтел Синглтон. — Послушай, сестричка, со мной не пропадешь. Я в Партридже хоть кого обскачу. Там все мое, и гостиница эта тоже. — Рука его потянулась к ее колену.

Девушка приглушенно вскрикнула.

— Да и везде все мое, — задыхался он. — Мы с тобой друг другу под стать. Они нам не чета, ты королева! У меня ты на рекламе красоваться будешь.

Тут он выдернул вторую руку и рванулся к девушке, но санитары кинулись за ним. Мэри Элизабет приникла к Кэлхуну, а тем временем Синглтон, проворно перепрыгнув через диван, стал носиться по комнате. Расставив руки и ноги, санитары с двух сторон пытались схватить его и почти поймали, но он скинул ботинки и прыгнул прямо на стол; при этом пустая ваза полетела на пол.

— Погляди, девочка! — вопил Синглтон, стягивая через голову больничный халат.

Но Мэри Элизабет стремглав бросилась прочь. Кэлхун — за ней, он едва успел распахнуть дверь, не то девушка непременно бы в нее врезалась. Они забрались в машину, и Кэлхун повел на такой скорости, будто вместо мотора работало его сердце; но хотелось охать еще скорее. Небо было белесое, как кость, и глянцевитое шоссе растянулось перед ними, как обнаженный нерв земли. Через пять миль Кэлхун съехал на обочину и в изнеможении остановился. Они сидели молча, глядя перед собой невидящими глазами, потом повернулись и посмотрели друг на друга. Им бросилось в глаза сходство с «родственником», и они вздрогнули, отвернулись и снова посмотрели друг на друга, будто, сосредоточившись, могли увидеть образ более терпимый. Лицо девушки показало, Кэлхуну

отражением наготы этого неба. В отчаянии он потянулся к ней и вдруг застыл перед крохотным изображением, которое неотвратимо встало в ее очках, явив ему его сущность. Круглое, наивное, неприметное, как одно из звеньев в железной цепочке, это было лицо человека, чей талант, пробивавшийся сквозь все преграды, — устраивать праздник за праздником. Подобно отменному продавцу, талант этот терпеливо ждал, чтобы заявить, на него свои права.

Перевод Т. Ивановой

Публикуется по: Гон спозаранку. Рассказы американских писателей о молодежи. М.: Молодая гвардия, 1975.

The Partridge Festival

Calhoun parked his small pod-shaped car in the drive-way to his great-aunts' house and got out cautiously, looking to the right and left as if he expected the profusion of azalea blossoms to have a lethal effect upon him. Instead of a decent lawn, the old ladies had three terraces crammed with red and white azaleas, beginning at the sidewalk and running backwards to the very edge of their imposing unpainted house. The two of them were on the front porch, one sitting, the other standing.

"Here's our baby!" his Aunt Bessie intoned in a voice meant to reach the other one, two feet away but deaf. It turned the head of a girl in the next yard, who sat cross-legged under a tree, reading. She raised her spectacled face, stared at Calhoun, and then returned her attention – with what he saw plainly was a smirk – to the book. Scowling, he passed stolidly on to the porch to get over the preliminaries with his aunts. They would take his voluntary presence in Partridge at Azalea Festival time to be a sign that his character was improving.

They were box-jawed old ladies who looked like George Washington with his wooden teeth in. They wore black suits with large ruffled jabots and had dead-white hair pulled back. After each had embraced him, he dropped limply into a rocker and gave them a sheepish smile. He was here only because Singleton had captured his imagination, but he had told his aunt Bessie over the telephone that he was coming to enjoy the festival.

The deaf one, Aunt Mattie, shouted, "Your great-grand-father would have been delighted to see you taking an interest in the festival, Calhoun. He initiated it himself, you know."

"Well," the boy yelled back, "what about the little extra excitement you've had this time?"

Ten days before the festival began, a man named Singleton had been tried by a mock court on the courthouse lawn for not buying an Azalea Festival Badge. During the trial he had been imprisoned in a pair of stocks and when convicted, he had been locked in the "jail" together with a goat that had been tried and convicted previously for the same offense. The "jail" was an outdoor privy borrowed for the occasion by the Jaycees. Ten days later, Singleton had appeared in a side door on the courthouse porch and with a silent automatic pistol, had shot five of the dignitaries seated there and by mistake one person in the crowd. The innocent man received the bullet intended for the mayor who at that moment had reached down to pull up the tongue of his shoe.

"An unfortunate incident," his Aunt Mattie said. "It mars the festive spirit."

He heard the girl on the other lawn slam her book. The top of her rose into view above the hedge – a sloping-forward neck and a small face with a fierce expression, which she trained briefly on them before she disappeared. "It doesn't seem to have marred anything," he said. "As I passed through town I saw more people than ever before and all the flags were up. Partridge," he shouted, "will bury its dead but will not lose a nickel." The girl's front door slammed in the middle of the sentence.

His Aunt Bessie had gone into the house and come out again with a small leather box. "You look very like Father," she said and pulled up her chair beside him.

Without enthusiasm Calhoun opened the box, which shed a rust-colored dust over his knees, and removed the miniature of his great-grandfather. He was shown this every time he came. The old man – round-faced, bald, altogether unremarkable-looking – sat with his hands knotted on the head of a black stick. His expression was all innocence and determination. The master merchant, the boy thought, and flinched. "And what would this stalwart worthy think of Partridge today," he asked wryly, "with its festival in full swing after six citizens have been shot?"

"Father was progressive," his Aunt Bessie said, "– the most forward-looking merchant Partridge ever had. He would either have been one of the prominent men shot or he would have been the one to subdue the maniac."

The boy did not know how much of this he could stand. In the paper there had been pictures of the six "victims" and one of Singleton. Singleton's was the only distinctive face in the lot. It was broad but boney and bleak. One eye was more nearly round than the other and in the more nearly round one Calhoun had recognized the composure of the man who knows he will and who is willing to suffer for the right to be himself. A calculating contempt lurked in the regular eye but in the general expression there was the tortured look of the man who becomes maddened finally by the madness around him. The other six faces were of the same general stamp as his great-grandfather's.

"As you get older, you'll look more and more like Father," his Aunt Mattie prophesied. "You have his ruddy complexion and much the same expression."

"I'm a different type entirely," he said stiffly.

"Peaches and cream," his Aunt Bessie guffawed. "You're getting a little pot-tummy too," she said and took a lunge at his middle with her fist. "How old is our baby now?"

"Twenty-three," he muttered, thinking that it could not go on like this for the whole visit, that once they had roughed him up a bit, they would leave off.

"And do you have a girl?" his Aunt Mattie asked.

"No," he said wearily. "I take it," he went on, "that around here Singleton is considered nothing but a mental case?"

"Yes," his Aunt Bessie said, "– peculiar. He never conformed. He was not like the rest of us here."

"A terrible drawback," the boy said. Though his eyes were not mismatched, the shape of his face was broad like Singleton's; but the real likeness between them was interior.

"Since he is insane, he is not responsible," his Aunt Bessie said.

The boy's eyes brightened. He sat forward and fixed the old lady with a narrow gaze. "And where then," he asked, "does the real guilt lie?"

"Father's head was as smooth as an infant's by the time he was thirty," she said. "You had better hurry and get you a girl. Ha ha. What are you going to do with yourself now?"

He reached into his pocket and withdrew his pipe and a sack of tobacco. You could not ask them questions in depth. They were both good low-church Episcopalians but they had amoral imaginations. "I think I shall write," he said and began to load the bowl.

"Well," his Aunt Bessie said, "that's fine. Maybe you'll be another Margaret Mitchell."

"I hope you'll do us justice," his Aunt Mattie shouted "Few do."

"I'll do you justice all right," he said grimly. "I'm writing an expos. . . ." He stopped and put the pipe in his mouth and sat back. It would be ridiculous to tell *them*. He removed the pipe and said, "Well, that's too much to go into. It wouldn't interest you ladies."

His Aunt Bessie inclined her head significantly. "Calhoun," she said, "we wouldn't want to be disappointed in you." They eyed him as if it had just occurred to them that the pet snake they had been fondling might after all be poisonous.

"Know the truth," the boy said with his fiercest look, "and the truth shall make you free."

They appeared reassured at his quoting Scripture. "Isn't he sweet," his Aunt Mattie asked, "with his little pipe?"

"Better get you a girl, boy," his Aunt Bessie said.

He escaped them in a few minutes and took his bag upstairs and then came down again, ready to go out and immerse himself in his material. His intention was to spend the afternoon interviewing people about Singleton. He expected to write something that would vindicate the madman and he expected the writing of it to mitigate his own guilt, for his doubleness, his shadow, was cast before him more darkly than usual in the light of Singleton's purity.

For the three summer months of the year, he lived with his parents and sold air-conditioners, boats, and refrigerators so that for the other nine months he could afford to meet life naturally and bring his real self – the rebel-artist-mystic – to birth. During these other months he lived on the opposite side of the city in an unheated walk-up with two other boys who also did nothing. But guilt for the summer pursued him into the winter; the fact was, he could have fared without the orgy of selling he cast himself into in the summer.

When he had explained to them that he despised their values, his parents had looked at each other with a gleam of recognition as if this were what they had been expecting from what they had read, and his father had offered to give him a small allowance to finance the flat. He had refused it for the sake of his independence, but in the depths of himself, he knew it was not for his independence but because he *enjoyed* selling. In the face of a customer, he was carried outside himself; his face began to beam and sweat and all complexity left him; he was in the grip of a drive as strong as the drive of some men for liquor or a woman; and he was horribly good at it. He was so good at it that the company had given him an achievement scroll. He had put quotation marks around the word *achievement* and he and his friends used the scroll as a target for darts.

As soon as he had seen Singleton's picture in the paper, the face began to burn in his imagination like a dark reproachful liberating star. The next morning he had telephoned his aunts to expect him and he had driven the hundred and fifty miles to Partridge in a little short of four hours.

On his way out of the house, his Aunt Bessie halted him and said, "Be back by six, Baby Lamb, and we'll have a sweet surprise for you."

"Rice pudding?" he asked. They were terrible cooks. "Sweeter by far!" the old lady said and rolled her eyes. He hastened away.

The girl next door had returned with her book to the lawn. He suspected that he might be supposed to know her. When he came for visits as a child, his aunts had always produced one of the neighbor's freak children to play with him – once a fat moron in a Girl Scout suit, another time a near-sighted boy who recited Bible verses, and another an almost square girl who had blackened his eye and left. He thanked God he was now grown and they would no longer dare to fill his time for him. The girl did not look up as he passed and he did not speak.

Once on the sidewalk, he was affected by the profusion of azaleas. They seemed to wash in tides of color across the lawns until they surged against the white house-fronts, crests of pink and crimson, crests of white and a mysterious shade that was not yet lavender, wild crests of yellow-red. The profusion of color almost stopped his breath with insidious pleasure. Moss hung from the old trees. The houses were the most picturesque types of run-down ante-bellum. The taint of the place was expressed in his great-grandfather's words which had survived as the town's motto: Beauty is Our Money Crop.

His aunts lived five blocks from the business section. He walked them quickly and came after a few minutes to the edge of the bare commercial scene, which had the ramshackle courthouse for its center. The sun beat down fiercely on tin-tops of cars parked in every available space. Flags, national, state and confederate, flapped on every corner street light. People milled about. On the quiet shaded street where his aunts lived and the azaleas were best, he had not passed three people, but here they all were, staring avidly at the pathetic store displays and moving with languid reverence past the courthouse porch, the spot where blood had been spilled.

He wondered if any of them might think he was here for the same reason they were. He would have liked to start, in Socratic fashion, a street discussion about where the real guilt for the six deaths lay, but as he surveyed the scene, he saw no one who looked capable of any genuine interest in meaning. Without set purpose, he entered a drugstore. The place was dark and smelled of sour vanilla.

He sat down on the high stool at the counter and ordered a limeade. The boy preparing the drink had elaborate red sideburns and wore on his shirtfront an Azalea Festival Badge – the emblem which Singleton had refused to buy. Calhoun's eye fell on it at once. "I see you've paid your tribute to the god," he said.

The boy did not seem to get the significance of this.

"The badge," Calhoun said, "the badge."

The boy looked down at it and then back at Calhoun. He put the drink on the counter and continued to look at him as if he were serving someone with an interesting deformity.

“Are you enjoying the festive spirit?” Calhoun asked.

“All these doings?” the boy said.

“These grand events,” Calhoun said, “commencing with, I believe, six deaths.”

“Yessir,” the boy said, “six in cold blood. And I knew four of them myself.”

“You too have had your share of the glory then,” Calhoun said. He felt suddenly a distinct hush fall on the street outside. He turned his eyes to the door just in time to see a hearse pass, followed by a line of slowly moving cars.

“That’s the man that’s having his funeral to himself,” the boy said reverently. “The five that were supposed to get shot had theirs yesterday. One big one. But he didn’t die in time for it.”

“They have innocent as well as guilty blood on their hands,” Calhoun said and glared at the boy.

“It wasn’t no *they*” the boy said. “One man done it all. A man named Singleton. He was bats.”

“Singleton was only the instrument,” Calhoun said. “Partridge itself is guilty.” He finished his drink in a gulp and put down the glass.

The boy was looking at him as if he were mad. “Partridge can’t shoot nobody,” he said in a high exasperated voice.

Calhoun put his dime on the counter and left. The last car had turned at the end of the block. He thought he observed less activity. People had obviously hastened away at the sight of the hearse. Two doors from him an old man leaned out of a hardware store and glared up the street where the procession had disappeared. Calhoun’s need to communicate was urgent. He approached diffidently. “I understand that was the last funeral,” he said.

The old man put a hand behind his ear.

“The funeral of the innocent man,” Calhoun shouted and nodded up the street.

The old man cleared his nostrils loudly. His expression was not affable. “The only bullet that went right,” he said in a rasping voice. “Biller was a wastrel. Drunk at the time.”

The boy scowled. “I suppose the other five were heroes?” he suggested archly.

“Fine men,” the old man said. “Perished in the line of duty. We givem a hero’s fu’nel – all five in one big service. Biller’s folks tried to rush up the undertaker so they could get Biller in on it but we saw to it Biller didn’t make it. Would have been a disgrace.”

My God, the boy thought.

“The only thing Singleton ever did good was to rid us of Biller,” the old man continued. “Now somebody ought to rid us of Singleton. There he is at Quincy, living in the laper luxury, laying in a cool bed at no expense, eating up your taxes and mine. They should have shot him on the spot.”

This was so appalling that Calhoun was speechless.

“Going to keep him there, they ought to charge him board,” the old man said.

With a contemptuous glance, the boy walked off. He crossed the street to the courthouse square, moving at an odd angle in order to put as much distance between himself and the old fool as quickly as possible. Here benches were scattered beneath the trees. He found an unoccupied one and sat down. To the side of the courthouse steps, several viewers stood admiring the “jail” where Singleton had been locked with the goat. The pathos of his friend’s situation was borne in on him with a rush of empathy. He felt himself flung in the privy, the padlock clicked, he glared between the rotting planks at the fools howling and cavorting outside. The goat made an obscene noise; he saw that he was confined with the spirit of the community.

“Six men was shot here,” an odd muffled voice close by said.

The boy jumped.

A small white girl whose tongue was curled in the mouth of a Coca Cola bottle was sitting in a patch of sand at his feet, watching him with a detached gaze. Her eyes were the same green as the bottle. She was barefooted and had straight white hair. She withdrew her tongue from the bottle with an explosive sound. “A bad man did it,” she said.

The boy felt the kind of frustration that accompanies contact with the certainty of children. “No,” he said, “he was not a bad man.”

The child put her tongue back in the bottle and withdrew it silently, her eyes on him.

“People were not good to him,” he explained. “They were mean to him. They were cruel. What would you do if someone were cruel to you?”

“Shoot them,” she said.

“Well, that’s what he did,” Calhoun said, frowning.

She continued to sit there and did not take her eyes off him. Her gaze might have been the depthless gaze of Partridge itself.

“You people persecuted him and finally drove him mad,” the boy said. “He wouldn’t buy a badge. Was that a crime? He was the Outsider here and you couldn’t stand that. One of the fundamental rights of man,” he said, glaring through the child’s transparent stare, “is the right not to behave like a fool. The right to be different,” he said hoarsely. “My God. The right to be yourself.”

Without taking her eyes off him, she lifted one of her feet and set it on her knee.

“He was a bad bad bad man,” she said.

Calhoun got up and walked off, glaring in front of him. His indignation swathed his vision in a kind of haze. He saw none of the activity around him distinctly. Two high-school girls in bright skirts and jackets swung into his path and shrilled, “Buy a ticket for the beauty contest tonight. See who’ll be Miss Partridge Azalea!” He swerved sharply to the side and did not throw them so much as a glance. Their giggles followed him until he was past the courthouse and onto the block behind it. He stood there a moment, undecided what he would do next. He faced a barber shop which looked empty and cool. After a moment he entered it.

The barber, alone in the shop, raised his head from behind the paper he was reading. Calhoun asked for a haircut and sat down gratefully in the chair.

The barber was a tall emaciated fellow with eyes that might have faded from some deeper color. He looked to be a man who had suffered himself. He put the bib on the boy and stood staring at his round head as if it were a pumpkin he was wondering how to slice. Then he twirled the chair so that Calhoun faced the mirror. He was confronted with an image that was round-faced, unremarkable-looking and innocent. The boy's expression turned fierce. "Are you eating up this slop like the rest of them?" he asked belligerently.

"Come again?" the barber said.

"Do the tribal rites going on here improve the barber trade? All these doings, all these doings," he said impatiently.

"Well," the barber said, "last year it was a thousand extra people here and this year it looks to be more – on account," he said, "of the tragedy."

"The tragedy," the boy repeated and stretched his mouth.

"The six that was shot," the barber said.

"That tragedy," the boy said. "And what about the other tragedy – the man who was persecuted by these idiots until he shot six of them?"

"Oh him," the barber said.

"Singleton," the boy said. "Did he patronize your place?"

The barber began clipping his hair. A peculiar expression of disdain had come over his face at the mention of the name, "Tonight it's a beauty contest," he said, "tomorrow night it's a band concert, Thursday afternoon it's a big parade with Miss. . . ."

"Did you or didn't you know Singleton?" Calhoun interrupted.

"Known him well," the barber said and shut his mouth.

A tremor went through the boy as he realized that Singleton had probably sat in the chair he himself was now sitting in. He searched his face in the mirror desperately for its hidden likeness to the man. Slowly he saw it appear, a secret message brought to light by the heat of his feelings. "Did he patronize your shop?" he asked and held his breath for the answer.

"Him and me was related by marriage," the barber said indignantly, "but he never come in here. He was too big a skinflint to have his hair cut. He cut his own."

"An unpardonable crime," Calhoun said in a high voice.

"His second cousin married my sister-in-law," the barber said indignantly, "but he never known me on the street. Pass him as close as I am to you and he'd keep going. Kept his eyes on the ground all the time like he was following a bug."

"Preoccupied," the boy muttered. "He doubtless didn't know you were on the street."

"He known it," the barber said and his mouth curled unpleasantly. "He known it. I clip hair and he clipped coupons and that was that. I clip hair," he repeated as if this sentence had a particularly satisfying ring to his ears, "and he clipped coupons."

The typical have-not psychology, Calhoun thought. "Was the Singleton family once wealthy?" he asked.

"It wasn't but half of him Singleton," the barber said, "and the Singletons claimed there wasn't none of him Singleton. One of the Singleton girls gone off on a

nine-months vacation and come back with him. Then they all died off and left him their money. It's no telling what the other half of him is. Something foreign I would judge." His tone insinuated more.

"I begin to get the picture," Calhoun said.

"He ain't clipping no coupons now," said the barber.

"No," Calhoun said and his voice rose, "now he's suffering. He's the scape-goat. He's laden with the sins of the community. Sacrificed for the guilt of others."

The barber paused, his mouth partway open. After a moment he said in a more respectful voice, "Reverend, you got him wrong. He wasn't a church-going man."

The boy reddened. "I'm not a church-going man myself," he said.

The barber seemed stopped again. He stood holding the scissors uncertainly.

"He was an individualist," Calhoun said. "A man who would not allow himself to be pressed into the mold of his inferiors. A non-conformist. He was a man of depth living among caricatures and they finally drove him mad, unleashed all his violence on themselves. Observe," he continued, "that they didn't try him. They simply had him committed at once to Quincy. Why? Because," he said, "a trial would have brought out his essential innocence and the real guilt of the community."

The barber's face lightened. "You're a lawyer, ain't you?"

"No," the boy said sullenly. "I'm a writer."

"Ohhh," the barber murmured. "I known it must be something like that." After a moment he said, "What you written?"

"He never married?" Calhoun went on rudely. "He lived alone in the Singleton place in the country?"

"What there was of it," the barber said. "He wouldn't have spent a nickel to keep it from falling down and no woman wouldn't have had him. That was the one thing he always had to pay for," he said and made a vulgar noise in his cheek.

"You know because you were always there," the boy said, barely able to control his disgust for this bigot.

"Naw," the barber said, "it was just common knowledge. I clip hair," he said, "but I don't live like a hog. I got plumbing in my house and a refrigerator that spits ice cubes into my wile's hand."

"He was not a materialist," Calhoun said. "There were things that meant more to him than plumbing. Independence, for instance."

"Ha," the barber snorted. "He wasn't so independent. Once lightning almost struck him and those that saw it said you should have seen him run. Took off like bees were swarming in his pants. They liked to died laughing," and he gave a hyena-like laugh himself and slapped his knee.

"Loathsome," the boy murmured.

"Another time," the barber continued, "somebody went out there and put a dead cat in his well. Somebody was always doing something to see if they could make him turn loose a little money. Another time..."

Calhoun began fighting his way out of the bib as if it were a net he was caught in. When he was free of it, he thrust his hand in his pocket and brought out a dollar

which he flung on the startled barber's shelf. Then he made for the door, letting it slam behind him in judgment on the place.

The walk back to his aunts' did not calm him. The colors of the azaleas had deepened with the approach of sundown and the trees rustled protectively over the old houses. No one here had a thought for Singleton, who lay on a cot in a filthy ward at Quincy. The boy felt now in a concrete way the force of his innocence, and he thought that to do justice to all the man had suffered, he would have to write more than a simple article. He would have to write a novel; he would have to show, not say, how primary injustice operated. Preoccupied with this, he went four doors past his aunts' house and had to turn and go back.

His Aunt Bessie met him at the door and drew him into the hall. "Told you we'd have a sweet surprise for you!" she said, pulling him by the arm into the parlor.

On the sofa sat a rangy-looking girl in a lime-green dress "You remember Mary Elizabeth," his Aunt Mattie said, "– the cute little trick you took to the picture show once when you were here." Through his rage he recognized the girl who had been reading under the tree. "Mary Elizabeth is home for her spring holidays," his Aunt Mattie said. "Mary Elizabeth is a real scholar, aren't you, Mary Elizabeth?"

Mary Elizabeth scowled, indicating she was indifferent to whether she was a real scholar or not. She gave him a look which told him plainly she expected to enjoy this no more than he did.

His Aunt Mattie gripped the knob of her cane and began to lift herself from her chair. "We're going to have supper early," the other one said, "because Mary Elizabeth is going to take you to the beauty contest and it begins at seven."

"Great," the boy said in a tone that would be lost on them but he hoped not on Mary Elizabeth.

Throughout the meal he ignored the girl completely. His repartee with his aunts was markedly cynical but they did not have sense enough to understand his allusions and laughed like idiots at everything he said. Twice they called him "Baby Lamb" and the girl smirked. Otherwise she did nothing to suggest she was enjoying herself. Her round face was still childish behind her glasses. Retarded, Calhoun thought.

When the meal was over and they were on the way to the beauty contest, they continued to say nothing to each other. The girl, who was several inches taller than he, walked slightly in advance of him as if she would like to lose him on the way, but after two blocks she stopped abruptly and began to rummage in a large grass bag she carried. She took out a pencil and held it between her teeth while she continued to rummage. After a minute she brought up from the bottom of the bag two tickets and a stenographer's note pad. With these out, she closed the pocketbook and walked on.

"Are you going to take notes?" Calhoun inquired in a tone heavy with irony.

The girl looked around as if trying to identify the speaker. "Yes" she said, "I'm going to take notes."

"You appreciate this sort of thing?" Calhoun asked in the same tone. "You enjoy it?"

"It makes me vomit," she said. "I'm going to finish it off with one swift literary kick."

The boy looked at her blankly.

“Don’t let me interfere with your pleasure in it,” she said, but this whole place is false and rotten to the core.” Her voice came with a hiss of indignation. “They prostitute azaleas!”

Calhoun was astounded. After a moment he recovered himself. “It takes no great mind to come to that conclusion,” he said haughtily. “What requires insight is finding a way to transcend it.”

“You mean a form to express it in.”

“It comes to the same thing,” he said.

They walked the next two blocks in silence but both appeared shaken. When the courthouse was in view they crossed the street to it and Mary Elizabeth stuck the tickets at a boy who stood beside an entrance that had been formed by roping in the rest of the square. People were beginning to assemble on the grass inside.

“And do we stand here while you take notes?” Calhoun asked.

The girl stopped and faced him. “Look, Baby Lamb,” she said, “you can do what you please. I’m going up to my father’s office in the building where I can work. You can stay down here and help select Miss Partridge Azalea if you want to.”

“I shall come,” he said, controlling himself, “I’d like to observe a great female writer taking notes.”

“Suit yourself,” she said.

He followed her up the courthouse steps and through a side door. His irritation was so extreme that he did not realize he had passed through the very door where Singleton had stood to shoot. They walked through an empty barnlike hall and silently up a flight of tobacco-stained steps into another barnlike hall. Mary Elizabeth rooted in the grass bag for a key and then unlocked the door to her father’s office. They entered a large threadbare room lined with lawbooks. As if he were an incompetent, the girl dragged two straight chairs from one wall to a window that overlooked the porch. Then she sat down and stared out, apparently absorbed at once in the scene below.

Calhoun sat down in the other chair. To annoy her he began to look her over thoroughly. For what seemed at least five minutes, he did not take his eyes off her as she leaned with her elbows in the window. He stared at her so long that he was afraid her image would be etched forever on his retina. Finally he could stand the silence no longer. “What is your opinion of Singleton?” he asked abruptly.

She raised her head and appeared to look through him. “A Christ-figure,” she said.

The boy was stunned.

“I mean as myth,” she said scowling. “I’m not a Christian.” She returned her attention to the scene outside. Below a bugle sounded. “Sixteen girls in bathing suits are about to appear,” she drawled. “Surely this will be of interest to you?”

“Listen,” Calhoun said fiercely, “get this through your head. I’m not interested in the damm festival or the damm azalea queen. I’m here only because of my sympathy for Singleton. I’m going to write about him. Possibly a novel.”

“I intend to write a non-fiction study,” the girl said in a tone that made it evident fiction was beneath her.

They looked at each other with open and intense dislike. Calhoun felt that if he probed sufficiently he would expose her essential shallowness. “Since our forms are different,” he said, again with his ironical smile, “we might compare findings.”

“It’s quite simple,” the girl said. “He was the scapegoat. While Partridge flings itself about selecting Miss Partridge Azalea, Singleton suffers at Quincy. He expiates...”

“I don’t mean your abstract findings,” the boy said. “I mean your concrete findings. Have you ever seen him? What did he look like? The novelist is not interested in narrow abstractions – particularly when they’re obvious. He’s...”

“How many novels have you written?” she asked.

“This will be my first,” he said coldly. “Have you ever seen him?”

“No,” she said, “that isn’t necessary for me. What he looks like makes no difference – whether he has brown eyes or blue – that’s nothing to a thinker.”

“You are probably,” he said, “afraid to look at him. The novelist is never afraid to look at the real object.”

“I would not be afraid to look at him,” the girl said angrily, “if it were at all necessary. Whether he has brown eyes or blue is nothing to me.”

“There is more to it,” Calhoun said, “than whether he has brown eyes or blue. You might find your theories enriched by the sight of him. And I don’t mean by finding out the color of his eyes. I mean your existential encounter with his personality. The mystery of personality,” he said, “is what interests the artist. Life does not abide in abstractions.”

“Then what’s keeping you from going and having a look at him?” she said. “What are you asking me what he looks like for? Go see for yourself.”

The words fell on his head like a sack of rocks. After a moment he said, “Go see for yourself? Go see where?”

“At Quincy,” the girl said. “Where do you think?”

“They wouldn’t let me see him,” he said. The suggestion was appalling to him; for some reason he could not at the moment understand, it struck him as unthinkable.

“They would if you said you were kin to him,” she said, “It’s only twenty miles from here. What’s to stop you?”

He was about to say, “I’m not kin to him,” but he stopped and reddened furiously on the edge of the betrayal. They were spiritual kin.

“Go see whether his eyes are brown or blue and have yourself a little old exis . . .”

“I take it,” he said, “that if I go you would like to go along? Since you aren’t afraid to see him.”

The girl paled. “You won’t go,” she said. “You’re not up to the old exis . . .”

“I will go,” he said, seeing his opportunity to shut her up “And if you care to go with me, you can be at my aunts’ at nine in the morning. But I doubt,” he added, “that I’ll see you there.”

She thrust forward her long neck and glared at him. "Oh yes you will," she said. "You'll see me there."

She returned her attention to the window and Calhoun looked at nothing. Each seemed sunk suddenly in some mammoth private problem. Raucous cheers came intermittently from outside. Every few minutes there was music and clapping but neither took any notice of it, or of each other. Finally the girl pulled away from the window and said, "If you've got the general idea, we can leave. I prefer to go home and read."

"I had the general idea before I came," Calhoun said.

He saw her to her door and when he had left her, his spirits lifted dizzily for an instant and then collapsed. He knew that the idea of going to see Singleton would never have occurred to him alone. It would be a torturing experience, but it might be his salvation. The sight of Singleton in his misery might cause him suffering sufficient to raise him once and for all from his commercial instincts. Selling was the only thing he had proved himself good at; yet it was impossible for him to believe that every man was not created equally an artist if he could but suffer and achieve it. As for the girl, he doubted if the sight of Singleton would do anything for her. She had that particular repulsive fanaticism peculiar to smart children – all brain and no emotion.

He spent a restless night, dreaming in snatches of Singleton. At one point he dreamed he was driving to Quincy to sell Singleton a refrigerator. When he awoke in the morning, a slow rain was descending indifferently. He turned his head to the grey window pane. He could not remember what he had dreamed but he sensed it had been unpleasant. A vision of the girl's flat face came to him. He thought of Quincy and saw rows and rows of low red buildings with rough heads sticking out of barred windows. He tried to concentrate on Singleton but his mind shied from the thought. He did not wish to go to Quincy. He remembered that it was a novel he was going to write. His desire to write a novel had gone down overnight like a defective tire.

While he lay in bed, the drizzle turned into a steady downpour. The rain might keep the girl from coming, or at least she might think she could use it as an excuse. He decided to wait until exactly nine o'clock and if she had not shown up by then to be off. He would not go to Quincy but would go home. It would be better to see Singleton at a later date when he would perhaps have responded to treatment. He got up and wrote the girl a note to be left with his aunts, saying he presumed she had decided, upon consideration, that she was not equal to the experience. It was a very concise note and he ended it, "Cordially yours."

She arrived at five minutes to nine and stood dripping in his aunts' hall, a tubular bundle of baby-blue plastic from which nothing showed but her face. She was holding a damp paper sack and her large mouth was twisted in an uncertain smile. Overnight she had apparently lost some of her self-assurance.

Calhoun was barely able to be polite. His aunts, who thought this was a romantic outing in the rain, kissed him out the door and stood on the porch idiotically waving their handkerchiefs until he and Mary Elizabeth were in the car and gone.

The girl was much too big for the small car. She kept shifting about and twisting inside her raincoat. "The rain has beat the azaleas down," she observed in a neutral tone.

Calhoun rudely kept silent. He was trying to obliterate her from his consciousness so that he could reestablish Singleton there. He had lost Singleton completely. The rain was coming down in grey swaths. When they reached the highway, they could barely see across the fields to a faint line of woods. The girl kept leaning forward, squinting into the opaque windshield. "If a truck were to come out of that," she said with a gawkish laugh, "that would be the end of us."

Calhoun stopped the car. "I'll be glad to take you back and go on by myself," he said.

"I have to go," she said hoarsely, staring at him. "I have to see him." Behind her spectacles, her eyes appeared larger than they should have been and suspiciously liquid. "I have to face this," she said.

Roughly, he started the car again.

"You have to prove to yourself that you can stand there and watch a man be crucified," she said. "You have to go through it with him. I thought about it all night."

"It may give you," Calhoun muttered, "a more balanced view of life."

"This is personal," she said. "You wouldn't understand," and she turned her head to the window.

Calhoun tried to concentrate on Singleton. Feature by feature, he brought the face together in his mind and each time he had it almost constructed, it fell apart and he was left with nothing. He drove in silence, at a reckless speed as if he would like to hit a hole in the road and see the girl go through the windshield. Every now and then she blew her nose weakly. After fifteen miles or so the rain slackened and stopped. The treeline on either side of them became black and clear and the fields intensely green. They would have an unmistakable view of the hospital grounds as soon as these should come in sight.

"Christ only had to take it three hours," the girl said all at once in a high voice, "but he'll be in this place the rest of his life!"

Calhoun cut his eyes toward her. There was a fresh wet line down the side of her face. He turned his eyes away, awed and furious. "If you can't stand this," he said, "I can still take you home and come back by myself."

"You wouldn't come back by yourself," she said, "and we're almost there." She blew her nose. "I want him to know that somebody takes his side. I want to say that to him no matter what it does to me."

Through his rage, the terrible thought occurred to the boy that he would have to *say* something to Singleton. What could he say to him in the presence of this woman? She had shattered the communion between them. "We've come to listen I hope you understand," he burst out. "I haven't driven all this way to hear you startle Singleton with your wisdom. I've come to listen to *him*."

“We should have brought a tape recorder!” she cried, “then we’d have what he says all our lives!”

“You don’t have elementary understanding,” Calhoun said, “if you think you approach a man like this with a tape recorder.”

“Stop!” she shrieked, leaning toward the windshield, “That’s it!”

Calhoun slammed on his brakes and looked forward wildly.

A cluster of low buildings, hardly noticeable, rose like a rich growth of warts on the hill to their right.

The boy sat helpless while the car, as if of its own volition, turned and headed toward the entrance. The letters QUINCY STATE HOSPITAL were cut in a concrete arch which it rolled effortlessly through.

“Abandon hope all ye who enter here,” the girl murmured.

They had to stop within a hundred yards of the gate while a fat white-capped nurse led a line of patients, straggling like elderly schoolchildren, across the road in front of them. A snaggle-toothed woman in a candy-striped dress and black wool hat shook her fist at them, and a baldheaded man waved energetically. A few threw malevolent looks as the line shuffled off across the green to another building.

After a moment the car rolled forward again. “Park in front of that center building,” Mary Elizabeth directed.

“They won’t let us see him,” he mumbled.

“Not if you have anything to do with it,” she said. “Park and let me out. I’ll handle this.” Her cheek had dried and her voice was businesslike. He parked and she got out. He watched her disappear into the building, thinking with grim satisfaction that she would soon turn into a full-grown ogre – false intellect, false emotions, maximum efficiency, all operating to produce the dominant hair-splitting Ph.D. Another line of patients passed in the road and several of them pointed at the small car. Calhoun did not look but he sensed he was being watched. “Hup up there,” he heard the nurse say.

He looked again and gave a little cry. A gentle face, wrapped around with a green hand towel, was in his window, smiling toothlessly but with an agonizing tenderness.

“Get a move on, sweetie,” the nurse said and the face retreated.

The boy rolled his window up rapidly but his heart wrenched. He saw again the agonized face in the stocks – the slightly mismatched eyes, the wide mouth parted in a stilled useless cry. The vision lasted only a moment but when it passed, he was certain that the sight of Singleton was going to effect a change in him, that after this visit, some strange tranquility he had not before conceived of would be his. He sat for ten minutes with his eyes closed, knowing that a revelation was near and trying to prepare himself for it.

All at once the car door opened and the girl folded herself, panting, in beside him. Her face was pale. She held up two green permission slips and pointed to the names written on them: Calhoun Singleton on one, Mary Elizabeth Singleton on the other. For a moment they stared at the slips, then at each other. Both appeared to recognize that in their common kinship with him, a kinship with each other was un-

avoidable. Generously, Calhoun held out his hand. She shook it. "He's in the fifth building to the left," she said.

They drove to the fifth building and parked. It was a low red brick structure with barred windows, like all the others except that the outside of it was streaked with black stains. In one window two hands hung out, palms downward. Mary Elizabeth opened the paper sack she had brought and began to take out presents for Singleton. She had brought a box of candy, a carton of cigarets and three books – a Modern Library *Thus Spake Zarathustra*, a paper-back *Revolt of the Masses*, and a thin decorated volume of Housman. She handed the cigarets and the candy to Calhoun and got out of the car with the books herself. She started forward, but halfway to the door she stopped and put her hand to her mouth. "I can't take it," she murmured.

"Now now," Calhoun said kindly. He put his hand on her back and gave her a slight push and she began to move forward again.

They entered a stained linoleum-covered hall where a peculiar odor met them at once like an invisible official. There was a desk facing the door, behind which sat a frail harassed-looking nurse whose eyes darted to right and left as if she expected ultimately to be hit from behind. Mary Elizabeth handed her the two green permits. The woman looked at them and groaned. "Go in yonder and wait," she said in a weary insult-bearing voice. "He'll have to be got ready. They shouldn't have give you these slips over there. What do they know about what goes on over here over there and what do them doctors care anyhow? If it was up to me the ones that don't cooperate wouldn't see nobody."

"We're his kin," Calhoun said. "We have every right to see him."

The nurse threw her head back in a soundless laugh and went off muttering.

Calhoun put his hand on the girl's back again and guided her into the waiting room where they sat down close together on a mammoth black leather sofa which faced an identical piece of furniture five feet away. There was nothing else in the room but a rickety table in one corner with an empty white vase on it. A barred window cast squares of damp light on the floor at their feet. There seemed an intense stillness about them although the place was anything but quiet. From one end of the building came a continuous mourning sound as delicate as the fluttering wail of owls; at the other end they heard rocketing peals of laughter. Closer at hand, a steady monotonous cursing broke the silence around it with a machine-like regularity. Each noise seemed to exist isolated from every other.

The two sat together as if they were waiting for some momentous event in their lives – a marriage or instantaneous deaths. They seemed already joined in a predestined convergence. At the same instant each made an involuntary motion as if to run but it was too late. Heavy footsteps were almost at the door and the machine-like curses were bearing down.

Two burly attendants entered with Singleton spider-like between them. He was holding his feet high up off the floor so that the attendants had to carry him. It was from him the curses were coming. He had on a hospital gown of the type that opens and ties up the back and his feet were stuck in black shoes from which the laces had been removed. On his head was a black hat, not the kind countrymen wear, but a

black derby hat such as might be worn by a gunman in the movies. The two attendants came up to the empty sofa from behind and swung him over the back of it, then still holding him, each passed around the sofa arms and sat down beside him, grinning. They might have been twins for though one was blond and the other bald, they had identical looks of good-natured stupidity.

As for Singleton, he fixed Calhoun with his green slightly mismatched eyes. “Whadaya want with me?” he shrilled. “Speak up! My time is valuable.” They were almost exactly the eyes that Calhoun had seen in the paper, except that the penetrating gleam in them had a slight reptilian quality.

The boy sat mesmerized.

After a moment, Mary Elizabeth said in a slow, hoarse barely audible voice, “We came to say we understand.”

The old man’s glare shifted to her and for one instant his eyes remained absolutely still like the eyes of a tree-toad that has sighted its prey. His throat appeared to swell. “Ahhh,” he said as if he had just swallowed something pleasant, “eeeeee.”

“Mind out now, dad,” one of the attendants said.

“Lcmme sit with her,” Singleton said and jerked his arm away from the attendant, who caught it again at once. “She knows what she wants.”

“Let him sit with her,” the blond attendant said, “she’s his niece.”

“No,” the bald one said, “keep aholt to him. He’s liable to pull off his frock. You know *him*.”

But the other one had already let one of his wrists loose and Singleton was leaning outward toward Mary Elizabeth, straining away from the attendant who held him. The girl’s eyes were glazed. The old man began to make suggestive noises through his teeth.

“Now now, dad,” the idle attendant said.

“It’s not every girl gets a chance at me,” Singleton said. “Listen here, sister, I’m well-fixed. There’s nobody in Partridge I can’t skin. I own the place – as well as this hotel.” His hand grasped toward her knee.

The girl gave a small stifled cry.

“And I got others elsewhere,” he panted. “You and me are two of a kind. We ain’t in their class. You’re a queen. I’ll put you on a float!” and at that moment he got his wrist free and lunged toward her but both attendants sprang after him instantly. As Mary Elizabeth crouched against Calhoun, the old man jumped nimbly over the sofa and began to speed around the room. The attendants, their arms and legs held wide apart to catch him, tried to close in on him from either side. They almost had him when he kicked off his shoes and leaped between them onto the table, sending the empty vase shattering to the floor. “Look girl!” he shrilled and began to pull the hospital gown over his head.

Mary Elizabeth was already dashing out the room and Calhoun ran behind her and thrust open the door just in time to prevent her crashing into it. They scrambled into the car and the boy drove it away as if his heart were the motor and would never go fast enough. The sky was bone-white and the slick highway stretched before them like a piece of the earth’s exposed nerve. After five miles Calhoun pulled the car to

the side of the road and stopped from exhaustion. They sat silently, looking at nothing until finally they turned and looked at each other. There each saw at once the likeness of their kinsman and flinched. They looked away and then back, as if with concentration they might find a more tolerable image. To Calhoun, the girl's face seemed to mirror the nakedness of the sky. In despair he leaned closer until he was stopped by a miniature visage which rose incorrigibly in her spectacles and fixed him where he was. Round, innocent, undistinguished as an iron link, it was the face whose gift of life had pushed straight forward to the future to raise festival after festival. Like a master salesman, it seemed to have been waiting there from all time to claim him.

Публикуется по: O'Connor F. Collected works. N. Y., Literary Classics of the United States, 1988.

Questions

1. Where is the scene of the story laid?
2. Can you say that the first paragraph of the story is the author's warning and introduction to the world of paradox and absurdity?
3. What was the reason for Calhoun to be in Partridge?
4. Why was Singleton tried by the mock court?
5. Where was he imprisoned? What was his jail like?
6. What did Calhoun do to earn his living? What was he going to begin doing?
7. What was the town's motto?
8. What "grand events" does Calhoun mean while speaking with the boy at the drugstore?
9. How is the girl with a Coca-Cola bottle described? What was her gaze like?
10. How did the situation at the barber's change after the tragedy?
11. What was Mary Elizabeth's opinion of Singleton?

Paraphrase or explain

1. “Calhoun parked his small pod-shaped car in the drive-way to his great-aunts’ house and got out cautiously, looking to the right and left as if he expected the profusion of azalea blossoms to have a lethal effect on him.”
2. “An unfortunate incident”, his Aunt Mattie said.” What ideas precede this sentence?
3. “Partridge will bury its dead but will not lose a nickel.”
4. “... the other nine months he could afford to meet life naturally and bring his real self – the rebel-artist-mystic to birth.”
5. “They eyed him as if it had just occurred to them that the pet snake they had been fondling might after all be poisonous.”
6. “He expected to write something that would indicate the madman and he expected the writing of it to mitigate his own guilt, for his doubleness, his shadow was cast before him more darkly than usual in the light of Singleton’s purity.”
7. “Singleton was only the instrument... Partridge itself was guilty.”
8. “As soon as he had seen Singleton’s picture in the paper, the face began to burn in his imagination like a dark reproachful liberating star.”
9. One big one. But he didn’t die in time for it.”
10. One of the Singleton’s girls gone off on a nine-month vacation and came back with him.”
11. “They were spiritual kin.”
12. “It would be a torturing experience, but it may be his salvation.”
13. “Abandon hope all ye who entered there.”
14. “I own the place – as well as this hotel.”

Discussion points

- Find all the statements, where it is said about the kinship and likeness of characters.
- What elements of the story would you describe as “grotesque”?

- What elements of the story would you describe as “humorous”?
- What are the effects of O’Connor’s being humorous and grotesque in the story?
- Flannery O’Connor’s fiction is often labeled as “Southern Gothic” or “Southern Grotesque”. O’Connor once said that “anything that comes out of the South is going to be called grotesque by the Northern reader, unless it is grotesque in which case it is going to be called realistic.” What elements of the story can be called “realistic”?

Translation exercises

1. Write out examples of the “grotesque” situations and compare them with their translations. Say, if the pragmatic effect is the same in the original and in translation. How is it achieved?

2. Study the concept of the humorous in the story. What linguistic means create the humorous effect? How is this concept of the humorous rendered in translation? What linguistic means are employed in translation?

Humorous situations		Linguistic means	
<i>Original text</i>	<i>Translation</i>	<i>Original text</i>	<i>Translation</i>

3. Summarize the efficiency of translation techniques employed in the translation of the text.

Магический Христиан

Фрагменты из романа

Среди серого гранитного болота Уолл-стрит возвышается одно здание, как сизая цапля, парящая в бело-голубом восторге – Уолл-стрит, номер 18 – ракета из стекла и ослепительно сверкающей меди. Это здание компании «Гранд Инвестментс», возможно, самой современной бизнес-структуры в нашей стране, известной в высших финансовых сферах под более простым и коротким обозначением – «Гранд».

Офисы Гранда заняты фирмами, которые работают с фондами взаимного инвестирования, – это гигантские и фантастические корпорации, чья политика определяет судьбы наций.

Сам Август Гай Гранд был миллиардером. В банках Нью-Йорка у него были счета на общую сумму 180 миллионов долларов, но эти свободные деньги, несомненно, составляли лишь небольшую часть его огромного состояния.

Сначала партнеры Гранда, которые сами были очень состоятельными людьми, не замечали в нем ничего необычного; в их представлении он был сдержанным мужчиной с простыми вкусами, который большую часть своего капитала получил по наследству и сохранил его благодаря значительным и надежным вложениям в сталь, резину и нефть. Впрочем, образ Гранда в глазах его партнеров по бизнесу на самом деле был лишь отражением их собственной заурядности: член клуба, часто приглашаемая персона, источник потенциальных возможностей и рисков – человек, размер состояния которого нес в себе перспективы развития и таил скрытые угрозы. Но все это не имело никакого отношения к частной жизни Гранда. Во-первых, он был последним представителем исчезающего класса кутил и мотов, во-вторых, у него было особое отношение к людям – ежегодно он тратил около 10 миллионов на то, чтобы, по его собственным словам, *разогреть* их.

К пятидесяти трем годам тело Гранда состояло из толстого туловища и большой лысеющей головы, напоминающей по своей форме большую пулю; его лицо было почти розовым, так что при определенном освещении он был похож на человека-редиску, правда, не вызывавшего чувства отвращения, благодаря отлично сшитой одежде и бриллианту величиной с пятак, который он носил на шее вместо галстука... Этот бриллиант играл мягким блеском угасающего предвечернего солнца, когда Гранд переступил порог бесшумно открывшихся перед ним дверей «Гранда» и шагнул в синюю дымку опустевшей улицы, проходя мимо огромного, в своей гигантской ливрее достигавшего невероятных разме-

ров швейцара, который коснулся козырька своей фуражки быстрым, но преисполненным почтения движением.

– Такси, мистер Гранд?

– Спасибо, не стоит беспокоиться, Джейсон, – ответил Гай. – Я сегодня на машине.

Приятно улыбнувшись швейцару, он изящно развернулся на каблуках и направился в сторону Уорт-Стрит.

Походка Гая Гранда была очень бодрой – он делал короткие, резкие шаги, поднимаясь на носки. Это была походка человека, который, кажется, вот-вот начнет на ходу пощелкивать пальцами.

Он подошел к своей машине, которая находилась в полуквартале от здания его компании, но тут его поразило секундное замешательство – Гай Гранд не сразу узнал свой автомобиль из-за большой квитанции на штраф за неправильную парковку, торчавшей из-под дворника ветрового стекла. Он медленно вытащил ее и начал с любопытством разглядывать.

– Похоже, ты схлопотал штраф, приятель! – послышалось откуда-то из-за спины.

Краем глаза Гранд заметил человека в темном летнем костюме, небрежно прислонившегося к стене здания недалеко от машины. Тон, которым было произнесено это замечание, сочетал в себе немногословность и самодовольство, что-то вроде гнусавого высокомерия.

– Да, похоже, – проговорил Гранд, не поднимая глаз, все еще продолжая изучать квитанцию, которая была у него в руках.

– За сколько ты ее съешь? – наконец спросил он, взглянув на незнакомца с пронзительной улыбкой.

– Как это съешь, мистер? – удивился тот, раздраженно нахмурившись и немного отодвигаясь от стены здания.

Гранд прокашлялся и медленно вытащил бумажник – длинный тонкий бумажник, изготовленный из кожи такого качества, что он был бы мягким как шелк, если бы не был до отказа набит тысячедолларовыми купюрами.

– Я спрашиваю, что вы попросите за то, чтобы съесть ее? Ты понимаешь? – широко открыв глаза и поднося ко рту квитанцию, Гранд сделал энергичное жевательное движение.

Мужчина, не отводя взгляда, несмело шагнул навстречу.

– Подождите, мистер, я вас не понимаю!

– Ну-у, – протяжно произнес Гранд, с едва слышным смехом рассматривая содержимое своего бумажника. – Это же достаточно просто...

Он вытащил несколько банкнот.

– У меня есть эта квитанция, как ты сам видишь, и мне просто было интересно узнать, захочешь ли ты съесть ее за, скажем, – взглянул на деньги, чтобы удостовериться, – шесть тысяч долларов?

– Как это понять: «съесть ее»? – почти прорычал мужчина в темном костюме. – Ты что, приятель, совсем умом тронулся?

Тронутый чудак или заумный шутник – называй меня так, как тебе нравится, только ты никогда не сможешь назвать меня опоздавшим-пожевать! А! хо-хо! – Гранд закончил, радостно расхохотавшись, но сразу же, уже без улыбки добавил:

- Ну так как, дружище, любишь легкие деньги?

Незнакомец, от злости словно привставший на цыпочки, сделал еще один шаг вперед.

– Послушайте, мистер... – начал он, переходя на угрожающие интонации, стискивая кулаки.

– Я думаю, мне следует предупредить вас, – спокойно сказал Гранд, поднимая руку к груди, – что я вооружен.

– А? – мужчина тут же остановился, смутившись, и уставился в тупом озлоблении на шесть купюр в руке Гранда; потом, отчасти приходя в себя, он поднял голову и стал пристально разглядывать Гранда, выражая при этом сильный скептицизм с явно выраженной примесью сильного негодования.

– Вы кем себя вообразили, мистер? Что за игру вы затеяли?

– Гранд зовут меня, легкие деньги зовется игра, – сказал Гранд, подмигивая. – Поиграем?

Он резко ударил по углам шести новеньких купюр, послышался неотразимый хрустящий звук потрескивающей бумаги банкнот.

– То есть, – пробормотал мужчина, черты его лица были напряжены, он тербил пальцы рук и несколько раз тяжело выдохнул в приступе гнева, – вы хотите сказать, что отдадите мне шесть тысяч долларов за то, что я съем эту... – сделав над собой усилие, он указал на квитанцию в руке Гая, – съем эту квитанцию?

– Теперь обговорим условия, – сказал Гранд, он взглянул на свои часы. – Пусть это будет то, что называют предложением, с ограничением по времени, срок которого истекает, скажем, через одну минуту.

– Слушайте, мистер, – ответил ему незнакомец сквозь зубы, – если это розыгрыш, то я за себя не ручаюсь.

Он покачал головой, чтобы показать, насколько он серьезен.

– Не нужно угроз, – предостерег его Гай, – иначе я выстрелю вам в висок. Ну что тут говорить? Осталось 48 секунд.

– Дай посмотреть на эти чертовы деньги! – уже совершенно выходя из себя, воскликнул мужчина, схватившись за купюры.

Гранд разрешил ему внимательно их изучить, не отрывая своего взгляда от часов.

– Осталось 39 секунд, – торжественно объявил он. – Запустить обратный отсчет?

Не дожидаясь ответа, он шагнул назад и, рупором сложив руки, с драматизмом в голосе начал произносить: «28... 27... 26...», в то время как мужчина, сделав несколько бессвязных замечаний, сопровождавшихся безумными жестами, схватил квитанцию, зубами оторвал от нее четвертую часть и с горящими глазами начал жевать.

– Отважный парень! – дружелюбно прокричал Гранд, прекратив обратный отсчет, он шагнул к незнакомцу, сердечно похлопал по плечу и вручил ему шесть тысяч.

– На самом деле тебе не нужно было съедать квитанцию, – объяснил он. – Мне просто было любопытно узнать, есть ли у тебя своя цена продажи.

Он подмигнул с примиряющим смехом:

– У большинства из нас она есть, не правда ли? Ха-ха!

Махнув рукой, он сел в свою машину и умчался, оставив доведенного почти до сумасшествия человека в темном летнем костюме стоять на тротуаре и молча смотреть ему вслед.

Какое-то время Гай Гранд был владельцем газеты – одного популярного бостонского издания, тираж которого достигал девятьсот тысяч экземпляров. Сначала, когда Гранд вступил во владение, газета несколько не изменилась – прежними остались формат и общепризнанный высокий профессионализм журналистов. В то время Гранд был в Нью-Йорке и находился на периферии процесса издания, собираясь оставаться в этом качестве до тех пор пока, по его словам, он не сможет прочувствовать обстановку.

Однако в течение второго месяца в новостях местного значения необъяснимым образом начали появляться французские слова:

Бостон, 27 марта (Ассошиэйтед Пресс) – Говард Джонс, vingt-huit ans, признанный виновным в трех случаях воровства, был приговорен этим утром к 20-26-месячному тюремному заключению в тюрьме Фолсом нашего штата. Об этом объявил глава апелляционного суда 17 округа au-jourd'hui.

В дальнейшем, последовательно подвергнув необходимой обработке выпускающих редакторов, корректоров и операторов-линотипистов, Гранд начал проводить политику, которая заключалась в заведомо ошибочном написании названий городов, островов и прочих имен собственных – или же использовании в таких случаях иноязычной транскрипции.

В годы Второй мировой войны, когда географические названия каждый день встречались в газетных заголовках и имели особое значение, эти искажения, затрудняя понимание фактов, вызывали сильное раздражение читательской аудитории.

Тираж газеты резко упал, спустя три месяца он снизился до величины, составлявшей менее одной двадцатой от той, которой она была в момент прихода Гранда. В этих условиях было объявлено об изменении основной редакционной политики: впредь в газете больше не будет комиксов, редакционных комментариев и тематических рубрик, рецензий или рекламы, она будет содержать исключительно фактическую информацию в беспристрастной и объективной форме. Она получила название «Факты», и Гранд потратил баснословную сумму, чтобы найти необходимый материал, по крайней мере, ему удалось собрать достаточно большое количество фактов, чтобы затем напечатать их в виде про-

стых предложений. Издания первых двух-трех дней продавались сравнительно хорошо, но содержание газеты в целом казалось настолько невразумительным и бессвязным набором сведений, что уже к концу недели спрос оказался на самом низком за весь период существования газеты уровне. На третью неделю продажи стали совсем ничтожными, и ее начали раздавать бесплатно или, когда распространители отказывались брать ее на реализацию, весь ежедневный тираж, объем которого составлял около двух миллионов экземпляров, каждое утро раскладывали стопками на всех перекрестках. Сначала горожан забавлял вид такого количества газет, остававшихся непрочитанными; но так как это никак не прекращалось, им это начинало надоедать. Происходило что-то странное – *Коммунисты? Атеисты? Гомосексуалисты? Католики? Корпорации? Протестанты? Сумасшедшие? Негры? Евреи? Пуэрториканцы? ПОЭЗИЯ?* Город погряз в вульгарных сплетнях. Люди с пренебрежением обсуждали «Факты», не отличая их от мусора и хлама. Произносились речи, писались письма, но сам предмет разговора продолжал оставаться неясным. Редактор «Фактов» получал гневные письма мешками. Гранд неделю сохранял спокойствие, потом он предоставил все газетные полосы для публикации этих писем; газета вновь поменяла название – теперь она превратилась в «Мнения».

Опубликованные письма отражали настолько вопиющий сумбур мыслей и суждений, что это вызвало волнения по всему городу. Все вокруг читали эту газету, что привело к резкому обострению межгрупповых противоречий и нескольким актам насилия. Началось формирование общественных движений.

7 июня около двух часов пополудни на площади Лексингтон Сквер недалеко от центра города стали собираться группы людей. *Еврейские, атеистические, негритянские, рабочие, гомосексуальные и интеллектуальные* группы были на одной стороне – *протестанты* и *Американский легион* – на другой. Баланс сил, по-видимому, поддерживала группа неустрашимых *католиков*.

В тот день в Бостоне была ясная безветренная погода, и пока разнообразные группы и группы-внутри-этих-групп пререкались друг с другом, маневрируя на пространстве в центре Лексингтон Сквер, Гай Гранд нанес решительный удар. Паря над головами собравшихся на вертолете, оборудованном радиостанцией, он руководил движением эскадрильи из шести самолетов, которые на очень большой высоте выписывали виражи, оставляя за собой шлейф цветного дыма, складывавшийся в буквы: *F**K YOU...* После этой надписи следовал целый букет незамысловатых эпитетов, сформулированных как оскорбления, направленных в адрес определенной целевой группы: «Протестанты, идите в задницу», «Евреи – куски дерьма», «Паршивые католики» и так далее, чем дальше, тем отвратительнее.

Это привело толпу в неистовство. Гай Гранд опустил на высоту в сто футов, накренил вертолет в сторону толпы и открыл дверь, чтобы посмотреть вниз и оценить обстановку. Толпа, усмотрев связь между низколетящим вертолетом с возмутительными надписями наверху, начала выкрикивать ругательства и махать кулаками

– Ты, вонючий Мик!

– Ты, грязный жид!

– Ты, черный ублюдок!

Именно с этого и началось побоище.

Во время беспорядков на Лексингтон Сквер Гранд опустил свой вертолет до высоты двадцати пяти футов, курсируя над площадью, он выглядывал из дверей и бесстрастно, с невозмутимой интонацией, громко выкрикивал: «А в чем дело? В чем дело?».

К четырем часам площадь была в руинах, а весь Бостон на грани взрыва. В город пришлось вводить подразделения национальной гвардии и объявить военное положение. Для того чтобы полностью восстановить порядок, понадобилось тридцать шесть часов.

Пресса воспользовалась этим происшествием на полную катушку: постоянно звучали требования о проведении расследования всего случившегося. Чтобы осуществить свой план, Гай Гранд заранее подкупил нескольких «шишек» на самом верху, но масштаб последствий настолько далеко выходил за рамки предварительных договоренностей, что по возвращении в Нью-Йорк ему пришлось заплатить еще два миллиона, чтобы все уладить.

Однако окончательно Гранд достиг своего, как тогда говорили, *success d'estime*, вызвав крайнюю степень возмущения общественности нашумевшим морским путешествием на собственном судне, большом пароходе «Магический Христиан», который впоследствии назовут «Кораблем безумных трюков капитана Клауса». «Магический Христиан» был пароходом, приобретенным и переоборудованным Грандом из довольно старого океанского лайнера «Гриффин» водоизмещением 30000 тонн, общая стоимость работ, которые были проведены на судне, достигла пятидесяти миллионов долларов. До реконструкции он мог перевозить что-то около 1100 пассажиров. Гранд превратил его в пароход одного класса, первого, рассчитанного на 400 пассажиров, чье путешествие должно было проходить в атмосфере утонченного стиля и самого изысканного комфорта, сравнимого разве что с роскошью покоев турецких султанов. Каждая каюта на «Христiane» была дворцом в миниатюре; обстановка была настолько насыщена роскошью, что, казалось, она была растворена в воздухе. Разумеется, все каюты находились над палубой, в каждой были иллюминатор в резной раме величиной в двенадцать футов и стеклянная дверь, выходившая на внутренний дворик, где пассажиры могли в полной мере наслаждаться безграничным великолепием морских и небесных просторов. Пол в каждом номере был устлан прекрасными, глубокими и мягкими коврами, все предметы интерьера соответствовали стилю определенной эпохи, во всех каютах были отдельные бары, шезлонги, камин, кровати королевских размеров (с балдахином или без него, в зависимости от желания обитателя каюты), отдельная уютная библиотека (с полным комплектом роскошного издания энциклопедии «Британника» и с самыми лучшими образцами высокоинтеллектуальной литературы), магнитофоны, убор-

ные, небольшая римская ванна и сауна. Стены в основном были мягких тонов, покрыты замшей и панелями из тика и розового дерева.

Столовая была выполнена в стиле парижского ресторана «Максим», приготовлением блюд и сервировкой стола занимался персонал этого заведения. Непринужденная грациозность официантов подчеркивалась негромкой музыкой, исполнявшейся струнным квартетом Джулиарда. Соотношение корабельных служб было точно выверенным – например, в театральном зале (точная копия одного из казино Монте-Карло), который скорее напоминал шкатулку для драгоценностей, было ровно 400 мест, спектакли в нем исполняла труппа из Оулд Ви Плеерз, репертуар постоянно обновлялся, ежедневно проходило по два представления.

Корабельный врач был не только квалифицированным терапевтом, но еще и первоклассным психоаналитиком, так что пассажирам предоставлялась возможность проконсультироваться с ним в любое удобное для них время.

Но, возможно, самой сложной и тщательно продуманной деталью «Христиана» был его главный зал – так называемая морская комната. Это было большое помещение в трюме, его стены (которые были частью корпуса корабля) были сделаны из стекла, так что пассажиры, не вставая со своих кресел, могли наблюдать за морскими глубинами. Эффект океана под ногами поддерживался специальной станцией, находившейся на уровне ватерлинии в носовой части, из нее через определенные промежутки времени выпускали глубоководных морских существ и освещали их мощными прожекторами. Благодаря этой подсветке появлялась захватывающая дух панорама – с гигантскими осьминогами, огромными, переливающимися всеми цветами радуги скатами, морскими змеями, большими рыбами-бабочками и поистине фантастическими экземплярами тетрагоноптериусов, проплывающих мимо или извивающихся в безмолвной величественной схватке в нескольких футах от расслабленных пассажиров.

Хотя подготовка «Магического Христиана» к его первому путешествию и вызвала определенную шумиху (журнал «Лайф» посвятил ему целый номер, в котором напечатал красочные фотографии, снабженные восторженным сопроводительным текстом), объявление о дате отплытия было опубликовано в качестве коммерческого сообщения, размещенного на страницах «Таймс» и «Нэшнл Джеографик». Стоимость проезда не указывалась (хотя в «Лайф» говорилось о сумме «около \$5000»), сам текст объявления был набран простым мелким шрифтом, заключенным в очень жирную черную рамку. Начиналось оно со слов: «Только для избранной элиты...», далее в нем в форме краткого и сдержанного извинения оговаривалось, что приняты будут далеко не все, что все заявки для участия в морском путешествии подлежат тщательному отбору, и что те, кто получит отказ, не должны воспринимать его как оскорбление. «Наши критерии – говорилось в заключение, – могут не совпадать с вашими».

Помещения парохода могли посещать лишь те пассажиры, чьи заявки были приняты, и только в заранее назначенное время.

Судно было освящено английской королевой.

Все это звучало очень заманчиво, и заявки полились рекой. Настоятельную потребность получить билет на первое морское путешествие «Христиана» испытывал весьма широкий круг «избранной элиты». Те, кто только что вернулся из отпуска, внезапно вновь планировали заграничную поездку, многие срочно вернулись домой только лишь для того, чтобы заполучить возможность совершить этот круиз. Для многих путешествие на «Христиане» превратилось в жизненную необходимость.

Все это время Гай Гранд не показывался на публике, лично занимаясь отбором кандидатур, руководствовался он собственными, никому кроме него самого неизвестными критериями, видимо, не хотел упускать возможность лишний раз посмеяться над претендентами. Например, на заявке одной весьма почтенной и знатной представительницы итальянской аристократии он простым карандашом небрежно нацарапал: «Вы что, сдурели?!? Никаких макаронников!» Говорят, у дамы случился нервный шок, позднее она обратилась в суд с многомиллионным иском к Гранду за диффамацию. Улаживание этой проблемы влетело ему в копеечку.

С другой стороны, он принял, а точнее, нанял в качестве пассажиров группу актеров из довольно пошлого и странного шоу, которых ни в коем случае нельзя было оставлять без присмотра, так же как и нескольких цыган бродвейского типа и других похожих на них субъектов крайне неприятной наружности и более чем сомнительного поведения. Правда, первые несколько дней их держали в трюме, и если принять в расчет общее число пассажиров, то есть тех, кто разместился в каютах, то данные подозрительные лица, коих было не больше сорока, составляли лишь одну десятую часть. Поэтому в целом в момент торжественного, под звуки духового оркестра, отправления в плавание «Христиана», которое состоялось утром в день Пасхи, на его борту, несомненно, были самые отборные сливки общества.

Одной из многочисленных технических изюминок теплохода Гая Гранда была уникальная система видеокommunikации, служившая средством связи между капитанским мостиком и другими помещениями судна. В каждой каюте над каминной полкой был установлен небольшой телевизионный экран, который обеспечивал прямую видеосвязь с капитаном, твердой рукой управляющим штурвалом корабля, и давал возможность наблюдать за тем, что происходит вокруг – угол обзора позволял охватывать практически весь мостик. Эти экраны можно было включать и выключать, но в первый день путешествия, пока пассажиры размещались по каютам, они постоянно находились в рабочем состоянии, чтобы предупредить возможные последствия непонимания сущности этой новинки. Поэтому, входя в свою каюту, каждый пассажир мог увидеть на своем экране, расположенном над камином, бравого капитана Клауса, стоящего у штурвала «Магического Христиана». Для этой роли Гай Гранд нанял профессионального актера, представительного седого мужчину, каждый жест которого внушал чувство уверенности и вызывал глубокое доверие. На темном капитанском кителе был двойной ряд нарядных серебряных лент, а его манера поведения сочетала в себе властность и мягкое добродушие – по крайней мере,

именно это увидели пассажиры, произошло это в тот момент, когда все они уже успели устроиться на своих местах, чтобы отправиться в путь.

На экране капитан набивал трубку, но сделал паузу, чтобы улыбнуться и, быстрым движением коснувшись козырька фуражки, поприветствовать всех пассажиров.

– Капитан Клаус, – сказал он, представившись в теплой неформальной манере, которая, тем не менее, не наносила ущерба его достоинству. – Я рад видеть вас на борту.

Он небрежным движением взял указку и подошел к карте, висевшей на стене.

– Вот наш курс, – сказал он, – норд-норд-ист, 47 градусов.

Затем он приступил к рассказу об оборудовании, расположенном на капитанском мостике, объяснил назначение приборов и механизмов, сообщил о метеоусловиях и морских течениях на данный момент, об их предполагаемых изменениях в ближайшие дни и т.д., при этом капитан использовал специальную морскую терминологию лишь в той степени, в какой это было необходимо для создания у пассажиров впечатления, что они слушают человека, знающего, о чем идет речь. Он сказал, что время от времени он будет пользоваться автопилотом, но он предпочитает управлять кораблем вручную, со смехом добавив, что, по его мнению, «корабль предпочитает машине мужчину».

– Возможно, это звучит старомодно, – сказал он, многозначительно подмигивая зрителям, – но для меня корабль, по своему характеру, напоминает женщину.

Наконец, на прощание отдав честь, он вновь повторил:

– Рад видеть вас на борту, – и повернулся к большому штурвалу.

Этот тесный контакт с капитанским мостиком и по-отечески заботливый капитан, казалось, формировали у пассажиров дополнительное чувство сопричастности таинству управления судном и создавали ощущение полной безопасности. Действительно, все шло как нельзя более гладко в течение первых нескольких часов.

Но ранним утром следующего дня случилось нечто непредвиденное, произошло это примерно в три часа утра – в то время, когда все пассажиры, естественно, уже спали. Некоторое время после отплытия они еще смотрели на экраны – на них красовался капитан на фоне командирской рубки с тлеющей трубкой в зубах, его сосредоточенный взгляд устремлен вперед, на черную гладь ночных океанских просторов, потом все выключили свои телевизоры. Правда, оказалось, что несколько человек даже в это время еще не легли спать, и поэтому в их каютах устройства видеокommunikационной системы продолжали работать. Среди этих нескольких нашлось, пожалуй, три человека, которым случилось посмотреть на экран в то время, когда на капитанском мостике происходило что-то странное: в углу помещения, около двери, внезапно промелькнула чья-то тень, последовали какие-то движения... потом неожиданно появился некий зловещего вида субъект, сзади подкрался к капитану, ударил его по голове и схватил штурвал в свои руки. В этот момент экран погас. Люди,

увидевшие это, встревожено начали будить остальных, чтобы всем вместе поспать на капитанский мостик и выяснить, что происходит. Им удалось собрать довольно большую группу, которая направилась к командирской рубке, но там, на верхней ступеньке трапа, уже стоял сам капитан Клаус. Он успокоил всех собравшихся, вежливо заверив их, что не произошло ничего страшного, вообще ничего не случилось, так, незначительное происшествие. Через некоторое время экраны вновь заработали, на них появился капитан, крепко сжимавший руль в своих руках.

Те, кто видел потасовку по телевизору, оказались в таком безнадежном меньшинстве, что все решили – они либо были пьяны, либо немного не в себе, и им тактично посоветовали обратиться к корабельному врачу, так что в конечном итоге данному инциденту не придали большого значения.

Спокойствие сохранялось до следующего вечера – когда в роскошно обставленном игровом зале недалеко от Морской комнаты один из крупье на глазах у нескольких свидетелей попытался нагло смошенничать... Как говорят, воровато оглядевшись вокруг, он смешал все ставки, схватил несколько фишек и засунул их себе в карман.

Это было настолько неслыханным, что один старый герцог от нервного потрясения скончался на месте. Крупье тут же был выдворен из зала самим капитаном Клаусом, который потом очень долго выражал свои сожаления по поводу этого неприятного случая и объявил, что следующие двенадцать партий игры в рулетку будут проведены за счет заведения, то есть в течение этих партий проигранные ставки будут оставаться нетронутыми. По единодушному мнению всех игроков, это был очень щедрый подарок, они встретили это сообщение аплодисментами, но разговоров о самом происшествии было еще много.

В более чем странное положение стали попадать дамы, обращавшиеся за помощью к судовому врачу. По большей части они заглядывали к нему всего лишь за таблеткой аспирина или средством от морской болезни, а иногда – просто для того, чтобы лишний раз услышать от симпатичного доктора, что у них все в порядке и нет никаких проблем со здоровьем. Однако некоторые из его пациенток внезапно узнавали, что у них довольно нездоровый внешний вид и что им крайне необходимо пройти тщательное обследование.

– Лучше перестраховка, чем запоздалые сожаления, – говорил врач. Затем во время обследования он неизменно обнаруживал у пациентки нечто такое, что он обозначал как «латентная абразия» – она находилась или на талии, или на боку, или на бедре, или на плече женщины. Хотя абразия была совершенно незаметной, доктор считал, что нужно приложить компресс.

– Ничего серьезного, – говорил врач, – но все-таки было бы разумно принять некоторые меры предосторожности.

С этими словами он прикреплял к телу пациентки огромный компресс, что-то похожее на гигантский пластырь размером один фут в ширину и несколько дюймов в толщину с большими липкими клапанами, охватывавшими полтела. Величина этого компресса создавала множество неудобств – под элегантными женскими платьями образовывались отвратительные деформирующие жен-

скую фигуру бугры. Эти компрессы невозможно было снять, одна женщина вынуждена была ходить по теплоходу с компрессом на голове, он был похож на огромную белую шляпу.

На следующее утро была назначена первая учебная шлюпочная тревога. Незадолго перед этим на экранах телевизоров появился капитан Клаус, улыбаясь, он извинился за беспокойство и в доходчивой, занимательной и познавательной форме рассказал об этой тренировке, подробно разъяснив необходимость ее проведения.

– Лучше перестраховка, чем запоздалые соболезнования, – добродушно пошутил капитан, завершая свое короткое выступление.

Когда прозвучал сигнал тревоги, все пассажиры облачились в яркие спасательные жилеты – жилеты были последней модели, значительно отличавшимися от входящих в стандартное оснащение пассажирского судна. Потом, с беззлобным ворчанием, они направились к местам эвакуации; но тут произошло нечто из ряда вон выходящее: через две минуты после того как на пассажиров были надеты жилеты, они начали раздуваться до немислимых размеров. Видимо, когда пассажиры натягивали их на себя, включилось какое-то устройство, накачивающее воздух. Необычность случившегося заключалась в том, что все жилеты раздулись до объема, значительно превышающего размеры человека, который находился внутри, таким образом, жилет полностью поглощал человеческую фигуру, заполняя пространство по бокам, над головой, под ногами, достигая в диаметре двенадцати футов. Если пассажир оказывался на открытом пространстве, например в каюте, зале или на палубе, он катался или передвигался по полу, переваливаясь с боку на бок, полностью лишившись обзора; в том же случае, если жилет надувался в коридоре, человек намертво застревал, зажатый между стен.

Как бы то ни было не пострадавших от неисправности жилетов на судне почти не было, поэтому – после того как из них выпустили воздух и все были освобождены – смертельно разозлившиеся пассажиры вернулись в свои каюты, чтобы выслушать объяснения капитана Клауса по поводу всего случившегося.

Но, к несчастью, сирену, которую включили во время учебной тревоги, очевидно, заело. Во всяком случае, она продолжала реветь в течение всего выступления капитана Клауса, которое он провел после неудачной тренировки, так что его совершенно невозможно было расслышать, все равно что смотреть на говорящего человека, находящегося за перегородкой из нескольких слоев толстого стекла. При этом сам капитан, по-видимому, не понимал, что его никто не слышит, поэтому он продолжал говорить довольно долгое время, сопровождая свои реплики выразительной мимикой, которая указывала на всю гамму и интенсивность испытываемых им чувств.

Неисправность аварийной сирены оказалась серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд; она продолжала выть, не престаивая, на протяжении всего оставшегося пути.

По случайному совпадению во время шлюпочной тревоги произошла еще одна неприятность. Воспользовавшись отсутствием пассажиров, пятьдесят чле-

нов экипажа прошли по каютам, залам и дансингам, заменив у каждого находившегося на судне стула, стола, туалетного столика одну ножку тонкой полоской бальзового дерева.

Когда капитан Клаус закончил свое продолжительное и беззвучное выступление, он улыбнулся, отдал честь и вышел с капитанского мостика. Примерно в это время и начала разваливаться вся мебель – через полчаса на борту «Христиана» среди всей его роскошной обстановки не осталось ни одного предмета мебели, который мог бы сохранять вертикальное положение.

На судне стали появляться странные и необычные люди – в гостиных, салонах, в бассейне. Незадолго до ужина в танцевальный зал, расталкивая пары, ворвалась гигантская *бородатая женщина*, судовому врачу пришлось прибегнуть к силе, чтобы удалить ее из помещения.

Водопровод тоже пришел в негодность, и, вдобавок ко всему прочему, внезапно резко наклонилась одна из больших труб теплохода, нависнув прямо над столовой, испуская густой дым на ее посетителей. С этого времени путешествие на роскошном лайнере превратилось в настоящий кошмар.

В разных отсеках корабля появились большие плакаты со странными надписями:

**ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ЗАЩИТИМ ЧАПКАУИДИК ОТ ГОНОРЕИ,**

на стенах и палубе огромными уродливыми буквами были нацарапаны оскорбительные лозунги с непонятным политическим подтекстом:

**СМЕРТЬ БОГАЧАМ!
ВЗОРВИТЕ ШТАТЫ!**

Из-за напряжения, вызванного непредвиденными сложностями, некоторые пассажиры обращались за утешением и поддержкой к специалисту по психологическим проблемам, к замечательному судовому врачу.

«Доктор, *ради бога*, объясните, что здесь происходит!» – кричал доведенный до грани безумия пассажир.

Доктор обычно отвечал, загадочно улыбаясь, подняв брови, слегка осуждающим тоном. «Вы что, матрос, испугавшийся бури? – с легким упреком говорил он. – ...хм? Суровые условия и неприятные слова не для вас? Ну так в чем причина вашего беспокойства?»

«*Причина беспокойства!*?! – восклицал возмущенный пассажир. – Господи, доктор, вы ведь не думаете, что мое недовольство не... необоснованно?»

Доктор переводил отрешенный взгляд на море за окном, опираясь подбородком на тонкие пальцы, сложенные в форме пирамиды, с видом человека, погруженного в размышления, полностью отвлекшегося от находящегося перед ним пациента. Потом он поворачивался в сторону собеседника, чтобы посмотреть ему прямо в глаза.

«Глубоко укоренившиеся и необоснованные страхи – начинал он говорить своим глубоким и сильным голосом, – чаще всего скрываются за нашими тревогами...». И он продолжал в том же духе до тех пор, пока его пациент буквально не взрывался от нетерпения.

«Черт возьми, доктор, я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать лекции по *психологии* – я пришел выяснить, что, *ради всего святого, происходит на борту этого теплохода!*»

При виде этих вспышек ярости доктор почти всегда сохранял спокойствие, испытующе оглядывая пациента, с невозмутимым видом делая какие-то пометки в своем блокноте.

«Итак, вы говорите, что спасательный жилет *раздулся*, и что вы застряли в коридоре – так, как мне показалось, вы выразились, *«застряли в коридоре»* – и в этот момент вы почувствовали определенный *«дискомфорт»*, так сказать. Теперь позвольте задать вам еще один *вопрос...*»

В других случаях он вел себя эксцентрично, свесив голову набок, искоса глядя на пациента, с хитрой улыбкой на губах, которые, двигаясь, издавали едва слышный шепот, почти шипение.

Это продолжалось до тех пор, пока доведенный до отчаяния пациент не вскакивал со стула и не начинал лихорадочно носиться по комнате.

«Тогда, ради бога, доктор, дайте мне хотя бы какие-нибудь *транквилизаторы*».

Но тут выяснялось, что этот врач не из тех, кто выписывает любые таблетки всем подряд.

«Хотите укрыться в наркотическом дурмане? – спрашивал он, удрученно качая головой. – Заслониться от своих страхов искусственным туманом?» С улыбкой, в которой появлялся оттенок печали, он продолжал: «Нет, я думаю, что проблема *в вас самих*, и вы это понимаете». Потом, удобно устроившись в кресле, он очень трогательно начинал выражать свое сочувствие: «Бегство от проблем вряд ли может быть средством их решения. Я *уверен*, что через много лет вы будете с благодарностью вспоминать эти мои слова». После этого он, приблизившись к пациенту на очень близкое расстояние, переходил на более доверительный тон: «Вы не возражаете, если я задам вам несколько вопросов, касающихся вашего... вашего *раннего детства*».

Когда капитан Клаус вновь появился на экранах телевизоров, он выглядел так, словно всю ночь спал в ванне с водой. Вид он имел изрядно потрепанный: на кителе висели обрывки серебряных лент, у расстегнутого пальто болтались полы, развязавшийся галстук съехал набок, к тому же он, видимо, еще и был пьян.

Взмахом руки он выгнал с капитанского мостика всех моряков и, пошатываясь, вплотную подошел к видеокамере, почти вваливаясь в нее; он находился на таком близком расстоянии, что его фигура была очень сильно искажена.

«*Мы угробим эту чертову посудину!*» – его крик прозвучал с оглушительной громкостью. Тут сзади на него напал какой-то головорез с огромным шприцем, он схватил капитана и вколол ему что-то в макушку головы, а потом встал к штурвалу и начал крутить его в разные стороны. После этого экраны опять погасли.

К этому времени выяснился еще один вопиющий факт: из-за недопустимых просчетов, допущенных службой снабжения, из продуктов на складе осталось только картофель.

Так «Христиан» и плыл по морю, издавая жуткий рев сирены и в облачную и в ясную погоду.

Гай Гранд, конечно же, тоже был на борту в качестве пассажира, жалуюсь больше всех, зачастую он даже оказывался во главе агрессивно настроенных групп, пытающихся выяснить, по его собственным словам, какого черта творится на этом чертовом капитанском мостике!

Но у трапа, ведущего на мостик, они неизменно получали достойный отпор со стороны подозрительного вида людей, вооруженных ножами и пистолетами.

«Кто, черт возьми, эти люди? – кричал Гранд, вместе со всеми удирая от них по палубе. – Они мне не нравятся!».

Время от времени в каютах начинали работать экраны системы видеокommunikации, в течение нескольких секунд они показывали, что происходит на капитанском мостике, а то, что там происходило, было поистине неопишимо. Все оборудование командирской рубки превратилось в кучу хлама, из-за качки перекатывающуюся по полу, в ней иногда появлялась фигура капитана, борющегося с различными противниками, одним из них была настоящая горилла – животное, в конце концов, победило и вышвырнуло тело капитана с мостика и даже, как показалось, вообще за борт корабля. После этого горилла вцепилась в штурвал корабля, явно собираясь оторвать его от пола.

В этот момент теплоход резко развернулся посреди океана и пошел в направлении прямо противоположном первоначальному курсу. Спустя некоторое время он ворвался обратно в нью-йоркскую гавань, оглашая ее пронзительным визгом сирены и гудков, и на полном ходу врезался носом в большой пирс Сорок Седьмой улицы.

К счастью, во время этого круиза никто не пострадал, чего нельзя сказать о состоянии Гранда, он вложил в этот проект гигантские суммы, а во сколько ему обошлось улаживание всех неприятностей, на этот раз остается только догадываться.

Перевод А. Лаврентьева

Перевод выполнен по изданию: The World of Black Humor. N. Y.: E. P. Dutton & Co., 1967.

From The Magic Christian

Southern clearly represents the ultimate cool in Black Humor. You will search long here before you will catch any hint that Southern either approves or disapproves the behavior of his hero, Guy Grand, the imaginative billionaire. Indeed, such evidence as there is points to the former. The Magic Christian, by the way, is a series of vignettes in the manner of Catch-22 and Candy itself, vignettes that alternate with fragments of a banal conversation between Grand and his elderly sisters, vignettes that pile one Grand monstrosity upon another. This selection introduces Grand, describes one of his earliest and nastiest experiments and ends with his last and grandest.

Out of the gray granite morass of Wall Street rises one building like a heron of fire, soaring up in blue-white astonishment – *Number 18 Wall* – a rocket of glass and blinding copper. It is the *Grand Investment Building*, perhaps the most contemporary business structure in our country, known in circles of high finance simply as *Grand's*.

Offices of *Grand's* are occupied by companies which deal in *mutual funds* – giant and fantastic corporations whose policies define the shape of nations.

August Guy Grand himself was a billionaire. He had 180 millions cash deposit in New York banks, and this ready capital was of course but a part of his gross holdings.

In the beginning, Grand's associates, wealthy men themselves, saw nothing extraordinary about him; a reticent man of simple tastes, they thought, a man who had inherited most of his money and had preserved it through large safe investments in steel, rubber, and oil. What his associates managed to see in Grand was usually a reflection of their own dullness: a club member, a dinner guest, a possibility, a threat – a man whose holdings represented a prospect and a danger. But this was to do injustice to Grand's private life, because his private life was atypical. For one thing, he was the last of the big spenders; and for another, he had a very unusual attitude towards *people* – he spent about ten million a year in, as he expressed it himself, "*making it hot for them.*"

At fifty-three Grand had a thick trunk and a large balding bullet-head; his face was quite pink, so that in certain half-lights he looked like a fat radish-man – though not displeasingly so, for he always sported well-cut clothes and, near the throat, a diamond the size of a nickel... a diamond now that caught the late afternoon sun in a soft spangle of burning color when Guy stepped through the soundless doors of *Grand's* and into the blue haze of the almost empty street, past the huge doorman appearing

larger than life in gigantic livery, he who touched his cap with quick but easy reverence.

“Cab, Mr. Grand?”

“Thank you no, Jason,” said Guy, “I have the car today.” And with a pleasant smile for the man, he turned adroitly on his heel, north towards Wall Street.

Guy Grand’s gait was brisk indeed – small sharp steps, rising on the toes. It was the gait of a man who appears to be snapping his fingers as he walks.

Half a block on he reached the car, though he seemed to have a momentary difficulty in recognizing it; beneath the windshield wiper laid a big parking ticket, which Grand slowly withdrew, regarding it curiously.

“Looks like you’ve got a *ticket*, bub!” said a voice somewhere behind him.

Out of the corner of his eye Grand perceived the man, in a dark summer suit, leaning idly against the side of the building nearest the car. There was something terse and smug in the tone of his remark, a sort of nasal piousness.

“Yes, so it seems,” mused Grand, without looking up, continuing to study the ticket in his hand. “How much will you eat it for?” he asked then, raising a piercing smile at the man.

“How’s that, mister?” demanded the latter with a nasty frown, pushing himself forward a bit from the building.

Grand cleared his throat and slowly took out his wallet – a long slender wallet of such fine leather it would have been limp as silk, had it not been so chock-full of thousands.

“I asked what would you take to *eat* it? You know . . .” Wide-eyed, he made a great chewing motion with his mouth holding the ticket up near it.

The man, glaring, took a tentative step forward.

“Say, I don’t *get* you, mister!”

“Well,” drawled Grand, chuckling down at his fat wallet, browsing about in it, “simple enough really . . .” And he took out a few thousand. “I have this ticket, as you know, and I was just wondering if you would care to *eat* it, for, say” – a quick glance to ascertain – “six thousand dollars?”

“What do you mean, ‘*eat it*’?” demanded the dark-suited man in a kind of a snarl. “Say, what’re you anyway, bub, a *wise-guy*?”

“‘*Wise-guy*’ or ‘*grand guy*’ – call me anything you like... as long as you don’t call me ‘*late-for-chow*’ Eh? Ho-ho.” Grand rounded it off with a jolly chortle, but was quick to add, unsmiling, “How ‘bout it, pal – got a taste for the easy green?”

The man, who now appeared to toe openly angry, took another step forward.

“*Listen*, mister . . .” he began in a threatening tone, half-clenching his fists.

“I think I should warn you,” said Grand quietly, raising one hand to his breast, “that I am armed.”

“*Huh?*” The man seemed momentarily dumfounded, staring down in dull rage at the six bills in Grand’s hand; then he partially recovered, and cocking his head to one side, regarded Grand narrowly, in an attempt at shrewd skepticism, still heavily flavored with indignation.

“Just who do you think you *are*. Mister! Just what is your *game*?”

“Grand’s the name, easy-green’s the game,” said Guy with a twinkle. “Play along?” He brusquely flicked the corners of the six crisp bills, and they crackled with a brittle, compelling sound.

“*Listen . . .*” muttered the man, tight-lipped, flexing his fingers and exhaling several times in angry exasperation, “. . . are *you* trying . . . are you trying to tell ME that you’ll give *six thousand dollars* ... to ... to EAT that?” – he pointed stiffly at the ticket in Guy’s hand – “to *eat* that TICKET?!?”

“That’s about the size of it,” said Grand; he glanced at his watch. “It’s what you might call a ‘limited offer’ – expiring in, let’s say, *one minute*.”

“Listen, mister,” said the man between clenched teeth, “if this is a gag, *so help me . . .*” He shook his head to show how serious he was.

“No threats,” Guy cautioned, “or I’ll shoot you in the temple – well, what say? Forty-eight seconds remaining.”

“Let’s *see* that goddamn money!” exclaimed the man, quite beside himself now, grabbing at the bills.

Grand allowed him to examine them as he continued to regard his watch. “Thirty-nine seconds remaining,” he announced solemnly. “Shall I start the *big count* down?”

Without waiting for the latter’s reply, he stepped back and, cupping his hands like a megaphone, began dramatically intoning, “*Twenty-eight . . . twenty-seven . . . twenty-six . . .*” while the man made several wildly gesticulated and incoherent remarks before seizing the ticket, ripping off a quarter of it with his teeth and beginning to chew, eyes blazing.

“*Stout fellow!*” cried Grand warmly, breaking off the count down to step forward and give the chap a hearty clap on the shoulder and hand him the six thousand.

“You needn’t actually eat the ticket,” he explained. “I was just curious to see if you had your price.” He gave a wink and a tolerant chuckle. “Most of us have, I suppose. Eh? Ho-ho.”

And with a grand wave of his hand, he stepped inside his car and sped away, leaving the man in the dark summer suit standing on the sidewalk staring after him, fairly agog.

Guy Grand had owned a newspaper for a while—one of Boston’s popular dailies, with a circulation of 900,000. When Grand assumed control, there was, at first, no change in the paper’s format, nor in its apparently high journalistic standards, as Grand stayed on in New York on the periphery of the paper’s operations, where he would remain, he said until he “could get the feel of things.”

During the second month, however, French words began to crop up unaccountably in news of local interest:

Boston, Mar. 27 (AP) – Howard Jones, vingt-huit ans, convicted on three counts of larceny here, was sentenced this morning to 20-26 months in Folsom State Prison, Judge Grath of 17th Circuit Court of Appeals announced au-jourd’hui.

Working then through a succession of editors, proofreaders, and linotype operators Grand gradually put forward the policy of misspelling the names of cities, islands, and proper nouns in general – or else having them appear in a foreign language:

YANKS HIT PARIGI
MOP-UP AT TERWEEWEE

During the war, when geographic names were given daily prominence in the headlines, these distortions served to antagonize the reader and to obscure the facts.

The circulation of the paper fell off sharply, and after three months it was down to something less than one-twentieth of what it had been when Grand took over. At this point a major policy change was announced. Henceforth the newspaper would not carry comics, editorials, feature stories, reviews, or advertising and would present only the factual news in a straightforward manner. It was called *The Facts*, and Grand spent the ransom of a dozen queens in getting at the facts of the news, or at least a great many of them, which he had printed then in simple sentences. The issues of the first two days or so enjoyed a fair sale, but the contents on the whole appeared to be so incredible or so irrelevant that by the end of the week demand was lower than at any previous phase of the paper's existence. During the third week, the paper had no sale at all to speak of, and was simply given away; or, refused by the distributors, it was left in stacks on the street corners each morning, about two million copies a day. In the beginning people were amused by the sight of so many newspapers lying around unread; but when it continued, they became annoyed. Something funny was going on – *Communist? Atheist? Homosexual? Catholic? Monopoly? Corruption? Protestant? Insane? Negro? Jewish? Puerto Rican? POETRY?* The city was filthy. It was easy for people to talk about *The Facts* in terms of litter and debris. Speeches were made, letters written, yet the issue was vague. The editor of *The Facts* received insulting letters by the bagful. Grand sat tight for a week. Then he gave the paper over exclusively to printing these letters; and its name was changed again – *Opinions*.

These printed letters reflected such angry divergence of thought and belief that what resulted was sharp dissension throughout the city. Group antagonism ran high. The paper was widely read and there were incidents of violence. Movements began.

At about two P.M. on June 7th, crowds started to gather in Lexington Square near the center of the city. The *Jewish, Atheist, Negro, Labor, Homosexual, and Intellectual* groups were on one side – the *Protestant and American Legion* on the other. The balance of power, or so it seemed, lay with the doughty *Catholic* group.

It was fair and windless that day in Boston and while the groups and the groups-within-groups bickered and jockeyed in the center of Lexington Square, Guy Grand brought off a *tour de force*. Hovering just overhead, in a radio-equipped helicopter, he directed the maneuver of a six-plane squadron of skywriters, much higher, in spelling out the mile-long smoke-letter words: F**K YOU . . . and this was immediately followed by a veritable host of outlandish epithets, formulated as insults on the level of group Gestalt: Protestants are assholes . . . Jews are full of crap . . . Catholics are shitty . . . and so on *ad nauseam* actually.

It set the crowd below hopping mad. Grand Guy Grand dropped to about a hundred feet, where he canted the plane towards them and opened the door to peer out and observe. The crowd, associating the low-flying helicopter with the outrageous skywriting going on above, started shouting obscenities and shaking their fists.

“You rotten Mick!”

“You dirty Yid!”

“You black bastard!”

That was how the fighting began.

During the Lexington Square Riots, Grand set his plane down to twenty-five feet, where he cruised around, leaning out the door, expressionless, shouting in loud, slow intonation:

“WHAT’S . . . UP? WHAT’S . . . UP?”

By four o’clock the square was in shambles and all Boston on the brink of eruption. The National Guard had to be brought into the city and martial law obtained. It was thirty-six hours before order was fully restored.

The press made capital of the affair. Investigations were demanded. Guy Grand had paid off some big men in order to carry forward the project, but this was more than they had bargained for. Back in New York it cost him two million to keep clear.

It was along towards the end though that Grand achieved, in terms of public outrage, his *succes d’estime*, as some chose to call it, when he put out to sea in his big ship, the S.S. *Magic Christian* . . . the ship sometimes later referred to as “The Terrible Trick Ship of Captain Klaus.” Actually it was the old *Griffin*, a passenger liner which Grand bought and had reconditioned for about fifty million.

A vessel of 30,000 tons, the *Christian* had formerly carried some eleven-hundred-odd passengers. Grand converted it into a one-class ship, outfitted to accommodate four hundred passengers, in a style and comfort perhaps unknown theretofore outside princely domains of the East. Each cabin on the *Christian* was a palace in miniature; the appointments were so lavish and so exquisitely detailed that they might better be imagined than described. All the cabins were of course above deck and outside, each with a twenty-foot picture window and French doors to a private patio commanding a magnificent expanse of sea and sky. There were fine deep rugs throughout each suite and period-furnishings of first account, private bars, chaise-longues, log-burning fireplaces, king-sized beds (canopy optional), an adjoining library-den (with a set of the *Britannica* and the best in smart fiction), tape recorders, powder rooms, small Roman bath and steam cabinet. Walls were generally in a quiet tone of suede with certain paneling of teak and rosewood.

Ship’s dining room was styled after Maxim’s in Paris whose staff had been engaged to prepare the meals and to serve them with inconspicuous grace against a background of soft music provided by the Juilliard String Quartette. The balance of ship’s appointments were in harmonious key – there was, for example, a veritable jewel box of a theatre, seating just four hundred, fashioned in replica of the one in the

Monte Carlo Casino; and the versatile repertory group, Old Vie Players, were on stand-by for two shows a day.

Ship's doctor, aside from being an able physician, was also a top-flight mental specialist, so that Problem-Counseling was available to the passengers at all hours.

But perhaps the most carefully thought-out nicety of the *Christian* was its principal lounge, the Marine Room – a large room, deep below decks, its wall (that which was part of ship's hull) glassed so that the passengers sat looking out into the very heart of the sea. An ocean-floor effect was maintained by the regular release of deep-sea creatures from a waterline station near the bow, and through the use of powerful daylight kliegs there was afforded a breathtaking panorama – with giant octopi, huge rainbow-colored ray, serpents, great snowy angelfish, and fantastic schools of luminous tetra constantly gliding by or writhing in silent majestic combat a few feet from the relaxed passengers.

Though the *Magic Christian* received its share of prevoyage hullabaloo (*Life* magazine devoted an issue to photographs, enthusiastically captioned), its only form of paid advertisement was a simple announcement of its sailing date, which appeared in *The Times* and in the *National Geographic*. The fare was not mentioned (though *Life* had said it was “about five thousand”) and the announcement was set in small heavy type, boxed with a very black border. “For the Gracious Few . . .” it opened, and went on to state in a brief, restrained apology, that *not everyone* could be accepted, that applications for passage on the *Christian* were necessarily carefully screened, and that those who were refused should not take offense. “Our criteria,” it closed, “may *not* be yours.”

Ship's quarters were not shown until the applicant had been accepted, and then were shown by appointment.

The ship was christened by the Queen of England.

All of this had a certain appeal and the applications poured in. More than a few people, in fact, were *demanding* passage on the *Christian's* first voyage. Those just back from holiday were suddenly planning to go abroad again; scores rushed home simply to qualify and make the trip. For many, the maiden voyage of the *Magic Christian* became a must.

Meanwhile Guy Grand, well in the background, was personally screening the applications according to some obscure criteria of his own, and apparently he had himself a few laughs in this connection. In the case of one application, for example, from a venerable scioness of Roman society, he simply scrawled moronically across it in blunt pencil: “Are *you* kidding?!? No wops!” The woman was said to have had a nervous breakdown and did later file for a million on defamation. It cost Grand a pretty to clear it.

On the other hand, he accepted – or rather, engaged – as passengers, a group from a fairly sordid freak show, most of whom could not be left untended, along with a few gypsies, Broadway types, and the like, of offensive appearance and doubtful character. These, however, were to be kept below decks for the first few days out, and, even so, numbered only about forty in all, so that a good nine-tenths of the pas-

senger list, those on deck when the *Christian* set sail in such tasteful fanfare that Easter morn, were top-drawer gentry and no mistake.

Unique among features of the *Christian* was its video communication system from the bridge to other parts of the ship. Above the fireplace in each cabin was a small TV screen and this provided direct visual communication with the Captain at the wheel and with whatever other activity was going on there, giving as it did a view of almost the entire bridge. These sets could be switched *on* or *off*, but the first day they were left *on* before the passengers arrived, in order to spare anyone the embarrassment of not knowing what the new gimmick was. So that when passengers entered their cabins now they saw at once, there on the screen above the fireplace: the Captain at the wheel. Captain Klaus. And for this person Guy Grand had engaged a professional actor, a distinguished silver-haired man whose every gesture inspired the deepest confidence. He wore a double row of service ribbons on his dark breast and deported himself in a manner both authoritative and pleasingly genial – as the passengers saw when he turned to face the screen, and this he did just as soon as they were all settled and under way.

He was filling his pipe when he turned to camera, but he paused from this to smile and touch his cap in easy salute.

“Cap’n Klaus,” he said, introducing himself with warm informality, though certainly at no sacrifice to his considerable bearing. “Glad to have you aboard.”

He casually picked up a pointer stick and indicated a chart on the nearby wall.

“Here’s our course,” he said, “nor’ by nor’east, forty-seven degrees.”

Then he went on to explain the mechanics and layout of the bridge, the weather and tide conditions at present, their prospects, and so on, using just enough technical jargon throughout all this to show that he knew what he was about. He said that the automatic-pilot would be used from time to time, but that he personally preferred handling the wheel himself, adding good-humoredly that in his opinion “a ship favored men to machines.”

“It may be an old-fashioned notion,” he said, with a wise twinkle, “... but to me, a ship is a woman.”

At last he gave a final welcome-salute, saying again:

“Glad to have you aboard,” and turned back to his great wheel.

This contact with the bridge and the fatherly Captain seemed to give the passengers an added sense of participation and security; and, indeed, things couldn’t have gone more smoothly for the first few hours.

It was in the very early morning that something untoward occurred, at about three a.m. – and of course almost everyone was sleep. They had watched their screens for a while: the Captain in the cozy bridge house, standing alone, pipe glowing, his strong eyes sweeping the black water ahead – then they had switched off their sets. There were a few people though who were still up and who had their sets on; and, of these few, there were perhaps three who happened to be watching the screen at a certain moment – when in the corner of the bridge house, near the door, there was a shadow, an odd movement . . . then suddenly the appearance of a sinister-looking per-

son, who crept up behind the Captain, hit him on the head, and seized the wheel as the screen blacked out.

The people who had seen this were disturbed and, in fact, were soon rushing about, rousing others, wanting to go to the bridge and so on. And they did actually get up a party and went to the bridge – only to be met at the top of the ladder by the Captain himself, unruffled, glossing it over, blandly assuring them that nothing was wrong, nothing at all, just a minor occurrence. And, of course, back in the cabins, there he was on the screen again, Captain Klaus, steady at the helm.

Those three who had seen the outrage, being in such a hopeless minority, were thought to have been drunk or in some way out of their minds, and were gently referred to ship's doctor, the mental specialist, so the incident passed without too much notice.

And things went smoothly once more, until the next evening – when, in the exquisite gaming rooms just off the Marine Lounge, one of the roulette croupiers was seen, by several people, to be cheating . . . darting his eyes about in a furtive manner and then interfering with the bets, snatching them up and stuffing them in his pocket, that sort of thing.

It was such an unheard-of outrage that one old duke fainted dead away. The croupier was hustled out of the gaming room by Captain Klaus himself, who deplored the incident profusely and declared that the next dozen spins were on the house, losing bets to remain untouched for that time – gracious recompense, in the eyes of a sporting crowd, and applauded as such; still, the incident was not one easily forgotten.

Another curious thing occurred when some of the ladies went, individually, to visit the ship's doctor. For the most part they had simply dropped around to pick up a few aspirin, sea-sickness pills – or merely to have a reassuring chat with the amiable physician. Several of these ladies, however, were informed that they looked “rather queer” and that an examination might be in order.

“Better safe than sorry,” the doctor said, and then, during the examination, he invariably seemed to discover what he termed “a latent abrasion” – on the waist, side, hip, or shoulder of the woman – and though the abrasion could not be seen, the doctor deemed it required a compress.

“Nothing serious,” he explained, “still it's always wise to take precautions.” And so saying he would apply a *huge compress* to the area, a sort of gigantic Band-Aid about a foot wide and several inches thick, with big adhesive flaps that went halfway around the body. The tremendous bulk of these compresses was a nuisance, causing as they did, great deforming bulges beneath the women's smart frocks. They were almost impossible to remove. One woman was seen running about with one on her head, like a big white hat.

First lifeboat drill was scheduled for the following morning. Shortly before it Captain Klaus came on the screen and smilingly apologized for the inconvenience and gave a leisurely and pleasantly informative talk about the drill and its necessity.

“Better safe than sorry,” he said in a genial close to his little talk.

When the drill signal sounded, they all got into life jackets – which were the latest thing and quite unlike standard passenger-ship equipment – and then, grumbling good-naturedly, they started for their boat stations; but an extraordinary thing happened: two minutes after they had put them on, the life jackets began inflating in a colossal way. Apparently the very act of donning the jacket set off some device which inflated it. The extraordinary thing was that each one blew up so big that it simply obscured the person wearing it, ballooning out about them, above their heads, below their feet, and to a diameter of perhaps twelve feet – so that if they were in an open space, such as their cabins, the lounge, or on deck, they simply rolled or lolled about on the floor, quite hidden from view, whereas if they were in a corridor, they were hopelessly stuck.

In any event, almost no one escaped the effects of the faulty life jacket; so it was – after they deflated – with a good deal of annoyance that they came back to the cabins, quite ready to hear Captain Klaus' explanation of what had gone amiss.

Unfortunately though, the foghorn, which had been put to practice during the drill, was now evidently jammed. At any rate, it continued steadily during the Captain's after-drill talk and completely shut out his voice, so that it was like looking at someone talk behind several layers of glass. The Captain himself didn't seem to realize that he wasn't coming through, and he went on talking for quite a while, punctuating his remarks with various little facial gestures to indicate a whole gamut of fairly intense feelings about whatever it was he was saying.

The business with the foghorn was more serious than at first imagined; it continued, blasting without let-up, for the rest of the voyage.

Quite incidental to what was happening during the drill, fifty crew members took advantage of the occasion to go around to the cabins, lounges, and dining rooms, and to substitute a thin length of balsa wood for one leg of every chair, table, and dresser on ship.

When the Captain finished his lengthy and voiceless discourse, he smiled, gave an easy salute and left the bridge house. It was about this time that all the furniture began to collapse – in half an hour's time there wasn't one standing stick of it aboard the *Christian*.

Strange and unnatural persons began to appear – in the drawing rooms, salons, at the pool. During the afternoon tea dance, a gigantic *bearded-woman*, stark naked, rushed wildly about over the floor, interfering with the couples, and had to be forcibly removed by ship's doctor.

The plumbing went bad, too; and finally one of the *Christian's* big stacks toppled – in such a way as to give directly on to ship's dining room, sending oily smoke billowing through. And, in fact, from about this point on, the voyage was a veritable nightmare.

Large curious posters were to be seen in various parts of the ship:

SUPPORT MENTAL HEALTH

LET'S KEEP THE CLAP OUT OF CHAPPAQUIDDICK

as well as rude slogans, vaguely political, scrawled in huge misshapen letters across walls and decks alike:

DEATH TO RICH! BLOW UP U.S.!

Due to the strain of untoward events, more than one passenger sought solace and reassurance from the problem-counselor, the ship's distinguished doctor.

"Doctor, what *in the name of God* is going on here!" the frenzied passenger would demand.

The doctor would answer with a quizzical smile, arching his brows, only mildly censorious. "Fair-weather sailor?" he would gently chide, "... hmm? Cross and irritable the moment things aren't going exactly to suit you? Now just what seems to be the trouble?"

"*Trouble!?!?*" exclaimed the outraged passenger. "Good Lord, Doctor, surely you don't think my complaint is an... an unreasonable one?"

The doctor would turn his gaze out to sea, thin fingers pressed beneath his chin in a delicate pyramid of contemplation, wistfully abstract for a moment before turning back to address the patient frankly.

"Deep-rooted and unreasonable fears," he would begin in a grand, rich voice, "are most often behind our anxieties . . ." and he would continue in this vein until the passenger fairly exploded with impatience.

"Great Scott, Doctor! I didn't come here for a lecture on *psychology* – I came to find out what *in the name of Heaven* is going on aboard this ship!"

In the face of these outbursts however, the doctor almost invariably retained his calm, regarding the patient coolly, searchingly, making a few careful notes on his pad.

"Now, you say that 'the life jacket *over inflated*,' and that you were 'stuck in the corridor' – that was your expression, I believe, '*stuck in the corridor*' – and at that moment you felt a certain *malaise*, so to speak. Now, let me ask you *this* . . ." Or again, on other occasions, he might behave eccentrically, his head craned far to one side, regarding the patient out of the corners of his eyes, a sly, mad smile on his lips which moved in an inaudible whisper, almost a hiss.

Finally, the patient, at the end of his tether, would leap to his feet.

"Well, in the name of God, Doctor, the least you can do is let me have some *tranquillizers!*"

But the doctor, as it turned out, was not one given to prescribing drugs promiscuously.

"Escape into drugs?" he would ask, wagging his head slowly. "Mask our fears in an artificial fog?" And there was always a trace of sadness in his smile, as he continued, "No, I'm afraid the trouble is *in ourselves*, you see." Then he would settle back expansively and speak with benign countenance. "Running away from problems is scarcely the solution to them. I *believe* you'll thank me in years to come." And at last he would lean forward in quiet confidence. "Do you mind if I ask you a few questions about your. . . your *early childhood?*"

When Captain Klaus next appeared on the screen, he looked as though he had been sleeping in two feet of water. Completely disheveled, his ribbons dangling in unsightly strands, his open coat flapping, his unknotted tie strung loosely around his collar, he seemed somewhat drunk as well. With a rude wave of his hand he dis-

missed bridge personnel and lurched toward the video screen, actually crashing into it, and remained so close that his image was all distorted.

“*We’ll get the old tub through!*” he was shouting at deafening volume, and at that moment he was attacked from behind by a ruffian type who was carrying a huge hypodermic and appeared to overpower the Captain and inject something into the top of his head, then to seize the wheel, wrenching it violently, before the screen went black.

Also, it was learned about this time that because of fantastic miscalculation on the part of the ship’s-stores officer, the only food left aboard now was potatoes.

Thus did the *Christian* roar over the sea, through fair weather and foul.

Guy Grand was aboard of course, as a passenger, complaining bitterly, and in fact kept leading assault parties in an effort to find out, as he put it, “What the devil’s going on the bridge!”

But they were always driven back by a number of odd-looking men with guns and knives near the ladder.

“Who the deuce are those chaps?” Grand would demand as he and the others beat a hasty retreat along the deck. “I don’t like the looks of this!”

Occasionally the communications screen in each of the cabins would light up to reveal momentarily what was taking place on the bridge, and it was fairly incredible. The bridge house itself now was a swaying rubble heap and the Captain was seen intermittently, struggling with various assailants, and finally with what actually appeared to be a gorilla – the beast at last overpowering him and flinging him bodily out of the bridge house and, or so it seemed, into the sea itself, before seizing the wheel, which he seemed then to be trying to tear from its hub.

It was about this time that the ship, which, as it developed, had turned completely around in the middle of the ocean, came back into New York harbor under full steam, and with horns and whistles screaming, ploughed headlong into the big Forty-Seventh Street pier.

Fortunately no one was injured on the cruise; but, even so, it went far from easy with Grand – he had already sunk plenty into the project, and just how much it cost him to keep clear in the end, is practically anyone’s guess.

Публикуется по: *The World of Black Humor*. N. Y.: E. P. Dutton & Co., 1967.

Questions

1. Where and when is the story set?
2. How was August Guy Grand introduced in the story?
3. Why didn’t he need a cab that day?
4. What did he see beneath the windshield wiper?
5. What offer did he make to the man standing nearby?

6. Did the man easily agree to accept the offer?
7. How did Grand explain the purpose of the experiment with the parking ticket?
8. What for did Grand need a newspaper?
9. What other projects did he organize?
10. How did he renovate the ship?
11. In what way does each stage of the story prepare the reader to the next one?
Are any linking devices used?

Paraphrase or explain

1. “What his associates managed to see in Grand was usually a reflection of their own dullness...”
2. “It’s what you might call a “limited offer” – expiring in, let’s say, one minute.”
3. “And with a grand wave of his hand, he stepped inside his car and sped away, leaving the man in the dark summer suit standing on the sidewalk staring after him, fairly agog.”
4. “Guy Grand had paid off some big men in order to carry forward the project, but this was more than they had bargained for.”
5. “Our criteria,” it closed, “may not be yours.”
6. “Fortunately no one was injured on the cruise; but, even so, it went far from easy with Grand – he had already sunk plenty into the project, and just how much it cost him to keep clear in the end, is practically anyone’s guess.”

Discussion points

- Speak on the three important episodes described in the story.
 - the episode with a parking ticket;
 - the newspaper “project”;
 - “The Magic Christian” episode.

Grade the level of absurdity of all Grand’s “initiatives”, if possible.

- Analyze the newspaper episode. Fill in the following table to present the results of the study more systematically.

Grand's Newspaper Project

<i>Grand's absurd "innovation"</i>	<i>Location</i>	<i>Newspaper readers' reaction</i>	<i>Events in the city</i>

What is exaggerated in the descriptions? How did Grand's absurd "innovations" characterize the society where it was possible?

- Study the "big ship" project. Summarize the results of your study in the following table. The example is given; taking it to consideration, add more facts from the story.

The ship's first voyage

<i>Absurd "initiatives"</i>	<i>Passengers' reaction and activities (quotations from the text)</i>
Gimmick with the video communication system	Added sense of participation and security
The appearances of a sinister-looking person	

- Dwell on the name of the ship, its biblical implication and the nominations of the ship in the text.
- What is being satirized in this story? What actions have dehumanizing character?

Translation exercises

1. Analyze how absurd "initiatives" and "innovations" are rendered in translation.

2. Study the play of word “Grand” in translation, which is the name of the protagonist and the epithet with which many of his actions are described. Is it possible to retain this play of word in translation?
3. Summarize the efficiency of translation techniques employed in the translation of the text.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Часть I. «Черный юмор»: историко-терминологический очерк	6
Определение понятия «черный юмор».....	6
История возникновения термина «черный юмор».....	7
Семантическая структура «черного юмора».....	14
<i>Бром Вебер</i>	
«Черный юмор» как художественный метод.....	18
<i>Амброз Бирс</i>	
Несостоявшаяся кремация.....	31
Город почивших.....	34
Часть II. «Черный юмор» и американские ценности	41
Глава 1. Американский здравый смысл и «черный юмор» в творчестве Бенджамина Франклина.....	44
<i>Бенджамин Франклин</i>	
Речь Мисс Поли Бейкер.....	51
<i>Benjamin Franklin</i>	
The Speech of Miss Polly Baker, before a Court of Judicature.....	54
<i>Бенджамин Франклин</i>	
Метод усмирения мятежных американских вассалов.....	57
<i>Benjamin Franklin</i>	
A Method of Humbling Rebellious American Vassals.....	59
Глава 2. Белая магия «черного юмора»: литературные штампы в прозе В. Ирвинга и Р. Ньюэлла.....	62
<i>Вашингтон Ирвинг</i>	
Случай с немецким студентом.....	74
<i>Washington Irving</i>	
Adventure of the German student.....	79

<i>Орфеус Керр</i>	
Письмо IX.....	85
<i>Orpheus C. Kerr</i>	
LETTER IX.....	91
Глава 3. Комедия на службе трагедии:	
«черный юмор» в литературе американского романтизма.....	98
<i>Эдгар Аллан По</i>	
Прыг-Скок.....	107
<i>Edgar Allan Poe</i>	
Нор-Frog.....	114
<i>Герман Мелвилл</i>	
Белый бушлат (фрагменты из романа).....	123
<i>Herman Melville</i>	
From White Jacket.....	132
Глава 4. «Черный юмор» в литературе фронта.....	142
<i>Марк Твен</i>	
Журналистика в Теннесси.....	147
<i>Mark Twain</i>	
Journalism in Tennessee.....	152
Глава 5. «Черный юмор» и социально-политические проблемы:	
иллюзии и страхи Великой депрессии	
в романе Н. Уэста «Целый миллион».....	159
<i>Натанаэл Уэст</i>	
Целый миллион (фрагменты из романа).....	166
<i>Nathanael West</i>	
From A Cool Million.....	173
Глава 6. «Черный юмор» и семейные отношения:	
женские образы в рассказах Д. Тэрбера.....	182

<i>Джеймс Тэрбер</i>	
Беркут и бурундуки.....	186
<i>James Thurber</i>	
The Shrike and the Chipmunks.....	187
<i>Джеймс Тэрбер</i>	
Единорог в саду.....	190
<i>James Thurber</i>	
The Unicorn in the Garden.....	191
<i>Джеймс Тэрбер</i>	
Месть делопроизводителя.....	194
<i>James Thurber</i>	
The Catbird Seat.....	203
Глава 7. «Черный юмор» и нонконформизм: сатирическое изображение общества потребления в творчестве Ф. О'Коннор и Т. Сазерна.....	212
<i>Фланнери О'Коннор</i>	
Праздник в Партридже.....	221
<i>Flannery O'Connor</i>	
The Partridge Festival.....	240
<i>Терри Сазерн</i>	
Магический Христиан (фрагменты из романа).....	259
<i>Terry Southern</i>	
From The Magic Christian.....	273